АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

Б.Ф. Егоров



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. Григорьевъ

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК

770

Б.Ф. Егоров

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2000

УДК 882 (092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Е 30

ISBN 5-235-02323-4

«Как истинно русский человек, то есть как смесь фанатика с ёрником...»

Григорьев о себе в письме к М.П. Погодину от 27 октября 1857 г.

Когда Ап. Майков читал в кругу друзей поэму «Три смерти», где рассказывается о приговоре Нерона казнить Сенеку, Лукана и Люция, то Григорьев воскликнул: «Я умру, как Люций! Ни от чего не отрекаясь!»

Из воспоминаний Н.Н. Страхова

ВСТУПЛЕНИЕ

Большие таланты, если только они не авторы знаменитых изобретений или выдающихся художественных произведений, часто входят в нашу культуру незаметно, безымянно. Многие ли знают, что «Цыганскую венгерку» («Две гитары, зазвенев...») создал Аполлон Григорьев? Наверное, лишь одни пушкинисты осведомлены, что крылатая фраза «Пушкин — наше всё» тоже григорьевская. Еще меньшее число специалистов знает, что Григорьев придумал такие обычные для нас выражения, как «допотопный», «цвет и запах эпохи», «цветная истина», «мертворожденное произведение». Создания живут, становятся общенародным достоянием, а создатели уходят в тень, забываются...

Существует расхожая формула — не григорьевская! — «чтобы на Руси стать известным, нужно жить долго». Увы, кто из великих русских людей жил долго? Разве что Лев Толстой да академики И.П. Павлов и В.И. Вернадский. Аполлону Григорьеву судьба отпустила всего 42 года жизни, то есть около 20 лет творчества. Сделал за это время он очень много: стал одним из самых главных литературных критиков и уж явно самым главным театральным критиком России тех лет, известным поэтом и переводчиком (в числе других объектов перевода — Шекспир и Байрон), писал интересные очерки, воспоминания, драмы.

Но Григорьев был чрезвычайно противоречив как человек и как творческая личность, что вызывало у современников и потомков изумление, раздражение, отталкивание... Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый и честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый противник, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского, — таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы.

Может быть, из-за этой россыпи Григорьев назаслуженно мало запечатлен в воспоминаниях и художественных произведениях. Есть по этому поводу интересное письмо его товарища студенческих лет поэта Я.П. Полонского к другу Григорьева более поздней поры драматургу А.Н. Островскому (3 апреля 1876 года): «Я знал Григорьева как идеально благонравного и послушного мальчика, в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту — и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: «Долго нас помещики душили, становые били!..»* Помню его не верующим ни в Бога, ни в чорта — и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом. — Правдивейшим из людей и льстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведениям!

Одним словом, — чем больше я думаю о Григорьеве, тем более понимаю, отчего, несмотря на свой громадный критический талант, он в литературе не оставил почти что никакого следа, то есть имел так мало людей, которые были бы способны вполне понимать его. Самая внезапная смерть его, чуть ли не с гитарой в руках — минута трагическая.

Вы знали его ближе, чем я, и несомненно во 100 раз лучше меня его понимали.

Не попробуете ли вы когда-нибудь воссоздать этот образ в одном из ваших будущих произведений? Григорьев как личность, право, достоин кисти великого художника. К тому же это был чисто русский по своей природе — какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве».

Увы, Островский, действительно очень хорошо знавший Григорьева, не уделил ему места в своих пьесах, если не считать отдаленного сходства в характере и поступках Петра («Не так живи, как хочется»). Правда, другие наши великие писатели не прошли мимо колоритной фигуры современника: некоторые черты, особенно биографические, в истории Лаврецкого («Дворянское гнездо») непосредственно заимствованы Тургеневым из бесед с Григорьевым, а Лев Толстой при изображении Федора Протасова («Живой труп») использовал и психологические особенности характера Григорьева; некоторые реплики Мити Карамазова у Достоевского напоминают григорьевские. Но это слишком мало и косвенно...

Противоречивая мозаика взглядов и черт Григорьева, однако, имела под собой некие глубинные основы его характера; они, возможно, и связывали различное воедино, и в то же время способствовали самой раздробленности. Прежде всего это страстность натуры. Существует легенда, что когда Григорьев входил в вечерний салон, то всем хотелось его спросить: где пожар?! Страсти помогали созданию новых грандиозных концепций и быстрому разрушению старых, способствовали художественному творчеству, чрезвычайно запутывали человеческие отношения, особенно любовные... Обо всем этом будем подробно говорить в книге. Как и о других особенностях этого выдающегося человека. В нем интересно сочетались глубинные типичные свойства национального характера, типовые черты русского интеллигента середины XIX века и совершенно оригинальные особенности индивидуума. А все вместе в сочетании со стремительным калейдоскопом событий, в которые был втянут наш герой (или которые он сам создавал), представляет такой яркий и неповторимый сюжет, что приходится удивляться, как до сих пор история жизни и творчества Григорьева не стала, если исключить небольшие рассказы, театральные и радиопостановки, лакомым объектом для писателей, киношников, телевизионщиков. Может быть, наша биография станет стимулом для их творчества?

* Легенда о Григорьеве как авторе популярной песни шестидесятых годов «Долго нас помещики душили...» мало достоверна, так как все его революционные стихотворения создавались лишь в сороковых годах; наиболее вероятный автор — В.С. Курочкин. Полонский скорее всего слышал в исполнении Григорьева его ранние песни, но за давностью лет спутал. А может быть, Григорьев — автор музыки?

ПРЕДКИ

Родословная нашего героя весьма туманная. Сам Григорьев знал предков только на уровне родителей своих родителей. О деде по отцу он в замечательных мемуарах «Мои литературные и нравственные скитальчества» писал так: «Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробил себе дорогу лбом». Внук даже, видимо, не знал точно, откуда дед был родом: из Ярославля, Костромы, Вятки, Перми? Нагольный полушубок провоцировал биографов Григорьева на утверждение крестьянских корней деда. Однако разыскания Г.А. Федорова значительно изменили картину, хотя и эта новая картина остается туманной. Федоров нашел в архиве свидетельство, выданное деду, Ивану Григорьевичу Григорьеву, в 1803 году Московской управой благочиния для получения дворянской грамоты. И в этом свидетельстве говорится, что Иван Григорьевич — «из обер-офицерских детей». Эта фраза явилась основанием для внесения соответствующей строки в родословную книгу дворянства Московской губернии. Там это выглядит как документ. Но когда мы еще узнали про свидетельство для получения И.Г. Григорьевым дворянского звания, то непонятно, зачем ему нужно было хлопотать о дворянском достоинстве: в XVIII веке любой офицер был потомственным дворянином и его дети от рождения становились дворянами.

Боюсь, что свидетельство Иван Григорьевич получил по знакомству и никаких документов о своем «офицерском» происхождении не представлял. В свидетельстве присутствует еще такая несуразица: сказано, что получателю в декабре 1803 года — 41 год, то есть родился он в 1762 году. И тут же, в послужном списке сообщается: «в службу вступил... в Волоколамскую воеводскую канцелярию копиистом 1770-го июля 25-го». Но даже если мальчик был вундеркиндом, его не взяли бы восьмилетним на службу! Причем эта дата не подтверждается никаким документом, и лишь следующая дата, 1777 год, приводится, согласно указу Московской губернской канцелярии. То есть опять здесь чувствуется «блат»: дед на целых семь лет увеличил свой служебный стаж! В XVIII веке такие случаи были, наверное, обычны: новорожденных детей записывали в армию, чтобы, пока ребенок подрастет, ему уж и хороший чин подошел.

Значит, реально дед поступил на службу в 1777 году пятнадцатилетним юношей, очевидно, уже достаточно грамотным. А затем рачительно трудился подканцеляристом, канцеляристом, казначеем, получал за старательность награды и чины; в 1802 году он стал надворным советником, чиновником 7-го класса по табели о рангах, уже без всякого обер-офицерского происхождения имеющим право на потомственное дворянство.

А выходцем дед был из духовной среды. Г.А. Федоров установил, что по прибытии в Москву он жил в доме своего дяди Иоанна Иоаннова, протоиерея построенной в 1751 году красивой церкви Великомученика Никиты на Старой Басманной; дом священника был рядом (нынешний адрес: Гороховский переулок, 4; это не солидный корпус, с классическим портиком, Института геодезии, а примыкающее к нему слева, если смотреть на фасад с улицы, двухэтажное здание — оба они под №4). Здесь, в этой церкви Иван Григорьевич и венчался в 1787 году, взяв в жены бывшую крепостную, но «уволенную вечно на волю» «дворовую девицу Марину Николаевну». Потом дед, будучи знаком со всем канцелярским миром Москвы, при получении дворянства выдал жену за происходящую из рода дворян Скобельцыных.

Духовное происхождение деда проявилось в постоянном чтении книг религиозного содержания. Вообще же он собрал большую библиотеку, где было много и светской литературы. Внук вспоминает, что она размещалась в нескольких сундуках. Дед был знаком с Н.И. Новиковым, знаменитым издателем и масоном; когда при Екатерине II Новиков был арестован и посажен в Шлиссельбургскую крепость за свою масонскую и издательскую деятельность, дед натерпелся страху, сжег все книги, подаренные ему Новиковым; внук был уверен, что и сам дед был тоже масоном.

Внук, слабовольный, хаотичный, безалаберный, любил по контрасту цельных и волевых личностей, и «кряжевая», как он выражался, натура деда, напоминавшая ему Багрова из автобиографических очерков С.Т. Аксакова, притягивала его к себе, он мысленно разговаривал с покойным дедом, которого никогда не видал, ибо он умер до рождения внука. Ап. Григорьев вспоминал, что, любя в молодости бродить по ночному городу, он специально ходил к церкви Великомученика Никиты, к первому пристанищу деда в Москве, садился на паперть часовни и разговаривал с дедом, чуть ли не реально надеясь на появление предка... По крайней мере, говорит внук, дважды, в самые трудные, переломные моменты жизни, дед являлся ему во сне.

К началу XIX века дед зажил вольготной жизнью видного московского чиновника-дворянина. Как деликатно писал внук, «он, как и все, вероятно, брал если не взятки, то добровольные поборы»... Купил во Владимирской губернии деревеньку с крепостными душами, в Москве купил дом с садом на Малой Дмитровке (теперешней улице Чехова). Ныне это участки домов № 25 и 27. Дом № 27, главный барский дом основательной каменной застройки, пережил московский пожар 1812 года, но, конечно, весь выгорел внутри, и дед продал его остов. Дом и ныне существует.

Пошли дети. В 1788 году родился первенец Александр, будущий отец нашего Аполлона, в 1789-м — Екатерина, в 1800-м — Александра, в 1804-м — Николай. Детям, естественно, было дано хорошее образование. Александр учился в Благородном пансионе при Московском университете. Николай стал офицером. Менее известна жизнь дочерей. Кажется, они обе остались старыми девами, доживавшими свой век вместе с матерью в отцовской деревеньке. Лишь мельком вспоминал Ап. Григорьев о старшей, Екатерине Ивановне: «Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего».

Александр Иванович, согласно формулярному списку 1829 года, начал работать копиистом с 1799 года в Главной соляной конторе Москвы, с июня 1802-го — подканцеляристом, через полгода — канцеляристом. Опять же, как и в случае с отцом, это была формальная запись для стажа: маловероятно, чтобы одиннадцатилетний мальчик начал служить в канцелярии!

В 1802—1806 годах он обучался в Благородном пансионе при Московском университете, а потом уже, по-видимому, реально начал служить, поступив в Правительствующий Сенат, получил самый низший, 14-го класса чин коллежского регистратора, а затем стал подниматься по чиновничьим ступенькам — в 1816 году дослужился до титулярного советника. У него уже выработалась дворянская, как сейчас говорят, ментальность: презирал духовное сословие, забыв, что сам из него происходил, любил блеснуть французским языком, сочинял в кругу близких комедии, по характеру был ироничным и добродушным.

Возможно, жизнь Александра Ивановича потекла бы по обычному чиновничье-дворянскому руслу, если бы не родовая страстная натура. Он влюбился в дочь семейного кучера (мы до сих пор не знаем точно, крепостного или вольноотпущенного; в ведомости о крещении родившегося Аполлона мать именуется «мещанской девицей»; но документам, связанным с семьей Григорьевых, не всегда можно верить: административные знакомства Александра Ивановича могли помочь утаить крепостное состояние матери). Родители решительно воспротивились этой страсти. Возможно, речь должна идти об одной матери Александра Ивановича, так как отца, кажется, уже не было в живых; Аполлон, со слов родителей, считал, что дед умер за год до его рождения; однако внук Аполлона Владимир Александрович предполагал, что деда мог хватить смертельный удар, когда он увидел, как далеко зашли молодые. Казалось бы, что стоило ему вспомнить свою молодость: ведь попович Иван Григорьевич женился на вольноотпущенной Марине Николаевне! Нет, что дозволено Юпитеру, не положено быку. Дворянскому (теперь уже) сыну невозможно жениться на бывшей крепостной. Александр Иванович сильно запил, это стоило ему потери престижного места в Сенате. В формулярном списке об этом периоде сказано деликатно: «В отставке был с 9-го декабря 1818 г. по 16 число февраля 1822 г.». Однако любовь зашла далеко, «мещанская девица» Татьяна Андреевна забеременела, и 16 июля 1822 года появился на свет Аполлон с тогдашним клеймом «незаконнорожденного». Через неделю родители отдали младенца в Императорский Московский воспитательный дом; очевидно, хорошо знавший юридические законы Александр Иванович с умыслом совершил эту акцию, были какие-то причины, и здесь опять всплывает вопрос о крепостном праве: в случае, если рожала незамужняя крепостная женщина, ребенок тоже должен был быть записан в крепостное состояние, а нахождение его в Воспитательном доме, под покровительством императрицы, сразу повышало его социальный статус — он становился мещанином. Так что помещение малыша в Воспитательный дом — весомый аргумент в пользу предположения о крепостной матери.

Александр Иванович не отличался «кряжевой» твердостью отца, но по отношению к любимой женщине, да еще при родившемся сыне, он проявил завидную непреклонность и добился-таки официальной женитьбы: в январе 1823 года состоялась

свадьба. Я считаю, что подробный рассказ И.С. Тургенева в «Дворянском гнезде» о мытарствах в сходной ситуации родителей Лаврецкого во многом заимствован из биографии Ап. Григорьева: в марте 1858 года во время создания романа Тургенев несколько дней интенсивно общался с Григорьевым (дело происходило во Флоренции), и Григорьев мог подробно рассказывать писателю о своей жизни (я еще буду говорить о драматическом сюжете с изменой жены Григорьева, что тоже мог использовать Тургенев в «Дворянском гнезде»).

Несколько месяцев спустя родители забрали Аполлона из Воспитательного дома и Александр Иванович официально узаконил свое отцовство. Потом у родителей еще родились сын Николай и дочь Мария, но они прожили на свете всего по нескольку недель, так что первенец Аполлон остался единственным ребенком в семье. Потому и очень любимым. Любил родителей и Аполлон, но его значительно более поздние резкие отзывы об отце заставляют предполагать, что — хотя он ни разу в этом не признался, — возможно, подобное отталкивание объяснялось душевной раной юноши, узнавшего о своем «незаконном» рождении и о пребывании в Воспитательном доме.

Мать его Татьяна Андреевна не получила никакого образования, читала еле-еле, по складам, но была хорошей хозяйкой, любящей матерью, по утрам расчесывающей волосы Полошеньке (так он именовался родителями) — даже когда он стал студентом. К сожалению, лет двадцать, до самой смерти в 1854 году ее мучила какая-то странная болезнь по нескольку дней в месяц: «глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка». Но все же именно мать была главной в доме, на ней держалось хозяйство, добродушные и безвольные отец и сын беспрекословно ей подчинялись.

Не имея своего постоянного угла, семья Григорьевых несколько лет кочевала по Москве. Началась совместная жизнь родителей Аполлона с центра города. «Девица» Татьяна Андреевна проживала в доме вдовы А.С. Щеколдиной, который не сохранился; он стоял на углу Большого Палашевского переулка, на месте нынешнего дома № 2, и переулка Большого Козихинского. Именно в этом доме родился Аполлон. Крестили его в церкви Иоанна Богослова, расположенной между Тверским бульваром и Большой Бронной, как бы в продолжении Богословского переулка; в советские годы церковь была в ужасном состоянии, полуразрушена; ныне она восстановлена, приятно сияет новизной. По случайному стечению событий в этой церкви за 10 лет до Аполлона крестили А.И. Герцена. Крестной матерью Аполлона стала хозяйка дома А.С. Щеколдина, а крестным отцом — «квартальный надзиратель Гавриил Михайлов Ильинский».

В конце 1823-го или в начале 1824 года, возможно, из-за смерти сына Николая, родители перебрались в дом купца-раскольника И.И. Казина (Ап. Григорьев писал «Козин»), в большой двухэтажный дом, сдававшийся жильцам: кроме Григорьевых в нем жили еще чуть ли не 30 человек. Он и ныне существует (Малый Палашевский пер., 6) — почти рядом с Тверской. Отсюда родители водили трехлетнего Аполлона смотреть процессию с гробом Александра I, следующую из Таганрога в Петербург, — Григорьев писал, что помнит это событие как бы «сквозь сон».

После смерти дочери Марии в 1827 году родители переехали почему-то на окраину, в Замоскворечье. Возможно, чтобы быть подальше от мест, пробуждающих тяжелые воспоминания. А может быть, их тянуло на свежий воздух, в мир садов и пустырей. Они сняли часть дома у штабс-капитанши О.Д. Ешевской, вдовы с двумя дочерьми. Дом вместе с подобным соседним одиноко стоял в Малом Спасоболвановском переулке; оба они не сохранились, находились на месте современного административного корпуса кондитерской фабрики «Рот-Фронт» (дом № 13/15; переулок теперь называется 2-м Новокузнецким). Напротив дома, на противоположной стороне переулка (дом № 10) находится церковь Спаса Преображения на Болвановке, давшая названия окрестным переулкам. В советские годы она, как и церковь Иоанна Богослова, была в разрушенном состоянии, ныне замечательно восстановлена во всей былой красе.

На купеческой и разночинной окраине Москвы два дворянских дома выглядели инородцами. Вот как описывает новое жилье родителей Ап. Григорьев: «Как теперь видится мне мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-старых воротах, дом с явными претензиями, дом с дворянской амбицией». А хозяин второго дома, «племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике по сказаниям и фармазоне, ходили самые странные слухи».

Так Григорьев уже в раннем детстве столкнулся с темными и заманчивыми слухами и легендами, да он и сам по своей натуре страстно тянулся к таким слухам и легендам. С другой стороны, окраина, за которой располагались заводы и фабрики, впервые показала мальчику тогдашний рабочий люд.

За домом Ешевской находился большой сад, простиравший-

ся до Зацепы и отделявшийся от нее гнилым забором. Аполлон наблюдал сквозь щели забора, «как собирались и разыгрывались кулачные бои, как ватага мальчишек затевала дело, которое чем дальше шло, тем все больше и больше захватывало больших. О! как билось тогда мое сердце, — вспоминал Григорьев, — как мне хотелось тогда быть в толпе этих зачинающих дело мальчишек, мне, барчонку, которого держали в хлопках» (то есть в вате, в хлопке). «А в большие праздники водились тут хороводы фабричными».

В 1831-м или в начале 1832 года родители купили дом в том же Замоскворечье, но немного западнее, на улице Малая Полянка, и ныне благополучно существующей в относительно патриархальном виде, хотя и в нее вторглось современное многоэтажное строительство именно в квартале Григорьевых. И как раз дом Григорьевых, который так много видел на своем веку, был снесен в 1962 году, участок долго стоял пустым, как будто вырвали зуб, — все дома вокруг спокойно существовали, а тут — пустырь. Потом здесь построили унылый многоэтажный дом. Это дом № 12. Взорвали еще в тридцатых годах и церковь Спаса Преображения в Наливках, приходскую церковь Григорьевых, находившуюся в конце Малой Полянки, через несколько участков от дома родителей Аполлона. На фотографии 1915 года, где дом снят с севера, от центра города, за соседним домом хорошо видна колокольня церкви. А сейчас там тоже понастроены унылые коробки домов, и так как церковь взорвали до основания, то ее уже не восстановить. Сохранилось только легкое возвышение — это место сейчас занимает детская площадка во дворе между «строениями» 1 и 2 дома № 17/1 по 1-му Спасоналивкинскому переулку; у холмика можно видеть остатки церковного фундамента, а остатки церковной ограды сохранились на тротуарах у угла названного и Казанского переулков.

Дом Григорьевых был достаточно вместительным, как описывал Фет: каменный подвал с кухней и помещением для дворни; затем основной этаж, деревянный, состоящий из передней, коридоров и шести комнат (зала, гостиная, столовая, спальня, девичья, одна комната без названия — бывшая детская); наконец, вместительный мезонин под крышей, где были два отдельных помещения, в каждом по большой комнате, да еще с отгороженными спаленками.

К дому примыкали сад и довольно большой двор, где были и конюшня (отец стал держать пару лошадей), и коровник — корова приносила хозяевам свежие молоко, сливки, масло. Отец, видимо, поправил свое положение в чиновничьем мире — покупка дома с усадьбой тому верное доказательство.

В феврале 1822 года Александр Иванович поступил в Московскую казенную палату, а в ноябре, значит, вскоре после рождения Аполлона, стал штатным секретарем 2-го Департамента Московского городового магистрата. В 1842 году, в год окончания Аполлоном университета, отец все еще служил в этой должности, имея чин 9-го класса — титулярного советника (который давал право лишь на личное дворянство, а не на потомственное). Видимо, вскоре он вышел на пенсию, так как в московском адрес-календаре на 1846 год его уже нет в числе служащих.

Материальная жизнь семьи в тридцатых годах уже наладилась. А.А. Фет, пять лет (1839—1844) проживший на хлебах у Григорьевых, застал Александра Ивановича уже в достаточном довольствии: «Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности. Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил».

Крепостной дворни у Григорьевых было вначале четыре человека: кучер Василий, его жена Прасковья (старшая нянька и кухарка; она была вольной, но, овдовев, вышла по страстной любви за непутевого Василия и тем самым сама себя закрепостила), слуга Иван, младшая нянька и горничная Лукерья, да еще в дом были взяты из деревни дети, специально для Полошеньки — почти ровесник ему Ванюшка и чуть постарше Марина. Когда отец стал более зажиточным, он еще купил повара Игнатия. Лукерья тогда стала женой повара.

Жизнь родителей шла почти в обломовском духе, если не считать службы Александра Ивановича и потому необходимости приноравливаться к часам. Вставал хозяин рано, в начале восьмого, вскоре вставала и Татьяна Андреевна. Иван ставил самовар, Лукерья шла одевать и обувать Полошеньку (вот уж где была чистая обломовщина: мальчика одевали до тринадцатилетнего возраста). А когда Аполлон подрос, как вспоминал Фет, он уже сам будил родителей: садился в зале за рояль и сонатами заменял будильник. Семья собиралась в столовой, пила чай, Аполлону отец наливал большую кружку и клал немыслимо много сахару.

Затем Василий запрягал пару и отвозил хозяина в магистрат, а к двум часам, если только не было чрезвычайных происшествий (приезд начальства, ревизии и т. п.), привозил домой. Иногда, и довольно часто, Александр Иванович возвращался пешком, тогда Василий ехал за Аполлоном в университет. На двух часах дня служба отца и кончалась. Следовал сытнейший

обед, потом родители отправлялись в спальню соснуть. А после сна, около пяти часов — чай, вроде английского «файв-о-клока». По праздникам ходили к обедне в Спасоналивкинскую церковь. Около восьми часов снова семейный сбор, вечерний чай. В девять слуги отпускались, шли на кухню ужинать и пьянствовать. Алкоголем злоупотребляли неслыханно. Когда Александр Иванович пожелал купить дом, то при поисках однажды сознательно отказался от добротного и дешево продававшегося дома только из-за того, что близко был кабак: пришлось бы ежедневно вытаскивать оттуда своих людей. Василий иногда и днем так напивался, что лошадьми правил хозяин, а позднее подросший Аполлон, поддерживая другой рукой Василия, чтобы не свалился под колеса. Да и Иван частенько напивался. Слушая споры Аполлона и его товарищей на философские темы и твердо запомнив имя «Гегель», пьяный Иван однажды при театральном разъезде крикнул на всю площадь вместо «карету Григорьева!» — «карету Гегеля!». За это он получил прозвище «Иван Гегель».

Молодые слуги Иван и Лукерья отличались вольным поведением, иногда ночи напролет пировали со своими соответственно любовницами и любовниками. Хозяева лениво пытались бороться с излишествами слуг: Александр Иванович по доброте своей чаще всего закрывал глаза, но иногда взрывался гневом, даже полицию призывал, а Татьяна Андреевна методично и постоянно отчитывала домашних, поедом их ела, но проку было мало: все продолжалось по-прежнему. Наверное, слуги про себя люто ненавидели «барыню», выскочившую из грязи в князи (Фет писал о ненависти Лукерьи), но внешне, конечно, не подавали вида.

К десяти часам хозяева отправлялись в спальню, но не на покой, а для семейного чтения вслух (читал, конечно, Александр Иванович) душещипательных сентиментальных романов. Чтение иногда затягивалось до часу ночи. Когда у сына Аполлона появился домашний учитель С.И. Лебедев, он тоже был привлечен к вечерним чтениям, сменяя Александра Ивановича. Детская находилась рядом со спальней родителей, через стенку было довольно хорошо все слышно, и юный Аполлон обычно со страстью вслушивался в тексты читаемых романов и повестей, с детства вобрав в себя круг родительского чтения и регулярно не досыпая положенного мальчику срока.

А круг чтения был весьма разношерстным, включая и шедевры, и, как бы мы сейчас сказали, «ширпотреб»: «...читалось целым гуртом, безразлично... и Пушкин, и Марлинский, и «История государства Российского», и «Иван Выжигин», и «Юрий Милославский» (перечислены произведения Н.М. Карамзина,

Ф.В. Булгарина, М.Н. Загоскина. — *Б.Е.*), и романы Вальтера Скотта, выходившие тогда беспрестанно в переводах с французского. Чтение производилось пожирающее. Но в особенности с засосом, сластью, искреннейшею симпатиею и жадностью читались романы Радклиф, Жанлис, Дюкре-Дюмениля и Августа Лафонтена».

Да, видимо, главным чтивом, потребляемым с особенной «сластью», была литература юности Александра Ивановича (он приобщил к ней и более молодую жену), предромантическая и сентиментальная проза: «готические», то есть «черные» романы, полные мистики и приключений, и близкие к ним «рыцарские» романы, создаваемые англичанами, французами, немцами на грани XVIII и XIX веков. В отечественной литературе, как подчеркивал сын, отец тоже остановился на Державине и Карамзине; к Пушкину, понимая его великий талант, отнесся более сдержанно; Жуковского как-то обошел (слишком «заоблачно» для «земного» отца); Грибоедова и Рылеева считал очень талантливыми, но «злыми». Сын перейдет вскоре на следующий этап в развитии европейской культуры — романтический, он лишь начинал приобщаться к художественной литературе с помощью чтения вслух у родителей.

ДЕТСТВО

Самые ранние годы жизни Аполлона Григорьева приходятся на потрясшее Россию, особенно Петербург и Москву, восстание декабристов 1825 года и на время арестов и репрессий после подавления бунта; в дворянских кругах, в семьях, которые почти все были как-то причастны родственно или идейно к декабристам, воцарилась атмосфера страха и уныния, куда более мощная и долговечная, чем аналогичные настроения 1790-х годов, после арестов Новикова и Радищева. Сам Ап. Григорьев считал, что он трехлетним ребенком ощутил соответствующие настроения, но гнетущая атмосфера уже на своем исходе крепко задела нашего героя: это произошло позднее, когда он стал студентом, а маленький мальчик лишь косвенно ощущал ее, что выразилось в его романтических предпочтениях и увлечениях, тем более что генетически он обладал экзальтированной, страстной натурой и почва была весьма благодатной для восприятия темных легенд о «фармазоне», о чем уже говорилось в предыдущей главе, «черных» романов, позднее — поэзии Байрона, Мицкевича, Пушкина.

Но в раннем детстве Григорьев был лишен школьного воспитания, у него не было сверстников-наставников, да и взрослые учителя появились позже. А воспитательное окружение —

это дворня. В таком окружении мальчик рано познакомился с цинической изнанкой жизни, рано выучил матерные ругательства, но, с другой стороны, это было живое общение с народом, очень много давшее барчуку и положительного; он прекрасно понимал такой плюс: «А много, все-таки много обязан я тебе в своем развитии, безобразная, распущенная, своекорыстная дворня...» Годы напролет мальчик слушал народные песни и сказки (увы, в том числе и скабрезные сказки про попадью и поповну), за годы детства переиграл со слугами во все народные игры. В доме часто живали крестьяне из отцовской деревеньки, которые «поддавали жара моему суеверному или, лучше сказать, фантастическому настройству новыми рассказами о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу Малахову, о кладе в Кириковском лесу», да еще какое-то время в мезонине жил брат бабушки Аполлона, который «каждый вечер рассказывал с полнейшею верою истории о мертвецах и колдуньях».

Вольная жизнь Аполлона продолжалась до шестилетнего возраста; до этого лишь мать понемногу занималась с сыном, уча его по старинке, как и ее учили, читать по буквам и складам: «буки-рцы-бр». Слава Богу, Аполлон был талантлив и памятен, учение схватывал на лету. Но на седьмом году сына отец, по своей дворянской амбиции не желавший отправлять ребенка в городскую школу или гимназию, решил нанять ему хорошего домашнего учителя. Таковым оказался Сергей Иванович Лебедев, сын священника из подмосковного села Перово, только что окончивший семинарию и только что поступивший на медицинский факультет Московского университета. Учитель должен был преподавать ученику все предметы. Из упоминаемых Григорьевым мы знаем Священную историю, гражданскую всемирную историю, русский и латинский языки, математику. Поселили Сергея Ивановича у себя, в соседней со спальней Аполлона комнате (дело было еще в доме Ешевской на Болвановке); кроме крова и сытного стола Сергей Иванович получал еще какую-то жалкую мзду.

Мягкий и романтический, учитель был очень нетребовательным педагогом, но Аполлон благодаря талантам и памяти все быстро схватывал, прочно выучивал, исключая математику, которая ему никогда не давалась. Настоящих уроков и отведенных для занятий часов у учителя и ученика не было. После утреннего чая Сергей Иванович задавал уроки, уходил часа на три в университет и потом перед обедом или после спрашивал заданное. Аполлон ненавидел латынь и математику, но в латыни побеждала память (Аполлон так хорошо выучил язык, что прекрасно понимал все интимные разговоры на латинском языке,

которые вел Сергей Иванович с пришедшими к нему товарищами, предполагая, что мальчик ничего не поймет), а в арифметике ученик нещадно жульничал, подставляя в ответе цифры наобум. Впрочем, он жульничал и в латыни: заметив, что учитель задает уроки по учебнику, который прятал потом в выдвижном и запираемом ящике кровати, ученик подобрал ключ, бесстыдно отпирал ящик, когда учитель был в университете, и доставал учебник с упражнениями и ответами, да заодно еще не по возрасту просвещался, рассматривая хранившиеся в ящике некие картинки.

Вечерами обучение могло продолжаться исподволь: Сергей Иванович в сумерках лежал на диване, Аполлон пристраивался рядом и «шарил» в волосах учителя, а тот, в свою очередь почесывая голову ученика, рассказывал ему эпизоды из древнеримской истории.

Еще сына обучали в детстве музыке, Аполлон прекрасно играл на фортепиано. Позднее он пристрастится к гитаре и на ее фоне создаст свои лирические шедевры.

Когда сын подрос, отец нанял ему еще гувернера француза, общение с которым принесло Аполлону прекрасное знание французского языка. Подросший, он жил уже наверху, в мезонине, занимая северную квартиру, а в аналогичной южной жил гувернер. За год до поступления Аполлона в университет француз стал сильно попивать: то ли от дворни научился, то ли своим телом дошел. Однажды он так накачался, что слетел кувырком по ступенькам лестницы до самого низу. Любивший комические эпизоды Александр Иванович в торжественном тоне рассказывал потом об этом событии и заключал: «Снисшел еси в преисподняя земли». Ясно, что гувернер был тут же уволен.

Литературное воспитание отрока началось, как говорилось, с подслушивания родительского чтения переводных «готических» и рыцарских романов. Впрочем, не только подслушивания. Мальчик быстро нашел место, куда отец припрятывал до следующего вечера очередной роман, нырял в родительскую спальню утром, когда там никого не было, возвращался к себе, держал наготове латинскую грамматику, чтобы в случае прихода взрослых быстро прикрыть ею запретную книгу, и осваивал пропущенные или плохо расслышанные места, да еще и вперед забегал.

Эти духовные кражи (с возвратом!) внесли в душу Григорьева твердое убеждение, что любые цензурные запреты нелепы и вредны. Когда четверть века спустя он сам стал домашним учителем юного князя И.Ю. Трубецкого, то рассказывал ему русскую и западноевропейскую историю без всяких купюр и непедагогично помогал своему ученику восстанавливать купюры, исходившие от других учителей: гувернер князя англичанин

Белль подарил своему воспитаннику том «Family-Shakespeare»: Шекспир для семейного чтения, сильно «кастрированный», как выражался Григорьев, который тут же помог князю с помощью своего неурезанного Шекспира восстановить все изъятые строки; именно эти строки ученик и выучил наизусть, приводя в ужас добродетельного гувернера...

Вкусы Сергея Ивановича и его университетских товарищей демонстрировали следующую стадию по сравнению с увлечениями Григорьева-отца: романтизм. Байрон и Пушкин, Полежаев и поэты-декабристы, знаменитые тогда журналы «Московский телеграф» Н.А. Полевого и «Телескоп» Н.И. Надеждина — вот что обсуждалось и цитировалось на вечерних сходках в комнате учителя, и Аполлон жадно все это впитывал.

А в Большом театре, тогда драматическом, властвовал над умами и душами молодежи великий трагик П.С. Мочалов.

Из западноевропейской литературы, помимо Байрона, становились крайне популярными романы Вальтера Скотта и особенно произведения, по формуле Ап. Григорьева, «юной французской словесности» (Гюго, Бальзак, Сент-Бёв).

Западноевропейские духовные потрясения в связи с французскими революциями и наполеоновскими войнами вызвали невиданно мощный подъем гуманитарного творчества, породив гениев в философии (Фихте, Шеллинг, Гегель), музыке (Бетховен), в литературе, где возник особенно разноцветный спектр от консерваторов Скотта и Шатобриана до почти революционных Байрона и Гюго. И эти бурные взлеты совпали в России с тягостным, гнетущим прессом николаевской реакции после разгрома декабризма. Романтический Запад давал духовную отдушину, духовный свет, в лучах которого русский интеллигент мог хотя бы платонически, хотя бы на время ощутить себя свободной творческой личностью.

С другой стороны, этот романтический ореол порождал внутренний духовный протест талантливых людей, вырывавшийся наружу и, конечно, быстро оказывавшийся под железным прессом николаевской реальности: личностей терзали, сламывали, ссылали, запрещали печататься... У всех на виду тогда оказывалась трагическая судьба Полежаева, Полевого, Чаадаева, Надеждина. Как подчеркивал в воспоминаниях Григорьев: «Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки (имеются в виду романсы А.Е. Варламова. — *Б.Е.*) дают отзыв этому настройству».

Постоянные гонения, наказания еще больше способствовали массовому развитию романтических увлечений, но в специфически субъективистском роде: если внешняя жизнь так страшна и опасна, то нужно замкнуться, уйти в себя, в мир рефлексий или фантастических грез; индивидуализм и рефлексированность становились тоже формой протеста против мрачной и неуютной действительности. Таковым было поколение Ап. Григорьева. Характерно, что более старшие московские юноши оказывались более открытыми внешнему миру, они больше интересовались социально-политическими вопросами.

Хотя между рождением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и ровесников Ап. Григорьева — с другой, интервал всего около десяти лет, но разница между ними огромная: первые воспитались на 1812 годе и декабристских идеях, почти взрослыми юношами встретили николаевскую эпоху, а вторые с малолетства выросли в атмосфере этой эпохи. Герцен на примере В.А. Энгельсона, близкого к петрашевцам и почти ровесника Григорьева (родился в 1821 году), наблюдал отличие двух исторических типов: «На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же *видовым, болезненным надломом* по всем суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели <...>Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни» («Былое и думы»).

Герцен как бы с высоты своего кругозора и чуть-чуть со стороны видел в этом поколении социальную ущербность, страшные последствия николаевского пресса, давящего Россию; Григорьев же «изнутри» считал свою романтическую гипертрофированность чуть ли не нормой, по крайней мере достоинством. Да и в самом деле, из сосредоточенного самонаблюдения могло ведь вырасти чувство достоинства, значимости и независимости личности... Так что — еще раз подчеркнем — и крайности интроспекции, рефлексии были тоже косвенной формой протеста, по крайней мере — романтической формой неприятия нивелирующей личность действительности. Недаром поколение, родившееся в 1819—1822 годах, дало так много поэтов романтического плана: А.А. Фет, Я.П. Полонский, А.Н. Майков, Н.Ф. Щербина, Ап. Григорьев. Любопытно также, что реалистическая «натуральная школа» (оказавшая, впрочем, воздействие на поколение Григорьева) создавалась главным образом ровесниками 1812 года (именно в этом году родились А.И. Герцен, И.И. Панаев, Е.П. Гребенка, И.А. Гончаров) или

даже более старшими современниками (В.И. Даль) — и лишь Н.А. Некрасов и Д.В. Григорович были ровесниками Григорьева. Еще один знаменитый ровесник, Ф.М. Достоевский, хотя и примкнул вначале к «натуральной школе», но сразу же занял в ней совершенно особое место. О творческих связях Григорьева и Достоевского, об их личных взаимоотношениях еще будет у нас идти речь.

Итак, романтически воспитанный не конкретной средней школой или гимназией, а эпохой в целом, конкретно же обученный семинаристом-студентом С.И. Лебедевым и французом-гувернером, Ап. Григорьев к шестнадцати годам был достаточно созревшим для поступления в университет. Отец перед поступлением еще, видимо, нанимал для сына квалифицированных учителей; А.А. Фет, например, обмолвился в своих воспоминаниях, что по истории Аполлона подготавливал И.Д. Беляев, видный ученый, будущий профессор Московского университета.

Единственная антибюрократическая реальность тогдашнего русского высшего образования — это отсутствие необходимости представлять при поступлении в университет какой-либо аттестат или диплом об окончании средней школы. Главное — сдать длинный ряд вступительных экзаменов. Отец решил в 1838 году, что сын хорошо подготовлен к поступлению в университет, и начал хлопотать — уже не об аттестате зрелости, а о документах из мещанской управы. Дело ведь в том, что усыновленный «незаконнорожденный» Аполлон не имел никаких дворянских привилегий, он числился мещанином, принадлежал к податному сословию, поэтому требовалось разрешение на университетское обучение, приводящее к выходу из сословия. Конечно, отцу с его чиновничьими связями, наверное, не так уж трудно было получить отпускное свидетельство, где Аполлону разрешалось поступать «по ученой части» и сообщалось о согласии мещанского общества на его увольнение из сословия (но это лишь формально; фактически же увольнение из податного сословия происходило только по окончании университета). Заодно давалась паспортно-полицейская характеристика юноши: «росту немалого, лицом бел, глаза голубые, волосы светло-русые». Начиналась совсем новая жизнь Аполлона.

К сожалению, мы ничего не знаем о собственном его творчестве в достуденческий период. Ясно, что он уже писал стихи. Из случайной поздней реплики Григорьева в письме к Ф.А. Кони от 8 марта 1850 года мы с удивлением узнаем, что в 1837 году, то есть пятнадцатилетним, он перевел трагедию Шекспира «Король Лир»! Правда, тогда юноша не знал английского и переводил текст с французского перевода, потому потом и стыдился своей детской работы — но ведь Шекспир! и целая шекспирова трагедия.

УНИВЕРСИТЕТ

Итак, благополучно сдав вступительные экзамены, Аполлон стал в 1838 году слушателем Московского университета. По настоянию практичного отца он пошел на юридический факультет, который совершенно бы не нужен был романтику и поэту: конечно, ему надо было бы поступать на словесное отделение философского факультета. Но сын тогда был паинька, он не смел ослушаться отца и так и окончил юридический факультет.

Юноши, поступавшие в университет в николаевское время, делились на три категории; классификация четко отражала социально-сословную иерархию той поры: *своекоштные* студенты, дети богатых дворян и священнослужителей, жившие дома и на содержании родных; *казенно-коштные* студенты, дети бедных родителей, принадлежавших к привилегированным сословиям, содержавшиеся за счет университета (общежитие, казенная одежда, казенное питание); *слушатели*, дети лиц из податных сословий, они получали лишь по окончании университета чин и полное освобождение. Мещанин Григорьев был слушателем. Как острил декан Крылов, слушатели и есть настоящие слушатели, а «настоящие» студенты часто пропускают занятия.

Григорьев стал студентом, то есть точнее — слушателем первого университета России в удачное время. Конец 30-х и начало 40-х годов для Московского университета стали периодом явного расцвета после долгой полосы застоя и мрака, той полосы, в которую попали сперва Полежаев, а затем Белинский, Герцен, Лермонтов... Об этой мрачной эпохе сохранились живые, хотя и краткие очерки в университетских главах «Былого и дум» Герцена и обстоятельные характеристики — в «Моих воспоминаниях» академика Ф.И. Буслаева (М., 1897). Буслаев учился в Московском университете как бы в интервале между Герценом и Григорьевым: с 1834 по 1838 год, поэтому описал и старые порядки, и новшества после 1835 года.

В 1835 году попечителем Московского учебного округа и таким образом «хозяином» университета был назначен видный вельможа граф С.Г. Строганов. Он презирал «выскочку» С.С. Уварова, министра народного просвещения и в меру своих возможностей старался быть самостоятельным, ограждая университет от петербургского начальства. Благодаря своей относительной независимости и гордому желанию сделать «свой» университет лучшим Строганов мог отбирать среди талантливой научной молодежи действительно достойных преподавателей, обеспечивать их штатными местами, заграничными командировками, средствами на публикацию трудов и т.п.

Поэтому в университетские годы Григорьева во главе ведущих гуманитарных кафедр стояли Т.Н. Грановский (всеобщая история), П.Г. Редкин (энциклопедия права), Д.Л. Крюков (римская словесность и древняя история), которые ошеломляли юношей потоком совершенно новых идей и фактов, только что добытых европейской наукой, знакомили с новейшими методологическими учениями, прежде всего — с гегельянством (хорошее знание Гегеля Григорьев вынес из университетских занятий). Декан юридического факультета Н.И. Крылов, возглавлявший кафедру римского права, обучал студентов методам романтической школы французских историков.

Наш Аполлон слушал лекции этих профессоров, отдавал им должное, в числе лучших студентов-старшекурсников был приглашаем в дом Н.И. Крылова на его семейные вечера (позднее, женившись на свояченице декана, Григорьев даже стал его родственником), но все же ни к одному профессору студент не оказался так близок, как к М.П. Погодину.

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — необычная фигура в кругу московских профессоров. Сын крепостного крестьянина, пробившего дорогу к освобождению благодаря способностям и усердию, он тоже делал свою жизненную карьеру сам, пойдя дальше отца. Оставленный при университете по его окончании, он довольно быстро защитил магистерскую и докторскую диссертации, стал профессором, получил кафедру русской истории, позднее избран академиком Санкт-Петербургской академии наук. Наряду с преподавательской и научной работой Погодин еще был известным журналистом: он издал несколько альманахов, редактировал видные журналы «Московский вестник» (1827—1830) и «Москвитянин» (1841—1856); в молодые годы он создавал и художественные произведения: неплохие повести, драму «Марфа-Посадница», положительно оцененную Пушкиным.

Мировоззрение Погодина было очень эклектичным, в отдельных своих элементах попросту противоречиво несоединимым (он, например, постоянно говорил о строгости, даже математичности своего метода исторических доказательств и в то же время часто опирался на случайности, на божественное чудо — последнее, как увидим, особенно импонировало Григорьеву). В целом же Погодина можно назвать демократическим монархистом. Выйдя из народа, болея за народ, мечтая об его освобождении от крепостного рабства и, с другой стороны, будучи совершенно чуждым аристократической элите и дворянской спеси, Погодин по своему осторожному и прагматическому характеру никогда не являлся не то что революционером, но даже и свободолюбивым либералом: он защиту от аристократизма и

дворянского самоуправства (точно так же и от радикальных движений) видел в монархическом строе. Подобно славянофилам он развивал идею о добровольном призвании народом правителей (придерживался варяжеско-норманнской теории относительно первых русских князей), но если славянофилы подчеркивали, что народ, отдав власть, оставлял себе силу общественного мнения и совета, то Погодин этот аспект забывал и полностью погружался в деятельность властей государства. Поэтому будучи близок к славянофилам по монархическому консерватизму, по русофильству, по элементам панславизма, резко расходился с ними в оценке Петра I, реформаторская и как бы «антибоярская» деятельность которого была ему очень по душе.

Из-за своего консерватизма постепенно отставая от методологического развития исторической науки (сменивший его на кафедре в 1844 году товарищ и сокурсник Григорьева С.М. Соловьев весьма невысоко оценивал своего предшественника), Погодин, однако, всегда стремился работать с первоисточниками, с рукописными и вещественными материалами, учил этому студентов и тем самым привлекал их к себе. В то же время профессор использовал толковых студентов для своей журналистики: предлагал какие-либо переводы и компиляции для отдела «Смесь», давал вычитывать корректуры очередного номера «Москвитянина». Причем все это за гроши. Погодин генетически отличался практической сметкой; в своей журналистской деятельности он рассчитывал не только на культурный вклад и успех, но и на барыш. Но корысть в журналистике вещь обоюдоострая, необходим дьявольски умный расчет, гибкость, учет всех факторов, чтобы не прогадать, особенно когда речь идет о привлечении талантов: если работников взять «числом поболее, ценою подешевле», успеха не будет, а если начать привлекать яркие таланты, то им и платить надо существеннее...

Погодин оказывался ловким коммерсантом при «разовых» операциях, например, когда он выгодно продал государству свое обширное «Древлехранилище» рукописей и предметов, но при длительной журналистской работе его губила скупость, ему постоянно хотелось набирать сотрудников «ценою подешевле». Поэтому захирение его журналов — плод не только реакционного содержания, но и скупости редактора-издателя, не желавшего тратить большие деньги на приобретение выдающихся произведений отечественной словесности.

Вот к какому наставнику прикипел Аполлон Григорьев, еще будучи студентом. Он с ним оказался связанным на всю свою недолгую жизнь; начав с незначительного участия в «Москвитянине» в первые послестуденческие месяцы, затем опять же краткосрочно пытаясь сотрудничать в журнале в 1847-м — на-

чале 1848 года, он на шесть последних лет существования «Москвитянина» стал его главным литературным критиком; потом до самой кончины Григорьева не покидала мысль о возможном возобновлении журнала.

Погодин, как бы воплощая будущую мечту Н.Ф. Федорова сохранять все, созданное человечеством, не выбрасывал ни одной бумажки из своего дома, поэтому его громаднейший архив, в целом дошедший до наших дней, включает полторы сотни писем Григорьева к его бывшему профессору, писем, содержащих обширные и уникальные сведения самого различного рода — в книге это собрание будет неоднократно использовано.

Любопытно, что Григорьев оказался довольно чуждым другу Погодина и соратнику того по «Москвитянину» профессору Степану Петровичу Шевыреву. Лекций его Григорьев не слушал (Шевырев читал юристам русскую словесность на первом курсе, а в 1838—1840 годах он находился в Риме), да и позднее не оценил, видимо, не принимая крайней умеренности, консервативной старомодности социальных и эстетических воззрений профессора. Григорьев писал Е.Н. Эдельсону 5 декабря 1857 года: «В былые времена мы уже достаточно срамились общением с разною гнилью, вроде Шевырева». Впрочем, в шестидесятых годах он в противовес легкомысленным нападкам радикалов готов был защищать исторические заслуги Шевырева.

Талантливый Григорьев уже на первом курсе университета был замечен преподавателями. По какому-то предмету он к семестровому (полугодовому) зачету подал сочинение на французском языке. Преподаватель не поверил, что такое серьезное исследование, да еще по-французски, мог написать юный студент. Не поверил и попечитель, граф С.Г. Строганов. Вызвал Григорьева и начал с ним говорить по-французски. Убедился, что тот сам писал. И заключил беседу: «Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам надо стушеваться». Граф невольно, даже, наверное, не задумываясь, высказал пожелание, типичное для всех деспотических режимов: сиди тихо, не высовывайся, жди, когда тебя за угодливость и старательность наградят начальники...

Однако Григорьев невольно же становился одной из центральных фигур на курсе, да и шире, в университете вообще: слишком ярок был и талантлив, да еще с каким-то романтическим ореолом: «...юноша с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какой-то тонко разлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией», — вспоминал Я.П. Полонский. Очень быстро вокруг него образовались философский и поэтический кружки. Под влиянием лекций профессоров Редкина и Крылова, постоянно ссылавшихся на

Гегеля, Аполлон серьезно занялся философской литературой современности, в первую очередь, конечно, трудами Гегеля. Так характеризовал Григорьев свою альма-матер в более поздних воспоминаниях: «...университет таинственного гегелизма, с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой». Тогда на русский и на французский языки Гегеля только начинали отрывочно переводить, и желающему по-настоящему штудировать его грандиозное по объему, а не только по содержанию, учение нужно было хорошо знать немецкий. Здесь тоже блестяще проявились способности Григорьева — он самостоятельно сел за незнакомый язык, в основном изучая именно философские книги; первое время часто обращался к Фету, хорошему знатоку (у него ведь мать немка, да и учился он в немецкой школе), а через полгода читал Гегеля почти без справок и спотыканий.

В философский кружок Григорьева входили Я.П. Полонский, А.В. Новосильцев, С.М. Соловьев, кн. В.А. Черкасский и другие студенты. После Григорьева самым видным участником собраний был Николай Михайлович Орлов, сын опального, сосланного в Москву декабриста М.Ф. Орлова, который не пострадал больше лишь потому, что был родным братом приближенного к Николаю I шефа жандармов князя А.Ф. Орлова.

Н.М. Орлов четко, логически мыслил, он, например, сообщал товарищам, что может математическим методом доказать существование Бога. Сохранилась тетрадка, где он начал излагать свои философские воззрения (текст не окончен). Любопытно, что изложение озаглавлено «По просьбе Григорьева» и начинается прямым к нему обращением: «Ты верно помнишь, любезный друг, что в прошлое воскресение, когда мы все собрались у тебя, вследствие философического разговора, завязавшегося между нами, вы все просили меня систематически изложить мои взгляды на бумаге. Так как мне показалось, что ты более всех моих товарищей в твоей духовной жизни идешь дорогой прямой, и что ты менее всех их находишься под влиянием предрассудков, впрочем очень простительных, то я решился адресовать этот опыт тебе, в надежде, что ты будешь отвечать мне так же откровенно и беспристрастно, как и я намерен изложить тебе мои мысли».

Мировоззрение Орлова достаточно эклектично, да и трудно было бы ожидать цельной и итоговой системы от восемнадцати-девятнадцатилетнего юноши (Орлов родился в 1821 году), но все-таки оно для юного мыслителя серьезно и глубоко. В этом тексте нет математического доказательства существования Бога, автор считает, что для этого нужно было бы еще предварительно «доказать существование материи», чтобы оградить себя от

«софистическо не откровенных возражений Новосильцевых, Полонских и проч.». Поэтому он принимает за аксиому «существование Божества, Духа и Материи», а далее анализирует творения Божии: человека, жизнь. Жизнь есть субъективная, духовная жизнь человека, и объективная, то есть жизнь всей материи. «Результат субъективной жизни есть Наука, Изящное, Благое» — то есть Орлов включает сюда известную троицу философов XVII—XIX веков: истина, красота, добро. «Результат объективной жизни есть: усовершенствование материального быта и применение результатов жизни субъективной к жизни материи для ее пользы и наслаждений». Но полного достижения нет, так как неполны составляющие (в примечании Орлов приводит возражение Полонского: наука в своей совокупности полна — и свой ответ: наука полна лишь в долженствовании, а не в сущности: то есть в реальности, сказали бы мы). При всей этой неполноте есть, однако, стремление к совершенству и к наслаждению, которые между тем тоже оказываются неполными.

«Предыдущее непременно должно предположить вне материи и человечества существование идеи *Высшей Премудрости, Изящества и Блага,* в коей одной лежит высочайшее наслаждение. Эта идея есть *Бог*». Таково вкратце содержание текста Орлова.

Судьба сохранила нам самую раннюю известную рукопись Григорьева, датированную 10 октября 1840 года: «Отрывки из летописи духа. Мысли и впечатления, вынесенные из жизни общественной и мыслительной». Думается, что это тоже или итог, или конспект будущего выступления на кружковом философском заседании. В какой-то степени его можно рассматривать и как ответ Орлову (или продолжение, развитие его мыслей).

Рукопись начинается главной формулой: «Бог есть *бесконечная усовершимость* человека оконченная». Далее разъясняется смысл этого противоречивого парадокса: оконченность есть лишь в божественном идеале, а «усовершимость» (мы бы сказали: усовершенствование) человека — бесконечна. Дальнейшие идеи о вечности, о безначальности и бесконечности, наверное, заимствованы у Гегеля; зрелый Григорьев будет решительно открещиваться от этой «безразмерности», мы еще рассмотрим эту критику гегельянства.

Далее автор, как и Орлов, использует известную троицу понятий-областей, но приписывает ее не к «субъективной жизни», а к совершенству: «Совершенство есть истина, благо и изящное». И тогда Григорьеву легче, чем Орлову, показать неполноту этих трех ипостасей: так как совершенство недостижимо, ибо оно не имеет пределов, оно бесконечно, то и все три категории недостижимы в полноте.

В тексте есть немало интересных «отрывков», разъясняющих общефилософские и более конкретные эстетические воззрения Григорьева: романтическое подчеркивание «момента» как единственной сущности (реальности); представление о том, что «тройственная идея» воплощается под формами, под «оболочками» (познание — оболочка истины, любовь — оболочка блага, поэзия — оболочка изящного); диалектика «человека» и «человечества», которая всегда будет занимать Григорьева и впоследствии трактоваться с другими акцентами и выводами: человек — «конечность», человечество — «безначальность и вечность»; «Но *человечества* нет, ибо конца нет: прошедшее, настоящее, будущее — не слились и не сольются посему. Есть один *момент*».

Формулировки и понятия Григорьева, как и все у него, более зыбки и непричесанно первозданны, чем аналогичное у Орлова, но они очень важны как первые опыты умственного творчества, как зародыши будущих концепций и терминов. Доморощенная и дилетантская философия была полезной школой.

«Заседания» кружка обычно проходили в григорьевском доме, в мезонине (как правило, через воскресенье). Молодежь шумела; очевидно, звуки громких споров разносились по всему дому, но родители были терпимы к гостям: слава Богу, Полошенька не пропадает где-то в неизвестности, а принимает дома хороших товарищей. Как вспоминал Фет: «Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками».

Молодые люди, естественно, не могли целый вечер углубляться в философские дебри, перемежали серьезные разговоры шутками и пародиями. Недалекий Чистяков остроумно демонстрировал, упирая один в другой указательные пальцы, как борются между собой субъект и объект. А талантливый А.В. Новосильцев, зять чинуши Д.П. Голохвастова, помощника попечителя Московского учебного округа, развивал «гегелевскую» мысль, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьма, казарма, скотный двор, и его родственник приставлен к университету в качестве скотника. Новосильцев вообще любил пародийные триады: по его классификации дураки делятся на простых, важных и утонченных.

Философские увлечения Григорьева относятся к его ранней университетской поре, главным образом, к первому и второму курсам, к началу третьего. Потом их оттеснили литература и театр. Здесь большую роль сыграла дружба с Фетом, равнодушным к философским занятиям, зато целиком погруженным в мир поэзии.

Благодаря счастливой случайности Фет оказался сожителем Григорьева, а потом, на закате своего писательского пути оставил ценные воспоминания о юности «Ранние годы моей жизни», благодаря которым мы и знаем о Григорьеве студенческой поры. Знакомство двух поэтов произошло так. Сын помещика Орловской губернии Афанасий Афанасьевич Шеншин (вынужденный носить фамилию матери Фет, так как он, подобно Григорьеву, появился на свет до официального брака родителей) с 1837 года жил в частном пансионе М.П. Погодина, готовясь к поступлению в университет, там же он продолжал находиться первые полгода студенчества, до нового 1839 года. Еще до поступления Фет слышал от пансионного учителя истории И.Д. Беляева хвалебные отзывы о его частном ученике Аполлоне Григорьеве, тоже подготавливаемом к университету. Когда стал студентом, Фет познакомился с Григорьевым, у них оказались общие интересы — оба писали стихи, — и Фет стал бывать в доме Григорьевых. Ему очень понравилась домашняя обстановка, сам он тоже понравился старшим Григорьевым; а так как они, видимо, страшно боялись, как бы Полошенька не попал под чье-либо дурное влияние, то решили закрепить дружбу молодых людей и предложили Фету переехать к ним жить.

Он, конечно, тоже был рад такой возможности: предстояло постоянное общение с товарищем, да еще он давно хотел покинуть пансион, где из-за скупости Погодина и его матери, реальной правительницы пансиона, очень плохо кормили. И Фет стал просить отца договориться с родителями Аполлона о таком переезде; старший Шеншин специально приехал в Москву, убедился, что семья Григорьевых заслуживает уважения и симпатии, и родители быстро договорились об условиях. Фету предоставлялась южная квартирка в мезонине, та самая, которую совсем недавно занимал злополучный француз-гувернер, юноша становился полным нахлебником семьи, и отец его платил хозяевам всего триста рублей в год (учитывалось еще отсутствие студента во время зимних и летних каникул). А в северной квартирке жил Григорьев.

Молодые люди были очень рады такому сожительству на антресолях. Для Аполлона, помимо совместных поэтических интересов, появление постояльца открывало, хотя бы щелочкой, выход в мир. Родители так обожали своего ненаглядного Полошеньку, что деспотически держали его в домашней тюрьме, даже в его студенческие годы! С большим трудом ему удавалось отпроситься на вечер к сокурснику Я.П. Полонскому, тоже будущему знаменитому поэту. Но, как вспоминал Полонский, в 9 часов вечера у подъезда уже стояли сани — приехал Василий — и Аполлон прощался: «Нельзя!» А уж о театрах и говорить нечего, их Аполлон мог посещать лишь с родителями. Появление Фета спасало узника: с надежным товарищем сына отпускали и в театр, и в цирк, и на вечера к друзьям.

Однако пребывание друга в доме имело и оборотную сторону. Фет, весь погруженный в стихотворство, ненавидел учебу, пропускал занятия, перед экзаменами лихорадочно спохватывался, что-то успевал освоить, но все-таки на трудных предметах (политэкономия и статистика, греческий язык) проваливался, дважды оставался второгодником, поэтому закончил университет не в 1842 году, как Аполлон, а в 1844-м. Стало легендой, что, уже будучи солидным помещиком и семьянином, Фет, бывая в Москве и проезжая мимо университета, всегда открывал окно кареты и плевался в сторону здания...

Вольный бездельник, естественно, был плохим напарником погруженному в науки Григорьеву. Сам Фет откровенно признавался в воспоминаниях, что ему постоянно хотелось помешать заниматься соседу-товарищу. Он лез с разговорами, демонстрировал товарищу разные «спортивные» фокусы, освоенные в пансионе (например, схватить товарища за кисти рук, своими большими пальцами прижимая ладони жертвы, и быстро вывернуть его руки вверх-наружу — жертва из-за наступающей боли бессильна сопротивляться). Позднее Фет еще более коварно вмешивался: когда Григорьев стал фанатически религиозен и мог в церкви на коленях молиться чуть ли не до кровавого пота, Фет подползал рядом и начинал нашептывать другу какие-то дьявольские соблазны...

Но все это искупалось поэтическим общением. Фет донес до нас сведения о самых ранних стихотворных опытах Григорьева, который — любитель аффектов и эффектов — падал на колени и с выражением декламировал свою стихотворную драму «Вадим Новгородский», написанную торжественным пятистопным хореем:

О земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.

Ироничный Фет, уже в те юные годы бывший значительно более зрелым поэтом, чем его друг, написал язвительную эпиграмму:

Григорьев музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! — мой Вадим.

Григорьев сам чувствовал вымученность своих ранних стихотворений, тяжело переживал неудачи и сочинял более искренние и менее напыщенные строки:

> Я не поэт, о Боже мой!
> Зачем же злобно так смеялись,
> Так ядовито надсмехались
> Судьба и люди надо мной?

Зато он сразу понял, какие мощные потенции поэтического таланта таятся в душе Фета, он без всякой зависти восхищался опытами друга, своими похвалами подталкивал товарища на творчество, выступал в качестве переписчика и систематизатора. Возможно, благодаря Григорьеву Фет в 1840 году издал первую книжечку своих стихотворений — «Лирический пантеон». А уж что мы точно знаем, со слов Фета, — именно Григорьев подготовил к печати чуть позже цикл его стихотворений «Снега»: расположил их в определенном порядке, озаглавил отдельные произведения. После нескольких стихотворений, опубликованных в «Москвитянине» в конце 1841 года, «Снега» стали первым печатным циклом Фета (появились в том же погодинском «Москвитянине» за январь 1842 года). В то время Григорьев еще не настолько был знаком с Погодиным, чтобы рекомендовать произведения друга (он это станет делать несколько лет спустя); первым старшим оценщиком стихотворений Фета стал приехавший из Италии профессор С.П. Шевырев: они ему очень понравились и именно благодаря ему были опубликованы в «Москвитянине».

Поэтические занятия и интересы Григорьева и Фета способствовали созданию в мезонине не только философского, но и литературного студенческого кружка. Третьим крупным стихотворцем был Я.П. Полонский, сокурсник, быстро сдружившийся с обитателями григорьевского мезонина. Он, как и Григорьев, поступил в 1838 году на юридический факультет, но проучился, подобно Фету, не четыре, а шесть лет: дважды проваливался на экзаменах. Фет вспоминает, что сразу оценил поэтический талант Полонского, автора «Мой костер в тумане светит...». Потом в кружок входил А.Е. Студитский, переводчик Байрона и Шекспира. Полонский и Студитский, как и Фет, уже были авторами опубликованных произведений: первое стихотворение Полонского напечатано в «Отечественных записках» в 1840 году, с 1841 года он уже стал сотрудником «Москвитянина», а Студитский еще в 1839 году опубликовал сразу в двух журналах («Московский наблюдатель» и «Сын отечества») третий акт шекспировского «Отелло».

Из стихотворных опытов Григорьева-студента мы ничего не знаем, кроме отрывочных цитат в воспоминаниях Фета, зато

фетовских стихотворений той поры сохранилось очень много, благодаря публикациям в печати. Это главным образом психологические миниатюры, пейзажная лирика — во всяком случае, произведения совершенно невинные в цензурном отношении, то есть далекие от каких-либо общественно-политических, философских, религиозных тем и проблем. Фет в воспоминаниях подчеркивал аполитичность тогдашних интересов — своих собственных, да и товарищей: «...ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов».

Но это справедливо лишь отчасти. Не говоря уже о философских спорах (которые, впрочем, чужды Фету), стихотворство друзей было не только аполитичным. Полонский в старости напоминал Фету о его весьма радикальных стихах, а известный архивист и библиограф П.П. Пекарский, собиравший бесцензурные тексты, тогдашний «самиздат», сохранил у себя полный текст того запомнившегося Полонскому стихотворения Фета. Пекарский приписал, что автор — Фет и еще некий студент Московского университета. Уж не Григорьев ли? Очень похоже. В резких строках чувствуется почерк не столько Фета, сколько именно Григорьева:

> Где народности примеры?
> Не у Спасских ли ворот,
> Где во славу русской веры
> Казаки крестят народ?

(Речь, видимо, идет о ликвидации давки — нагайками! — при входе в Кремль во время больших православных праздников.)

Это стихотворение создано в первые месяцы после окончания Григорьевым университета (а Фету еще два года оставалось учиться) вот по какому поводу. Консервативный публицист и поэт М.А. Дмитриев поместил в «Москвитянине» (октябрь 1842 года) памфлет на В.Г. Белинского, нечто вроде политического доноса. Фет с товарищем ответили большим стихотворением «Автору стихов «Безымённому критику»; процитированное четверостишие — восьмая его строфа. Конечно, ни при какой погоде это произведение не могло тогда быть опубликовано (оно впервые напечатано, да и то с купюрами, В.Е. Евгеньевым-Максимовым в 1940 году и поэтому расходилось в списках; В.П. Боткин прислал копию Белинскому, который был очень доволен).

Конечно, для Фета такой жанр был случайным эпизодом, а вот для Григорьева, если только именно он был соавтором, совсем нет — стихотворение может рассматриваться как предтеча его будущих социально-политических памфлетов.

Кроме университетских дел и вечерних собраний друзей Григорьев-студент был весь погружен в чтение. О штудирова-

нии философских сочинений уже говорилось; однако главным предметом чтения была художественная литература. Фет вспоминал, что, придя в григорьевский дом, он застал Аполлона с головой погруженного во французскую романтическую литературу; кумирами были В. Гюго («Собор Парижской Богоматери» и драмы) и скучный Ламартин. Фет способствовал охлаждению друга к Ламартину и переходу к поэзии Шиллера и Гёте. Затем пришло обоюдное увлечение Байроном и Гейне. Из русских современных поэтов сперва восхищались Бенедиктовым, потом, благодаря лекциям Шевырева, — Лермонтовым. «Могучее впечатление» произвел «Герой нашего времени».

И чрезвычайно велико было увлечение театром. Отрадно отметить, что родители Аполлона очень заботились о духовном образовании сына (попутно, естественно, и нахлебника) и были весьма щедры на билеты в театры. В Большом театре тогда главенствовала русская драматическая труппа с гениальным трагиком П.С. Мочаловым. Позднее в очерке «Великий трагик» (1859), посвященном другому гению-трагику, Сальвини, постоянно сравниваемому с русским «предшественником», Григорьев даст изумительно яркую картину игры Мочалова в роли главного героя шекспировской драмы «Ричард III»: «...вырисовывается мрачная, зловещая фигура хромого демона с судорожными движениями, с огненными глазами... Полиняло-бланжевый костюм исчезает, малорослая фигура растет в исполинский образ какого-то змея, удава. Именно змея: он, как змей-прельститель, становился хором с леди Анною, он магнетизировал ее своим фосфорически-ослепительным взглядом и мелодическими тонами своего голоса...»

Репертуар русской драматической труппы в начале сороковых годов, когда грибоедовское «Горе от ума» и лермонтовский «Маскарад» были запрещены цензурой, а Островский еще не вышел на свое поприще, в основном строился на западной классике, русские же пьесы Кукольника и Полевого годились скорее не для Мочалова, а для кумира петербургского начальства В.А. Каратыгина, имевшего мощную, крупную фигуру, величественную осанку, зычный голос... Но и Мочалов брал в этих пьесах своим талантом, имел успех.

В Большом театре Москвы, помимо русских актеров, постоянно гастролировала петербургская немецкая оперная труппа, тоже привлекавшая Григорьева и Фета своим романтическим репертуаром. Особенно их потрясло исполнение оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол». Вот описание сцены из третьего акта оперы по воспоминаниям Фета: «...подобно тому, как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг. Когда он, бы-

вало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его упавшую у часовни в обмороке Алису и высоко занесши правую руку, выражал восторг своей близости к этой безупречной чистоте фразой: «du zarte Blume!» (ты нежный цветок. — *нем.*), потрясая театр самою низкою нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали друг друга...» (П.И. Орлова — прима русской труппы, напарница Мочалова, исполнительница роли Офелии в «Гамлете»; М. Нейрейтер и В. Ферзинг — звезды немецкой труппы.)

Григорьев несколько лет спустя, в 1846 году опубликует в журнале «Репертуар и пантеон» специальную рецензию на постановку немецкой оперной труппой «Роберта-Дьявола» и еще более страстно, чем Фет, передаст свои впечатления:

«И под звуки бесовской, безумной музыки пронеслась по сцене она, верховная жрица наслаждения, вавилонски-сладострастная грешница... О посмотрите, посмотрите, как хороша она, как нага она, как она возвышенно-бесстыдна, как негою и томлением дышит ее каждое дыхание! Да! это искусство, это искусство, принесшее в жертву ложную жеманность, это апотеоза страсти, апотеоза томления — в очах безумство, в каждом движении — желание. Посмотрите, с каким умоляющим видом молит она Роберта, как жадно пьет она кубок, как нежно-сладострастно подает его. Посмотрите, как потом, под томительные звуки виолончеля, под эту вакхально-нежную, под эту обаятельно и тонко-развратную музыку, она то плывет в море сладостных грез, то с пылом желания стремится на грудь Роберта, то манит и зовет, то замирает в безумном, неистовом лобзании... О да! это искусство! честь и слава искусству! (...)

Я затаил самое дыхание. Декорации исчезли передо мною; в каком-то тумане виднелись и светлый дух, и опаленный проклятием демон... Апокалипсическая, неземная драма совершалась передо мною... артист был выше всех трагиков в мире...»

В Малом театре Москвы тогда господствовала французская драматургическая труппа. Молодые люди посещали ее спектакли, но их впечатления от этих постановок были, вероятно, более бледными, чем от двух трупп Большого театра.

А попутно шли университетские занятия, коими Фет манкировал, Григорьев же послушно посещал лекции, выполнял все письменные работы, основательно готовился к экзаменам и в мае 1842 года блестяще закончил юридический факультет, заняв первое место (так и оставаясь до конца не студентом, а слушателем!), ибо на всех курсах все предметы сдавал на пятерки. Вот список сданных им предметов: на первом курсе — «Энциклопедия законов» и «История русского права»; на втором — «Законы о гражданской службе», «История римского права», «Государственные и губернские учреждения»; на третьем — «Россий-

ские гражданские законы», «Римское право», «Местные законы», «Уголовное право»; на четвертом — «Церковное законоведение», «Римское право», «Иностранные государственные законодательства», «Финансия», «Благоустройство и благочиние», «Общенародное право», «Практическое судопроизводство». Господи, сколько он времени потратил на совсем не нужные ему в дальнейшем предметы! Разве что мог профессионально писать рецензии на юридические книги; законоведение на уровне средней школы пригодилось ему позднее, когда он преподавал этот предмет в Сиротском институте и в гимназии, да что-то из практических навыков, возможно, применялось при недолгой его чиновничьей службе. Но все-таки он получил, пусть и в юридической только сфере, широкое университетское образование.

Тогда оканчивавшие университет получали одно из двух званий: «кандидат» (лучшие выпускники) и «действительный студент» (более слабые). В 1842 году степень кандидата давали тем, у кого средний балл был выше 4 1/2. Ясно, что Григорьев стал кандидатом. Диплом университетского кандидата наконец освобождал его держателя от податной зависимости, исключал из мещанского сословия.

Очарованные блестящим выпускником профессора, естественно, хотели оставить Григорьева при университете; нашлось ему и место библиотекаря. Но в России все бюрократические дела делались медленно, и лишь в декабре 1842 года, то есть через полгода по окончании университета, Григорьев получил «открепление» от мещанства и перед самым Рождеством, 22 декабря, был официально зачислен служащим университетской библиотеки, удостоившись чина коллежского секретаря, то есть сразу 9-го класса, всего на одну ступеньку ниже отцовского чина титулярного советника, заработанного десятилетиями канцелярского труда. 15 лет спустя, в 1857 году не бог весть как служивший Григорьев-сын получит чин 8-го класса — коллежского асессора; до царского указа 1845 года, «поднявшего планку» до 5-го класса, этот чин давал потомственное дворянство.

ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА

Итак, перед новым 1843 годом Аполлон Григорьев стал библиотекарем богатого книгохранилища Московского университета. Все окружение молодого работника было уверено, что он будет таким же толковым и аккуратным, каким он был во все предыдущие годы. Оказалось — совсем наоборот. Григорьев совершенно открыто пренебрегал своими обязанностями, например, раздавал книги, нигде не регистрируя выдачу.

Начинал проявляться один из самых тяжелых и неприятных недостатков Григорьева — его безответственность. Он мог манкировать служебными обязанностями, не выполнять чиновничью или литературную работу к обещанному сроку, набирать денег в долг и потом не думать их отдавать... Он даже частенько мучился, страдал, стыдился своей безответственности, но ничего не мог поделать с собою. Когда позднее он пристрастился к алкоголю, эта беда еще более усугубила безответственность. Приведу такой характерный пример. В начале шестидесятых годов, когда он был уже известным поэтом и критиком, он вместе с другими видными литераторами должен был участвовать в любительском спектакле «Горе от ума» в Кронштадте. Сам он выбрал себе роль Репетилова. Совсем незадолго до начала спектакля Григорьев оживленно рассказывал товарищам, как надо играть Репетилова: его обычно изображают карикатурно, глупым болтуном, а он ведь хороший знакомый Чацкого и т. д. Потом исполнитель роли исчез. Не появился перед началом спектакля. Заволновались. Послали служащего в номер гостиницы. Тот вернулся смущенным и заявил: «Репетилов неудобен». Пришлось срочно искать замену, найти человека, знающего текст Грибоедова.

Откуда появилась эта безответственность у работящего, способного, исполнительного юноши? Какие-то генетические задатки? Просчеты воспитания? Последнее как причина очень вероятно. Ведь Полошенька был в семье полностью освобожден от каких-либо обязанностей, кроме утренней игры на рояле для пробудки родителей. И его холили и как бы водили за ручку не только в университетские годы, но и потом, когда он уже стал служащим. Возможно, такое продление безответственного детства в какой-то степени атрофировало те области сознания и чувств, которые руководят ответственностью.

Но, с другой стороны, безответственность — побочная дочь безнравственности, а этическая сущность человека имеет генетические корни, так что, может быть, григорьевская этическая распущенность уходит в родословные глубины, нам неизвестные.

Считаю, что безответственность — одна из черт русского народного характера XIX века, взращенного веками крепостного рабства: раб, как известно, лишен нравственного выбора, потому лишен и ответственности за свои поступки. И наоборот, несколько поколений дворянского существования выработали понятия достоинства, чести, ответственности. Григорьев находился как бы посредине между такими крайностями. Конечно, он не был безответственным по убеждениям, но некоторые душевные свойства располагали к неэтичным поступкам. Нужно еще

учитывать его поэтическую природу. Многие грехи Григорьева вырастали из страстной натуры художника: погруженный в творчество и любовные переживания, он совершенно не думал обо всем другом: и чиновничьи обязанности, и долги уплывали в туманную реку забвенья, ему становилось не до них. В дальнейшем будут неоднократно возникать парадоксальные ситуации: Григорьев в статьях истово ратовал за мораль и ответственность и в то же время в быту оказывался совершенно безответственным.

Странно, что бесшабашная раздача книг долго не была замечена начальством: очевидно, отличнику учебы, кандидату — доверяли. Григорьев прослужил библиотекарем восемь месяцев, в сентябре 1843 года он стал секретарем университетского Совета, выдержав конкурс и тайное голосование. На место секретаря претендовало четыре человека, в том числе довольно солидный чиновник — надворный советник Петр Малицкий, но Григорьев всех победил (из 30 членов Совета за него проголосовал 21).

Секретарство в университетском Совете требовало большего напряжения сил и большей бюрократически-бумажной деятельности, чем библиотека. Но Григорьев и здесь блистательно манкировал своими обязанностями: он не заполнял нужные ведомости, совершенно не вел протоколы заседаний Совета. Профессорский мир доверял своему избраннику, его никто не проверял. В конце-то концов, конечно, все всплыло бы на поверхность, но Григорьев не дождался административного и нравственного грома, он проработал секретарем Совета всего полгода, до февраля 1844 года.

Профессура юридического факультета, конечно, надеялась, что оставленный при университете талантливый питомец, первый кандидат, продолжит учебу в научной сфере, начнет готовиться к защите магистерской диссертации. Сам Григорьев первое время, видимо, тоже предполагал делать научную карьеру, подумывал о магистерских экзаменах, его на эту стезю подталкивал и граф Строганов, но вскоре все эти планы уплыли в небытие: он был весь захвачен литературной деятельностью и страстною любовью. Правда, через несколько лет, в 1845 году, уже в Петербурге он опять пожелал готовиться к магистерским экзаменам, прикрепился к столичному университету, откуда затребовали из Московского аттестат кандидата, но и там первоначальным оформлением документов все и кончилось.

Первая настоящая любовь пришла к Григорьеву еще в студенческий период: он влюбился в свою «крестовую сестру» Лизу. «Крестовая» — значит, кто-то из родителей Аполлона был крестным у Лизы (возможен был бы и обратный вариант — кто-то из родителей Лизы крестил Аполлона, но по церковной метрической ведомости восприемниками при крещении Аполлона были квартальный надзиратель Ильинский и вдова Щеколдина, в то время как нам известно, что отец Лизы был сослуживцем отца Аполлона).

Увы, Лиза не откликнулась на чувства Григорьева, она влюбилась в Фета. С этой юношеской истории начинается цепь любовных неудач Аполлона, последуют, одна за другой, женщины, которые явно не могли полюбить горемычного кавалера: А.Ф. Корш, ее сестра Лидия, ставшая даже женой Григорьева, Л.Я. Визард, О.А. Мельникова, будущая сноха (жена сына) Ф. Тютчева. В чем дело? Григорьев был видный, красивый мужчина, живой человек, занимательный собеседник, не говоря уже о его познаниях и творческих способностях. Но вот не влюблялись! Единственное исключение — М.Ф. Дубровская; об их драматической истории пойдет речь дальше. Любовь — штука иррациональная, здесь логикой не возьмешь, однако «массовая» безответность все же заставляет предполагать, что Григорьеву, видно, не хватало мужественных начал: твердости, прочности чувств, силы воли, способности быть всегда опорой ближнему, наконец, той самой ответственности, о коей мы уже говорили. Зато Григорьев был полон «женственных» свойств: зыбкость и экзальтированность чувств, слабоволие, быстрое подпадание под чужое влияние...

Вряд ли Фет глубоко любил Лизу, да тогда и речи быть не могло, чтобы чиновник согласился выдать дочь за сомнительного по происхождению и по положению провинциала; Лизе быстро нашли какого-то подходящего доброго молодца, совершенно чуждого девушке. Возникла драматическая коллизия: безответная любовь Григорьева к Лизе, почти безответная любовь Лизы к Фету, выдача Лизы замуж за совершенно не любимого жениха, а шафером у невесты на свадьбе выступал истерзанный переживаниями Аполлон. Эта волнительная повесть, видимо, очень разбередила поэтические души и Григорьева, и Фета: первый по горячим следам будет откликаться на события стихотворениями, а потом напишет рассказ «Офелия» (1846), а второй уже в старости (1884) сочинит автобиографическую поэму «Студент».

Два самых ранних известных нам стихотворения Григорьева, относящиеся к 1842 году, посвящены именно истории с Лизой. Первое озаглавлено шифром: «Е.С.Р.»:

> Да, я знаю, что с тобою
> Связан я душой;
> Между вечностью и мною
> Встанет образ твой.
> . . . .

Связан буду я с землею
Страстию земной, —
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.

Второе, без заглавия, описывает момент венчания Лизы:

Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе теперь сказать я не умею, —
Но за тебя молиться я не мог...

Я пытался расшифровать буквы заглавия первого стихотворения. Е — конечно, Елизавета. Тогда С.Р. — инициалы ее отца? По намекам в «Офелии» и «Студенте» можно судить, что семьи Григорьевых и Лизы жили недалеко и что их отцы были сослуживцы. С помощью московских справочников той поры можно установить, что в начале сороковых годов по месту проживания и по должности инициалам С.Р. больше всего отвечает Семен Кузьмич Радостин, коллежский регистратор, писец Московского губернского правления. Но в «Офелии» упомянуто отчество Лизиного отца — Елисеевич. Если это соответствует реальности, то тогда среди прямых сослуживцев Александра Ивановича Григорьева по 2-му департаменту Московского городового магистрата был то же, как и Григорьев, секретарь Тихон Елисеевич Стрекалов, титулярный советник; и жил он совсем близко от Григорьевых. Значит, тогда первые две буквы можно расшифровать как «Елизавете Стрекаловой». А что такое Р.? Какое-то заветное слово? Пока шифр все-таки остается загадкой.

Рана от первой любви зарубцевалась быстро. От второй кровоточила почти полтора десятилетия, пока не была вытеснена еще более сильной третьей. История этой второй любви такова.

Декан юридического факультета Н.И. Крылов женился в 1842 году на красавице и, видимо, бесприданнице Любови Федоровне Корш. Она была дочерью известного московского врача Федора Адамовича Корша. Семья была немецкого (а некоторые исследователи еще считают и еврейского) происхождения, но уже совсем обрусевшая. За свою долгую жизнь отец семейства от двух браков произвел на свет 22 ребенка, огромное количество детей даже по меркам XIX века. В 1837 году Ф.А. Корш скончался, оставив жену Софью Григорьевну с большой оравой непристроенных сирот. Более старшие дети, не родные Софье Григорьевне, в основном уже вышли в люди, но добрый десяток ее детей нуждался в поддержке, тем более что в большинстве это были девочки. Мать дала им хорошее домашнее образование (вначале еще с помощью мужа) и начала

«планомерно» выдавать замуж. Выход Любови за видного профессора и декана был, наверное, не только сам по себе приятен матери, но она еще умело рассчитала, что с его помощью можно будет найти университетских женихов для младших дочерей.

С.Г. Корш стала устраивать у себя вечера-журфиксы, и зять Никита Иванович, наверняка при ее подталкиваниях, тоже открыл двери своего дома младшим товарищам и отличным студентам-старшекурсникам. Григорьев оказался в числе таких первых приглашенных в семейный дом Крыловых. Он сразу же обратил внимание на двух младших сестер хозяйки — Антонину и Лидию — и страстно влюбился в первую.

Антонина была на год моложе Аполлона, то есть в 1842 году ей было 19 лет. Живая, неглупая, образованная в литературе и музыке, красивая, с интересным сочетанием смуглости и голубых глаз (Григорьев писал в стихотворении «Обаяние»: «Когда из-под темной ресницы / Лазурное око сияет...»). Везло Григорьеву на голубоглазых брюнеток: таковой же будет Л.Я. Визард.

Аполлон часто, чуть ли не каждый вечер, стал встречаться с Антониной, он снабжал ее художественной литературой (благо он был библиотекарем!), приносил ноты новейших опер, фортепьянных произведений, романсов. Что-то ему, особенно ноты, приходилось покупать — влезал в долги. Во Франции всходила новая литературная звезда — Жорж Санд, и Григорьев вместе с семьей Коршей страстно увлекся писательницей. Григорьев стал подписывать свои стихотворения и повести псевдонимом «А. Трисмегистов», заимствованным из романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» (Трисмегист — псевдоним главного героя, графа Альберта). А Антонине он присвоил имя Лавинии, героини одноименной повести Жорж Санд. Любовь Григорьева к Антонине Корш отражена во многих стихотворениях; их больше десяти, и три из них одинаково названы этим именем: «К Лавинии». Поэт избрал псевдоним для любимой чрезвычайно емкий и многозначный. Помимо прямых ассоциаций с жоржсандовской героиней, звучание слова навевает целый комплекс смыслов: лава, лавина, вина, возможно — английское «лав», любовь... (Интересно, у Григорьева или у Жорж Санд заимствовал имя своей героини Булат Окуджава в романе «Путешествие дилетантов»? При этом он несколько раз прямо использует образ лавины.)

Антонина мило кокетничала с Аполлоном, он то уверялся в ответных чувствах, то тревожно разочаровывался. Сомнения, колебания, радости ярко отображены в его поэзии той поры. В стихотворении «Женщина» (декабрь 1843 года) — сердитое недовольство:

Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой...

А в стихотворении «К Лавинии», созданном в том же декабре, — наоборот, полная уверенность во взаимности:

...Но доколе страданьем и страстью
Мы объяты безумно равно...

В реальной же жизни были лишь намеки на взаимность. А в конце 1843 года у Григорьева появился опасный соперник — Константин Дмитриевич Кавелин. Он был старше Григорьева, родился в 1818 году, юридический факультет Московского университета окончил в 1839-м. Во время первых месяцев ухаживания Аполлона за Антониной (1842—1843) он находился в Петербурге (мать настаивала, чтобы сын делал чиновничью карьеру, но тот долго не выдержал), в конце 1843 года вернулся в Москву и стал посещать «салон» Н.И. Крылова.

Кавелин происходил из семьи, оставившей заметный след в истории русской культуры. Отец его Дмитрий Александрович в молодые годы был поэтом, другом Жуковского и Александра Тургенева, потом видным чиновником (правда, весьма консервативным, соратником мракобесных Магницкого и Рунича); сыну он дал, конечно, хорошее домашнее образование, одним из учителей был В.Г. Белинский, оказавший громадное влияние на Кавелина-сына, который пошел совсем другим путем, чем отец: он стал одним из главнейших русских либералов, фактически — начинавшим либеральное движение в русской общественной мысли, вместе с Т.Н. Грановским и позднее Б.Н. Чичериным.

Как личность Кавелин был благородным, работящим, творческим, твердым в убеждениях и поступках. В любой сфере он, видимо, был несколько — по-ученому — рационалистичен и, ратуя за гармонию и нравственность, вряд ли мог, подобно Григорьеву, стать рабом страстей. Много позднее, в 1868 году, добрая знакомая его семьи Л.И. Стасюлевич, жена издателя известного либерального журнала «Вестник Европы», допытывалась у Кавелина по поводу его интимной жизни, и тот ответил в письме интересным признанием: «Я никогда в жизни, с молодости, не знал любви и страсти, как ее описывают. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечениям я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине несчастия и горя. Своим увлечениям я ни разу не приносил женщин в жертву, никогда не клялся в страсти, в вечной любви и т. п. Я позволял себе увлекаться, только когда видел, что это не стоило женщине тяжелой борьбы, упреков совести, когда она, уступая мне, не мучилась сознанием, что нарушила свой долг, свои обязанности. Жертв я бы мог просить, если б был в состоянии заменить женщине всех и все; но на это я не способен и знаю это. Из моих сближений никогда не выходило драм и трагедий, которых я тщательно избегал, потому что не могу выносить чужого горя и прихожу в ужас при одной мысли, что кому-нибудь может быть худо по моей вине». Вот каков оказался соперник у нашего Аполлона.

Ему трудно было тягаться с Кавелиным в смысле социального положения и будущего: тот уже был на пороге защиты магистерской диссертации, надеялся на профессорскую кафедру (и получил ее после защиты!), и мать Софья Григорьевна, да, наверное, и сама дочь быстро предпочли ученого мужа. Тем более что Кавелин, приходя в гости, держался естественно, умно, свободно разговаривал со всеми, а Григорьев от бешеной ревности глупел, хандрил, изображал демонического или разочарованного байрониста, был, наверное, невыносим в общении.

Но Кавелин не сразу узнал о предпочтении именно его. Он видел лихорадочное поведение Григорьева, невооруженным глазом видел, что это страстная любовь, и однажды откровенно спросил неудачника (они были достаточно хорошо знакомы и были на «ты»): с надеждой ли тот любит? на что Григорьев честно ответил отрицательно. Видимо, уже потерял надежду. Тогда Кавелин произнес знаменательную фразу: «Но если эта женщина полюбит кого-нибудь, она будет готова следовать за ним на край света».

Потом Кавелин увидел, что избран он, и со спокойной откровенностью стал делиться с соперником своими планами. Из художественного дневника Григорьева, претенциозно озаглавленного «Листки из рукописи скитающегося софиста»: «Нынче был Кав⟨елин⟩... Опять о бессмертии и об ней. Он говорит прямо, что если обеспечит свою будущность, то непременно женится на ней... «Наш взгляд на семейную жизнь одинаков, — продолжал он, — на другой день брака я буду точно таков же, каков я теперь; жена моя будет свободна вполне»... А я — я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью...» В последнем можно было не сомневаться. Наверное, женщины чуяли эти ревниво-мучительные перспективы.

Все художественное творчество Григорьева тех послеуниверситетских двух лет было пропитано любовью к Антонине Корш. Познакомившись лично с М.П. Погодиным, он стал предлагать издателю журнала «Москвитянин» свои произведения. Не-

сколько стихотворений Погодин напечатал. Самая первая известная нам публикация (июль 1843 года) — два стихотворения «Доброй ночи». Кстати, это и самые ранние стихотворения из «коршевского» цикла, самые светлые и гармоничные. В первом поэт желает любимой спокойного сна; правда, из «подводной тюрьмы» ночью вылетают девять «лихоманок-лихорадок», жаждущих «в губы целовать» (сказочные образы взяты из известной книги М.Д. Чулкова «Абевега русских суеверий»; у Фета есть аналогичное стихотворение «Лихорадка»), но на небе находится сторож, «ангельские очи» которого отгонят злодеек:

Спи же тихо — доброй ночи!..
Под лучи светил
Над тобой сияют очи
Светлых Божьих сил.

Второе стихотворение (оно без заглавия; первая строка — «Доброй ночи!.. Пора!..»), навеянное аналогичным сонетом А. Мицкевича, — вариант на ту же тему, только прощание происходит не вечером, а на рассвете, поэтому «ночи тайные гости» уже «отлетают, спеша до утра» «вернуться домой». В переработанном виде это стихотворение войдет в знаменитый григорьевский цикл «Борьба» (1857), о котором еще много будем говорить.

Окрыленный успехом и похвалами, Григорьев забросал Погодина своими грандиозными планами: «...вчера, приехавши от Вас, под влиянием еще разговора с Вами я был долго счастлив. Много веры в назначение поселяете Вы в меня, да воздаст Вам за это Бог. Долго я не мог спать от мысли о будущих четырех архи-неистовейших статьях моих для первой книги «Москвитянина» на 1844 год, а именно: 1) рецензии о книге Крылова, 2) рецензии стихотворений моего Фета, 3) статьи о настоящем состоянии философии на Западе и 4) о немецком театре в Москве». Далее сообщается, что статья о Фете «в отрывках написана почти вся». К остальным темам автор, видимо, еще не приступал. «Книга Крылова», очевидно, означает том басен, вышедший в 1843 году в Петербурге (юрист Н.И. Крылов не в счет: у него не было никакой книги); о той самой книге басен И.А. Крылова в «Москвитянине» появилась небольшая рецензия в 1844 году (апрель), но она явно не григорьевская.

В другом письме к Погодину, относящемуся к той поре (не датировано), Григорьев говорит о посылке второго акта драмы. Это, по всей вероятности, будущая драма «Два эгоизма», которая в первоначальном варианте называлась «Современный рок». Именно там главный герой — Ставунин, который упоминается в данном письме к Погодину. Однако и этот замысел тогда не был осуществлен, драма заканчивалась уже в Петербурге.

Замысел же ее был чрезвычайно интересен, как он изложен в письме к Погодину: «Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве? Впрочем, масонство здесь чистый факт, субстрат высших нравственных убеждений, которые *сами* судят Ставунина, заставляя его сказать:

...В монахи
Я не гожусь — мне будет так же душно
В монастыре...

Не браните ради Бога за его личность — не на каждом ли шагу она встречается, более или менее, конечно... Это сознание о необходимости смерти, как единственной *разумной* развязке, тяготеет над многими, над иными как момент переходный, над другими как нечто постоянно вопиющее... и мне кажется, что это — момент высший в отношении к моменту апатии и божественной иронии гегелистов, как самосуд; автономия выше рабства, рабство — тоже самосуд, но только исподтишка, при случае: рабство носит само в себе ложь на себя — самосуд сознает ложь себе признанием неумолимого божественного правосудия... Ему не достает только слова сознания... Эти две лжи — рабство и самосуд отражаются, как мне кажется, во всей истории философии вне Христа: 1) рабство, пантеизм — в лице известных представителей, 2) самосуд — в гностиках, в Бёме, даже в Лютере. Те и другие — лгут, одни отвергая Бога, другие — отвергая мир... С такого момента глубокого аскетизма, аскетизма Сатаны, с *знания* без любви начинается процесс в душе моего героя. Слово любви, слово завета — для него в одном прошедшем; без него — он мертв. «Бывалый трепет» чувствует он при встрече с этим прошедшим, но это трепет смерти, трепет мертвой лягушки от прикосновения гальванической нити... Отвратительное, но возможное явление...»

Идеологический комментарий, как всегда у Григорьева, не причесан и сбивчив, но свидетельствует об интересных раздумьях философского плана. «Известные представители» — вероятно, классические немецкие философы, особенно Гегель, а высшим философским и нравственным критерием оказывается учение Христа. В этом отношении запись Погодина в дневнике 1844 года: «Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте вращаются молодые люди. Отчаянное безверие» — нуждается в оговорках; идеи драмы, изложенные в письме к учителю, отнюдь не свидетельствуют о пустоте и безверии.

В душе молодого человека кипели страсти, голова была полна творческих идей, жизнь открывала ему глубины и противоречия философии, эстетики, религиозного сознания, человеческой психики, а дома господствовали прежние патриар-

хальные порядки, и даже утренние матушкины расчесывания волос Полошеньке продолжались. Григорьеву каждый раз по-прежнему нужно было отпрашиваться на какой-либо вечерний визит и не поздно возвращаться домой. Будучи служащим университета, он уже получал жалованье, но все отдавал до копейки родителям, которым и в голову не приходило, что сынок вырос и может нуждаться в собственных деньгах. Надежды на журнальные гонорары были еще слабыми, Аполлон был вынужден для своих расходов влезать в долги. Они его затягивали все сильнее и сильнее, до безнадежности отдачи. А эта перспектива безнадежности развивала в нем не энергию борьбы и преодоления трудностей, а, наоборот, отчаяние обломовца. Опускались руки и усыхала творческая сила. Пропадай, дескать, все! И еще более отчаянно и безответственно залезал в долги. К началу 1844 года долги достигли размера годового жалованья Григорьева.

В моем семейном кругу есть понятие «принцип корзиночки». Четырехлетний внук случайно отломал у красивой плетеной корзиночки одну палочку, что создало заметную дырку. Потрясенный случившимся внук не о починке подумал, а в кусочки разломал корзинку. Вот такой принцип корзиночки постоянно сопутствовал несчастьям Григорьева. Чем хуже и безнадежнее становилось его положение, тем отчаяннее он падал, опускался, совершал невообразимые поступки. Пропадай все пропадом! Конечно, в такой среде создавались благоприятнейшие условия для развития безответственности: несчастная любовь и обилие долгов лишь усиливали игнорирование прямых обязанностей секретаря университетского Совета.

В «Листках из рукописи скитающегося софиста» Григорьев откровенно писал: «Я хорош только тогда, когда могу примировать (первенствовать. — *Б.Е.*), т. е. когда что-нибудь заставит меня примировать... Все это вытекает во мне из одного принципа, из гордости, которую всякая неудача только злобит, но поднять не в силах. В эти минуты я становлюсь подозрителен до невыносимости. Дайте мне счастие — и я буду благороден, добр, человечествен».

«Дайте мне счастие» — очень точно сказано. Не «я буду бороться, трудиться, достигая счастья», а «дайте»! На ту же тему формула: «...когда что-нибудь заставит меня...».

Не очень надеясь на альтруизм окружающих, Григорьев глубоко верил в божественное чудо. Бог даст! Причем верил прямо «материалистически»: может быть, подкинет на улице кошелек с деньгами! С большой долей цинизма он называл Бога Великим Банкиром... В стихотворном послании к друзьям (начало 1850-х годов) он полушутя, полусерьезно заявлял:

И сам я молод был и верил в Благодать,
Но наконец устал и верить, и ждать,
И если жду теперь от Господа спасенья,
Так разве в виде лишь огромного именья...

Единственную активность, которую при этом позволял и приветствовал ожидающий чуда, — это стремление *узнать,* что именно готовит ему Бог. Из «Листков...»: «Хочу молиться в первый раз (за) этот год. Есть вечное Провидение — и я хочу знать его *волю*». Не дожидаясь, пока чудо случится, спровоцировать божественный Фатум, заранее узнать, что тебе готовится.

Но Провидение не спешило помогать несчастному, который все больше погружался в трясину безнадежности. Любовные успехи Кавелина сделали бесповоротно невозможными мечты о взаимных чувствах и соединении с Антониной Корш; долги росли, росли проценты у ростовщиков; ясно было, что в конце концов раскроется безделье Григорьева как секретаря Совета. Что делать? И у запутавшегося молодого человека (не забудем, что ему всего 21 год!) начинает созревать идея: бежать. Это тот выход, который, как увидим, и в дальнейшем будет всегда вставать перед ним, и всегда он будет его осуществлять. А куда бежать? Появился фантастический план: в Сибирь! То есть подальше от несчастной любви, от кредиторов, от раскрытия секретарского ничегонеделания. А как можно было зарабатывать в Сибири? Наверное, учительствовать в гимназии?

Однако идея прямого сибирского побега из Москвы вскоре отпала: официального перевода из Московского учебного округа в Сибирь не давали (Григорьев даже обращался к своему покровителю, попечителю графу Строганову, но тот отказал), получить губернаторское разрешение на поездку без перевода, «тайно» от университетского начальства тоже не удалось, а бежать без документов было опасно: не с каликами же перехожими брести по дорогам, да и там можно было попасть в руки полиции, а ехать через почтовые станции совершенно невозможно: в николаевское время, как в военную годину, передвижение людей по стране было строго регламентировано, нужно было получить при отъезде подорожную, официальное свидетельство о маршруте и целях поездки.

Тогда Григорьев придумал такой блестящий план: отпроситься на небольшой отпуск в Петербург, а уже оттуда через министерство добиться перевода в Сибирь (впоследствии Сибирь отпала: то ли и в Петербурге не разрешили, то ли столица заманила молодого человека; и лишь много лет спустя юная идея была частично осуществлена: в 1861 году он поехал преподавать в Оренбургский кадетский корпус). Отпуск в Петербург на 14 дней удалось получить беспрепятственно, причем

Григорьев намекнул ректору А.А. Альфонскому, что хочет не возвращаться; ректор уговаривал остаться, но, как видно, безуспешно.

Любопытно сочетание дат: 24 февраля 1844 года Кавелин успешно защитил магистерскую диссертацию, и это, наверное, было последней каплей, подтолкнувшей Григорьева на радикальное решение; 25 февраля он отправился с заявлением к ректору университета: «Имея надобность по домашним обстоятельствам отправиться в Санкт-Петербург...» Мы-то знаем эти домашние обстоятельства! Ректор разрешил, попечитель граф Строганов написал свою подтверждающую резолюцию 26 февраля, и в один из ближайших последующих дней Григорьев уехал. Он специально подгадал оформление документов к концу недели (26 февраля — суббота), чтобы родители как-то не узнали сразу — через Н.И. Крылова — о намерениях сына.

Главное было — до самого отъезда утаить побег от родителей, Аполлону так не хотелось открытого семейного скандала, хотя он, естественно, хорошо понимал, какой шторм разыграется после его исчезновения. Он вообще старался не распространяться о побеге. Вот описание в «Листках...» последнего визита к Коршам, где визитер явно умолчал об отъезде: «*Там* застал я К⟨а⟩в⟨ели⟩на и потому невольно был молчалив и скучен. «У! какой злой сегодня, — говорила мне Софья Григорьевна, — какой злой, какой старый!» И в самом деле — я и К⟨а⟩в⟨ели⟩н были такими противуположностями в эту минуту. Он — живой, умный, румяный, полный назначения и надежд, сидел прямо против Антонины Федоровны и говорил без устали. Я сидел у окна подле матери — и курил сигару, изредка вмешиваясь в разговор; моя бледная, исковерканная физиономия казалась еще бледнее. К чему-то Антонина обратилась ко мне с вопросом: «А помните, как мы гуляли в Покр⟨овско⟩м?»

— Как же-с! — отвечал я так равнодушно, что за это равнодушие готов был уважать себя.

Мы поднялись вместе.

— Au revoir, mesdames, — сказал я им. — Adieu, m-lle*, — обратился я к ней.

И как подумаешь, что может быть, навек».

А вот уже открытое прощание с Фетом, который еще несколько месяцев, до лета, пока не окончит, наконец, свое студенческое поприще, будет жить на антресолях григорьевского дома: «Да — есть связи на жизнь и смерть. За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько редких вечеров, когда мы оба бывали настроены одинаково, — я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь.

Ему хотелось скрыть от меня слезу — но я ее видел.

Мы квиты — мы равны. Я и он — мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга. Если я спас его для жизни и искусства — он спас меня еще более, для великой веры в *душу человека*».

Сам Фет тоже колоритно описывал отъезд Григорьева в своих воспоминаниях: «Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем, бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место».

И, наконец, — последние строки «Листков из рукописи скитающегося софиста»: «Утро — со мной лихорадка. В пять часов меня не будет в Москве (...). Я доволен собою. Чуть не изменил себе, прощаясь с стариками; — но все кончено — передо мною мелькают лес да небо... Теперь 9 часов. Домашняя драма уже разыгрывается. Fatum опутало меня сетями — Fatum разрубило их».

Побеги Григорьева осуществлялись всегда в очень кризисные моменты его жизни, что лишний раз напоминает об удивительных компенсаторных способностях человеческого организма. Слепой развивает возможности других органов чувств, особенно слуховых и осязательных. Глухой опирается на зрение. А в нашем случае происходит «разрезание» пространственно-временно́го континуума и использование одной «половины» для компенсации ослабленной второй. Человек, прикованный болезнью к постели или заключенный в тюрьму, то есть лишенный пространственной свободы, заменяет эту недостачу временны́ми развертками: прокручивает в уме «кинофильмы» о своей прошлой жизни, иногда занимается прогнозами о буду-

* До свидания, сударыни... Прощайте, мадемуазель (*фр.*).

щем своем существовании и т. д. И наоборот, временна́я застопоренность, духовный кризис, останавливающий развитие, жизненное движение человека, может его привести к попыткам перемещаться в пространстве, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы новыми впечатлениями дать пищу замороженной душе... У Григорьева к такой временно́й заколоденности примешивались еще неприятные ореолы, характерные именно для данного места (рядом — любимая, выходящая замуж за другого, кредиторы требуют возврата долгов, родители лишают молодого человека бытовой свободы), поэтому побег означал еще надежду избавиться от тяжкого соседства.

В ПЕТЕРБУРГЕ

Железная дорога Петербург — Москва тогда еще только строилась, нужно было пользоваться гужевым транспортом. Имевшие возможность ехать в своих экипажах или нанимать их у чужих людей, конечно, наслаждались относительным комфортом, хотя по булыжному шоссе, получавшему преимущество перед земляным проселком лишь при дождях, ехать было очень тряско, почему те, кто мог перенести поездку на зимнее время, предпочитали сани. Люди победнее отправлялись в путь в общем дилижансе. Это обширная карета с двумя скамейками у продольных стен с окошками; на каждой скамейке сидело по пять-шесть человек. Читать было при вибрации очень трудно, оставалось разговаривать с соседями, дремать, прикладываться к фляжке (спутник А.И. Герцена в одной из поездок не только сам постоянно прикладывался, но и от души угощал соседа, вежливо спрашивая, не желает ли он «практического», то есть водки; на стоянке Герцен отблагодарил его, как писал жене, «теоретическим», то есть хорошим вином).

В сороковых годах дилижанс шел между столицами трое суток, так что если Григорьев выехал из Москвы 27 февраля, то приехал в Петербург 1 марта 1844 года; не забудем, что это был високосный год, то есть с 29 февраля.

Не успел Григорьев прибыть в столицу, как он уже отправляет ректору Альфонскому просьбу о продлении отпуска еще на 14 дней (дата на прошении — 2 марта). Подождав еще около трех недель, он просит 21 марта выдать ему причитающееся жалованье за февраль и март (!) — и сообщает о Фете как своем доверенном лице.

А еще через несколько дней, в самом конце марта, уже просит о перемещении на службу «в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел». Ректор согласился, попечитель

тоже; видно, Григорьев очень нравился графу Строганову, ибо тот предложил ректору Альфонскому известить департамент Министерства внутренних дел, что бывший студент в числе отличнейших кандидатов был представлен в 1842 году министру народного просвещения для разрешения ему прямо поступать на службу в ведение министерства.

Любопытно, что прежде чем отправить согласие в Петербург, канцелярия университета послала запрос в библиотеку: не имеет ли увольняемый Григорьев каких-либо казенных книг — и получила ответ «не имеет».

Странно, что прошение о хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел не имело продолжения, несмотря на все положительные ответы; Григорьев почему-то оказался с 26 июня 1844 года служащим 2-го департамента Петербургской управы благочиния (есть документ), то есть городского полицейского управления. Но во всех следующих документах Григорьева будет ложная дата: якобы он поступил в Управу благочиния «канцелярским чиновником высшего оклада» 25 сентября 1843 года. Что означает этот почти годовой сдвиг влево? Случайная ошибка какого-то чиновника, о которой Григорьев умолчал, или же сознательное увеличение стажа службы в Петербурге с помощью взятки или каких-то служебных связей отца? Трудно сказать. Но лишний раз убеждаешься, что даже документам Министерства внутренних дел не следует доверять, а надо их проверять другими данными. Хорошо, что мы точно знаем, когда наш герой переехал из Москвы в Петербург.

Через полгода после реального поступления в Управу благочиния, в декабре 1844 года Григорьев переводится опять же «канцелярским чиновником высшего оклада» в 1-е отделение 5-го департамента Правительствующего Сената (этот департамент ведал уголовными делами), в марте 1845 года он и там получает повышение — место «младшего помощника секретаря». Как мог такой совершенно не пригодный к канцелярской работе человек получать повышения по службе?! Действовали связи отца? Или прекрасный аттестат первого кандидата Московского университета? Реально-то Григорьев никак не хотел трудиться на бюрократическом поприще; он ворчал, манкировал, мечтал, что будут изобретены машины, которые заменят нетворческий труд чиновника... Но жалованье-то он исправно получал.

Конечно, очень скоро его отлынивание от своих прямых обязанностей стало заметным начальству. Обер-прокурор того отделения, где служил Григорьев, подал министру юстиции, который ведал чиновниками Сената, рапорт от 21 июня 1845 года с сообщением, что младший помощник секретаря «постоянно оказывал себя к службе нерадивым и к должности являлся весь-

ма редко, несмотря на многократные напоминания со стороны экзекутора, отзываясь притом каждый раз болезнию; но когда, по распоряжению моему, был командирован доктор для освидетельствования его в состоянии здоровья, то не застал его дома». Колоритный рапорт. Мы привыкли уже к представлениям о деспотическом режиме Николая Палкина, но какая, однако, была патриархальная простота в высшем чиновничьем учреждении России: можно было без всяких справок постоянно прогуливать часы работы!

Министр, видимо, все-таки взъярился от такой наглости приголубленного чиновника и потребовал, как в сказке о рыбаке и рыбке, вернуть Григорьева на службу в Управу благочиния. Не уволить, а перевести рангом ниже! Но и там Григорьев не перестарался, в ноябре 1845 года он подал прошение об увольнении «за болезнию». Уволили. Так закончилась столичная чиновничья карьера нашего Аполлона... Игнорирование служебных обязанностей было, вероятно, связано не только с отвращением к бюрократической деятельности, но и с успехами в литературной и журнальной сферах, о чем речь будет ниже.

Где жил Григорьев в Петербурге? Пристанища его первых месяцев нам неизвестны, здесь можно только гадать. Не забудем, что у Фета был какой-то петербургский адрес, да и родители, посылая на следующий день вслед за уехавшим сыном слугу Ивана, верно, получили от Фета адрес. Значит, речь должна идти не о первой попавшейся гостинице, а уже о заранее известном месте. Возникает предположение, что первоначально молодого человека приголубили в Петербурге масоны.

Масонство Григорьева — одно из самых загадочных и темных мест в его биографии. Прежде всего это связано с тем, что масонские ложи были официально запрещены Александром I в 1822 году, в год рождения Аполлона, а репрессии николаевского правительства против всяких нелегальных кружков тем более настораживали сохранивших свои традиции масонов, и они ушли в глубокое подполье. Но они, конечно, не самораспустились, хранили заветы предшественников и, наверное, привлекали в свои организации новых членов; в XX веке в предреволюционное время и в 1917 году масонские ложи приоткрыли свое подполье; видно было, что ложи существовали в течение всего XIX века.

Более чем вероятно, что Григорьева «соблазнили» вступить в масонскую организацию еще в Москве. Из воспоминаний Фета: «Григорьев не раз говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу и возможности получить с этой стороны денежные субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский с раздражением воскликнул: «Григорьев! подавайте мне руку, хватая меня за кисть руки сколько хотите, но я ни за что

не поверю, чтобы вы были масоном» (масонское рукопожатие — как бы щупать пульс товарища. — *Б.Е.*). (...) Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург».

А в самом деле, откуда у совершенно безденежного Григорьева могли появиться средства на билет в Петербург и хоть какая-то сумма на первое время столичной жизни? Правда, в «Листках...» он сообщал, что перед его отъездом Фет вместе с еще одним товарищем, Хмельницким, «рассматривали мои вещи, думая, как бы повыгоднее заложить их». А Я.П. Полонский писал Н.М. Орлову (конец февраля — начало марта 1844 года): «...заложил все свои вещи за 200 рублей...» Но какие у полностью зависимого от родителей сына могли быть ценные вещи?! Так что «временное вспомоществование» вполне вероятно.

Московские контакты Григорьева с масонами подтверждаются его письмом к Погодину, которое уже цитировалось выше (оно не датировано, относится к последним месяцам московской жизни автора). Напомним, что Григорьев посылает Погодину второй акт драмы и спрашивает: «Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве?»

А петербургские масонские связи нашего путешественника вообще несомненны. Прежде всего отметим переведенные им масонские гимны. В 1846 году в Петербурге вышли в свет «Стихотворения Аполлона Григорьева» (уж не на масонские ли деньги?!), где первый раздел книги имеет общее заглавие «Гимны» и включает 15 стихотворений с общей датой «1845». Это, действительно, гимны Богу, духовности, дружбе, вечной жизни верующих людей:

Руку, братья, в час великий!
В общий клик сольемте клики
И, свободны бренных уз,
Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буди вечен наш союз!

Еще в 1916 году известный исследователь творчества Григорьева В.Н. Княжнин предположил, что по аналогии с масонскими сборниками стихотворений эти гимны предназначены для исполнения в ложах, при совершении обрядов, а в 1957 года ленинградский литературовед Б.Я. Бухштаб в немецком масонском сборнике «Полное собрание песен для масонов» (Берлин, 1813) обнаружил 11 стихотворений, которые Григорьев точно перевел — с некоторыми, впрочем, заменами: слово «масоны» он вообще исключал либо заменял «братьями» явно по цензурным соображениям. Из оставшихся четырех гимнов три

явно масонские и переводные, просто мы не знаем того источника, откуда они взяты, а четвертый — перевод одного масонского стихотворения Гёте.

Созданы ли григорьевские гимны по заданию какой-либо масонской ложи или они — самостоятельный, добровольный вклад автора — неизвестно.

Много масонского материала и в художественной прозе Григорьева. В повестях «Один из многих» (1846) и «Второй из многих» (1847), довольно автобиографических, оба главных героя — Званинцев и Имеретинов — воспитанники масонов и сами масоны. Вторая повесть создавалась уже по возвращении Григорьева в Москву, она как бы подводила черту под первым петербургским периодом Григорьева и под его масонскими увлечениями, тем более что у него были все основания глубоко разочароваться в главном масонском знакомом, возможно, именно в том, кто и был посредником, агитатором, введшим неофита в масонскую ложу.

Масонские идеалы и деяния их вождей были благородны и светлы: утверждать всеобщую гармонию человечества и высокие нравственные принципы, развивать духовные начала в человеке, просвещать массы, способствовать полной отдаче своей жизни служению людям. Но как часто бывает на свете, к альтруистическим и основанным на доверии коллективам, тем более законспирированным, могут прилипать личности циничные и корыстные, обрадованные возможностями бесконтрольно обманывать и наживаться. Таковым, видимо, был прототип Имеретинова Константин Соломонович Милановский, сведения о котором по крохам собирают исследователи жизни и творчества Григорьева, начиная с первого издателя собрания его писем в 1917 году В.Н. Княжнина и кончая — пока — автором этих строк.

Милановский — сокурсник Фета в 1838—1840 годах на философском факультете Московского университета. Но в конце второго курса он сдал лишь один экзамен и потом исчез — на этом, наверное, и закончилась его студенческая жизнь. Фет в воспоминаниях рассказал о сокурснике Мариновском (такого реально не было, явно имеется в виду Милановский), «весьма начитанном и слывшим не только за весьма умного человека, но даже за масона»; этот тип запомнился Фету потому, что однажды с наглым обманом пообедал за его счет. Наверное, в это время с Милановским познакомился и Григорьев. Потом «масон» оказался в Петербурге, вошел в кружок В.Г. Белинского, довольно быстро был там разоблачен как проходимец. Белинский писал В.П. Боткину 9 декабря 1842 года: «Г-н М. дал мне хороший урок — он гаже и плюгавее, чем о нем думает К». К. — это Кавелин, оставивший в воспоминаниях колоритный очерк

о Милановском, который «подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов (...). Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом».

Тот, видимо, продолжал околачиваться в Петербурге, ибо именно там его встретил Григорьев в один из своих многочисленных архикризисных моментов, о чем писал, вспоминая, Погодину в 1859 году: «...некогда, в 1844 году я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского». Безвольный Григорьев, видимо, быстро оказался в руках хитрого и умного «масона», чем тот беззастенчиво пользовался. Журналист И.В. Павлов, хорошо знавший Григорьева тех лет, вспоминал: «А года через два (речь выше шла о 1843 годе. — *Б.Е.*) бедняга попал в умственную кабалу к известному тогда проходимцу Милановскому, выдававшему себя чуть не за Калиостро. К нему относится экспромт Некрасова, напечатанный в альманахе «1 апреля»:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически
И ворует артистически...

И вот на этого-то вора, архижулика, Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем».

Осуждающе о подчинении Григорьева «масону» писал Полонскому Фет 30 июля 1848 года: «Вот что значит ложное направление и слабая воля. Милановского надобно бы как редкость посадить в клетку и сохранить для беспристрастного потомства. Впрочем, он только и мог оседлать такого сумасброда, как Григорьев».

А «оседлал» Милановский Григорьева не только «умственно», как писал Павлов, но и материально. Григорьев сообщал отцу 23 июля 1846 года: «Связь моя с Милановским действительно слишком много повредила мне в материальном отношении, но вовсе уже не была же так чудовищна, как благовестит об этом Москва (...). Тяжело мне расплачиваться за эту связь только материально, ибо (...) я взял на себя (давно еще) долг этого мерзавца». Так что в середине 1846 года он уже и сам раскусил проходимца.

В повести «Другой из многих» он расставался со своими заблуждениями и отталкивал искусителя. В конце повести Иван Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно соблазненный Имеретиновым (в первом герое заметны черты автора), убивает на дуэли своего соблазнителя. Так Григорьев косвенно расправлялся и с «этим мерзавцем», и со своим прошлым.

Если о масонских пристанищах Григорьева в Петербурге можно только гадать, то совершенно точно известно, что с осени 1845 года он жил у В.С. Межевича, давшего ему приют не только домашний, но и журнальный. В письме к Погодину от 9 октября 1845 года Григорьев сообщает свой адрес: «...близ Большого театра в доме Гюбеня в редакции «Полицейской газеты» в квартире редактора». Этот дом, правда, надстроенный в XX веке еще на один этаж, сохранился; тогдашний его адрес — Никольская, 5; нынешний — ул. Глинки, 6. Рядом, на месте современного здания Консерватории, находился главный театр Петербурга — Большой (Мариинки тогда и в помине не было). На службу Григорьеву тоже недалеко было ходить: Управа благочиния располагалась совсем близко, на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта; в сильно перестроенном и надстроенном виде это большой административный дом № 55—57 по Садовой. Сенат — чуть подальше, у Медного всадника.

Василий Степанович Межевич, родившийся то ли в 1814-м, то ли в 1812 году, был отдаленный потомок польских шляхтичей, второстепенный поэт и литературный критик, москвич, приглашенный А.А. Краевским в обновленный журнал «Отечественные записки» и потому переехавший в 1839 году в Петербург. Но вскоре Краевский предпочел куда более талантливого Белинского и отстранил Межевича от литературной критики, чем его, конечно, смертельно обидел. Межевич тогда перебрался в булгаринскую «Северную пчелу» и, видимо, тем самым стал для властей благонамеренным: он смог получить место редактора вновь открытой газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», которую сделал довольно интересной, помещая там очерки и рецензии культурной жизни столицы, особенно театральной жизни. С 1843 года он еще возглавил театральный журнал «Репертуар и пантеон». Поэтому привлечение Григорьева (может быть, они еще по Москве были знакомы?) было очень полезно для последнего: он уже с июня 1844-го стал печататься в «Репертуаре и пантеоне», известно и его участие в «Полицейской газете» (так она именовалась в обиходе). Мы можем гадать и о помощи Межевича при устройстве Григорьева в полицейскую Управу благочиния и при издании сборника стихотворений.

В 1845—1846 годах Григорьев стал ведущей фигурой в журнале «Репертуар и пантеон», чуть ли не фактическим редактором; по крайней мере он обильно заполнял страницы журнала своими художественными произведениями, очерками, театральной критикой.

А Межевич вскоре очень плохо кончит. Возможно, что уже в середине сороковых годов он стал злоупотреблять алкоголем, с 1847 года он уже не был редактором «Репертуара и пантеона» (вытеснили коллеги?), а потом несчастья посыпались одно за другим: тяжело заболела жена, помощница и опора, нужны были большие деньги на лечение, Межевич дошел до каких-то нечистоплотных махинаций, до растраты казенных сумм «Полицейской газеты», оказался под судом, после смерти жены еще сильнее запил; кончина его в 1849 году была кошмарной: обобранный какой-то пришлой любовницей, больной, он неожиданно и таинственно скончался, то ли умер от схваченной холеры, то ли покончил с собой. Но это уже будет два года спустя после возврата Григорьева в Москву, в середине же сороковых годов Межевич еще браво редактировал журнал и газету и привлек к активному сотрудничеству Григорьева.

РАЗВЯЗКА ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ К АНТОНИНЕ КОРШ

Брезгливо отталкиваясь от чиновничьей службы, находясь в сложных взаимоотношениях с масонами, получив вдруг прекрасную возможность почти неограниченно печатать свои произведения, Григорьев продолжал жить интенсивной духовной и душевной жизнью с незаживающей раной неразделенной любви к Антонине Корш. Со свойственными его характеру привычками он не только не пытался заглушить пожар чувств, но еще и постоянно растравлял раны. Одним из главных способов (может быть, бессознательных) такого растравливания стало художественное и художественно-критическое творчество, причем во всех жанрах: в стихах, прозе, драме, очерке, театральной и литературной критике. И во всех этих произведениях прямо или косвенно отражена драматическая любовь автора.

Больше всего ее, естественно, в лирике. Почти все московские стихотворения Григорьева были посвящены этой истории, то же можно сказать о последующих петербургских. Начинал поэт с гармони́чных, светлых образов, и лишь обертонами звучали какие-то странные, совсем не гармоничные мотивы. Например, стихотворение «Обаяние» (1843) как будто бы — вариант на тему «Доброй ночи»:

> Когда из-под темной ресницы
> Лазурное око сияет,
> Мне тайная сила зеницы
> Невольно и сладко смыкает.

Тайная сила любимой навевает ему сладкий сон: морской простор, волны, заветная жизнь... Все хорошо бы, если бы не странное начало:

Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.

Здесь, как и в некоторых других ранних стихотворениях Григорьева, встречаются грамматические неточности; например, вряд ли удачно сочетание: сила обаяния на меня. Но одна неточность, возможно, сознательная: каково подчинение слов в первой строке? Страданье безумного счастья или безумное счастье страданья? Неясно. Но неясность, видимо, умышленная, Григорьев так тесно сливает счастье и страданье, что безразлично, счастье страданья или страдание счастья.

Один из первых в русской и мировой литературе, Григорьев заговорил о важности страдания для человека, о его положительном качестве. Уже писалось нашими учеными (Б.О. Костелянец), что страдание для Григорьева — чрезвычайно сложное и емкое понятие: это и боль, и болезнь, и интенсивность, и этическая высокость — видение страданий других, и вообще признак настоящих человеческих чувств в противовес бездушию, тупому безразличию, серенькому бесстрастному существованию. Такое понимание становилось типичным для русских писателей XIX века, особенно поэтов. У Пушкина:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

У Тютчева:

О Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей...

У Некрасова:

Но мне избыток слез и жгучего страданья
Отрадней мертвой пустоты...

Не все поэты и писатели принимали страдание с положительным знаком. Например, Хомяков решительно отказывался от такой трактовки. А проповедник гармонических идеалов Белинский изумился и возмутился, прочитав григорьевское стихотворение «Обаяние»: «Безумное счастье страданья» — вещь возможная, но это не нормальное состояние человека, а романтическая искаженность чувств и смысла. Есть счастие от счастия, но счастие от страдания — воля ваша — от него надо лечиться — классицизмом здравого смысла, полезной деятельностью...» Но такие литераторы, как Григорьев, специально акцентировали значительность страдания для мыслящего и чувствующего человека. Однако не все просто в его творчестве. Очень ценная для лирического героя Григорьева категория оказывается совсем не связанной с героиней; в гармонии, реальной или потенциальной, возникает трещина. Собственно говоря, героиня-то остается гармоничной, но сетование героя создает оттенок разлада.

Однако стали появляться и стихотворения, в которых уже сама героиня теряет прежнюю уравновешенность покоя. Таков, например, «Волшебный круг» (1843). Начало его:

Тебя таинственная сила
Огнем и светом очертила,
Дитя мое.
И все, что грустно иль преступно,
Черты боясь недоступной,
Бежит ее.

Как будто бы и это вариант «Доброй ночи!» — темные силы, лихорадки-лихоманки не проникнут к любимой, но дальше, особенно в заключительной строфе, происходит нечто странное:

Когда же огненного круга
Коснется веянье недуга, —
Сливаясь с ним
И совершая очищенья,
К тебе несет оно куренья
И мирры дым.

Очищаться от недуга труднее, чем не допускать его, но героиня втягивается постепенно в круг недугов и страданья. Поэту, конечно, очень хотелось, чтобы его возлюбленная тоже прониклась страстями, чтобы она приблизилась по душевному состоянию к «нему», к герою. Так возникла идеальная тема «кометы», одна из самых заветных и дорогих для Григорьева. Как писал он в повести «Один из многих»: «В Москве и Петербурге есть барышни, в Москве есть барыни, в Петербурге есть чиновницы: но ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин, не родятся женщины — почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, она — беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Центральное и лучшее стихотворение на эту тему так и называется — «Комета» (1843). Автор привез ее в рукописи в Петербург и опубликовал в «Репертуаре и пантеоне» в 1844 году.

...Она
Из лона отчего, из родника творенья
В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.

И знаменитое пушкинское стихотворение «Портрет» с образом «беззаконной кометы в кругу расчисленном светил», и, несомненно, следующая за предшественником григорьевская «Комета» невольно ассоциируются с *женским* характером: такова властная сила грамматического рода. Не следует забывать,

что как будто бы чисто формальные грамматические категории: род, число, наклонение, вид — могут в художественной литературе быть весьма содержательными (например, когда Гейне в известном стихотворении о сосне и пальме пожелал северного хвойного партнера сделать «мужчиной» в противовес женской «die Palme», то ему пришлось подбирать образ, грамматически принадлежащий к мужскому роду, пришлось создать сложное слово «ein Fichtenbaum», «сосновое дерево», так как «сосна» по-немецки — тоже женского рода и лишь «дерево» мужского; как известно, различные русские переводчики тоже содержательно отнеслись к роду: или отказывались, подобно Лермонтову, от мужской-женской оппозиции, или придумывали мужские аналоги — кедр, дуб). Позднее Григорьев придумает «мужской» аналог кометы и будет широко использовать его — «метеор».

Григорьеву страстно хотелось, чтобы его любимая порвала холодные путы светских приличий, отдалась сдерживаемым, как ему казалось, чувствам, тоже стала бы «кометой». Но реально-то Антонина Корш совершенно не годилась для роли эксцентричной героини. Григорьев не мог не понимать этого, и стихотворение превращалось фактически в утопию, в идеальное пожелание: ах, как бы было хорошо, если бы она стала кометой!

В то же время кометность у Григорьева явно шире женского образа, она приобретает общечеловеческие черты и даже скорее становится принадлежностью лирического героя, мужским началом, как это видно по стихотворениям «Волшебный круг» и «Над тобою мне тайная сила дана...», написанным поэтом вслед за «Кометой» («Комета» — в июне 1843 года, а они — в июле и августе). В этих стихотворениях беззаконной кометой, «падучей» звездой является *он*, герой, а *она* — существо пассивное, «дитя», которое, впрочем, тоже втягивается в стихийный мир страстей. Эта тема «втягивания» и «заражения» героини будет варьироваться во многих последующих стихотворениях Григорьева: «К Лавинии» (три разных произведения с одним названием), «Женщина», «Две судьбы», «Песня духа над хризалидой» (1843—1845), в поэме «Видения» (1846), в прозе тех лет.

Тема кометы, страстной и хаотичной стихии, — не просто личная слабость поэта, отражающая его склонности, органические черты его характера. В этой теме заложены глубинные процессы, свойственные России или даже более широко — всему европейскому миру XIX — начала XX века: в механистичном, все сильнее стандартизирующемся мире живые силы не могли не бунтовать, не выражать хотя бы анархического протеста против всеобщей униформы. Чуткая литература тоже не

могла не отобразить этой тенденции: григорьевские «кометы» расположены на магистральном пути от немногочисленных пушкинских персонажей и лермонтовских Демона, Арбенина, Печорина — к героям Достоевского, к цыганской теме в русской литературе второй половины XIX века, к эксцентрическим образам Лескова, к лирике Блока.

В рамках же григорьевской поэзии тема кометы включается в более общую, традиционную романтическую тему о страданиях глубокого по уму и чувствам человека, не понятого обществом. Еще хуже, когда он не понят *ею*, избранницей сердца. Григорьев преодолевал последний вариант утопическими мечтами, зашаманиванием себя картинками «заражения» героини романтическими недугами. Ему так хотелось сблизить «его» и «ее». И здесь во всю ширь возникала проблема равенства, чуть ли не главная проблема всей жизни нашего автора, и как творца, и как человека. Равенства не в абстрактном смысле, в духе триединой формулы Великой французской революции о свободе, равенстве и братстве. Конечно, Григорьев был за свободу всех людей, особенно — крепостных крестьян, за всеобщее равенство, всеобщее братство. Но его больше волновало равенство-неравенство конкретных людей вокруг его собственной личности.

Подспудно он страдал комплексом если и не неполноценности, то социальной ущемленности. Мещанин в семье отца-дворянина, не студент, а лишь только «слушатель» в университете, потом хроническая бедность — эти факторы отнюдь не способствовали формированию свободно чувствующей себя личности, а наоборот, сжимали душу, сковывали поведение. Любовные неудачи лишь усиливали неприятные комплексы.

Видимо, Григорьев постоянно был занят этой проблемой применительно к своей особе: не оказывается ли он «ниже» того или иного знакомого? Если не в социальном, то в образовательном, творческом, волевом и т. д. смыслах. Читатель, возможно, помнит, что, описывая в дневниковых «Листках из рукописи скитающегося софиста» драматическое прощание с Фетом перед расставанием, Григорьев не преминул заметить: «Мы квиты — мы равны». Почему нужно «квитаться» для равенства? Значит, было раньше ощущение неравенства? И в чем оно? В скрытности Фета при откровенности друга? В одностороннем «спасении» Фета «для жизни и искусства» — а теперь, дескать, и тот спас Григорьева? Неясно. Ясно только, что последний все время об этом думал.

Еще колоритный пример. Григорьев пишет из Петербурга отцу исповедь (23 июля 1846 года), где между прочим вспоминает: «Мне не забыть одной, по-видимому, мелочной сцены: ко

мне пришел Кавелин, человек, с которым я хотел быть по крайней мере — *равным*; мы сошли с ним в залу. Вы вышли и стали *благодарить* его за знакомство со мною. О Господи! верите ли Вы, что и теперь даже, при воспоминании об этом мне делается тяжело». По крайней мере равным! Еще лучше — примировать, как выражался сам Григорьев. И его любимые герои в прозе, драме, поэзии постоянно заняты этой проблемой. В том числе и в любовной лирике:

Я верю, мы равны...
(«К Лелии», 1845)

...Не скучно ль нам обоим
Теперь равно...
(«К Лавинии», 1843)

...осуждены
Они равно...
(«Две судьбы», 1844)

..в нас равно́ страданье гордо.
... ...
Но память прошлого с собою
Нести равно осуждены...
(«Прости», 1844)

И героиня драмы «Два эгоизма» (1845) Донская в тяжелый момент подведения итогов жизни рассуждает:

Любила я... мне равное любила,
Не низшее иль высшее меня...

В мужских персонажах художественной прозы Григорьева эта тема развита еще подробнее, сплетаясь с амбициозной гордостью униженного. В повести «Один из многих» во второй ее части («Антоша») излагается судьба Антоши Позвонцева, вытащенного Званинцевым с петербургского «дна», спасенного и приголубленного. Однако Антоша глубоко страдает от благодеяния: «...он спас его — и они неравны», глубоко страдает от духовно-нравственного неравенства людей вообще: «...почему я осужден встречать в жизни только высших или низших, а никогда равных?». Он не видит смысла в такой жизни: «Ибо что такое теперь, в самом деле, вся жизнь его? Неконченная драма, остановившаяся на четвертом акте... Все развитие совершено, оставалось пережить только катастрофу, а ее-то и не было». Антоша решает сам создать развязку своей драмы, пишет прощальное письмо Званинцеву («...не имея силы быть в любви властелином, я не хочу быть рабом») и кончает жизнь самоубийством.

В «Эпизоде третьем» есть еще один своеобразный поворот этой темы, также, видимо, имеющий автобиографическую подкладку, так как здесь описываются страдания юноши Севского из-за деспотической и страстной любви к нему его матери. Автор так обобщает душевное состояние Севского: «Есть что-то глубоко унизительное для человека в принужденном участии, есть что-то страшно тяжелое в вынужденном великодушии людей близких к ним, есть, наконец, что-то отравляющее всякую радость в жертве, которую делают для человека люди слабее, ниже его». Отсюда всего один шаг остается до известного экзистенциалистского афоризма Ролана Барта: «Неблагодарность — это вынужденное проявление свободы». Да фактически Григорьев и сделал уже этот шаг, заявив устами Севского другому непрошеному благодетелю, Званинцеву: «Да, я знаю, что унизился до того, чтобы быть вам обязанным».

Три месяца спустя после появления в печати процитированных строк Григорьева была опубликована обзорная статья Вал. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 году», где критик, анализируя «Бедных людей» Достоевского, истолковал жестокие посылки Варенькой Макара Девушкина в магазины со «вздорными поручениями» (жестокие потому, что Макар должен покупать разные мелочи для свадьбы Вареньки с господином Быковым) именно как своеобразную месть, как «неблагодарность» освобожденного от унизительной опеки: «...едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который — сохрани Боже! — еще нас любит! Кто потрудится пошевелить свои воспоминания, тот наверное вспомнит, что величайшую антипатию чувствовал он никак не к врагам, а к тем лицам, которые были ему преданы до самоотвержения, но которым он не мог платить тем же в глубине души».

Не исключено, что на эту мысль Майкова натолкнули не только «Бедные люди», но и главы повести Григорьева «Один из многих». По крайней мере, эти черты как бы уже сгущались в идейном воздухе эпохи.

В своей многолетней любви к Антонине Корш Григорьев вначале стремился «примировать». В автобиографической повести «Мое знакомство с Виталиным» (1845) герой с героиней прогуливались по саду при луне и увидели на стене свои тени: «Моя тень выше вашей, — заметил я ей». Но «примирование», как известно, не получилось, тогда лирический герой пытался приобщить героиню к страстям и страданиям, уповая видеть ее равной себе. Однако если в поэзии такое приобщение иногда получалось, то в жизни попытки Григорьева были тщетными. После защиты диссертации соперником Кавелиным он переметнулся в Петербург. Любопытно, что и там, казалось бы, в совершенно безнадежном, безответном состоянии он все же

продолжал сочинять и печатать стихи и прозу о возможном равенстве.

Пожалуй, окончательную точку поставила несколько затянувшаяся по сроку свадьба Кавелина и Антонины Корш (20 августа 1845 года). Тут уж не оставалось никакой надежды. Спрашивается, неужели до этого известия надежда существовала? Трудно сказать, но что-то, видимо, теплилось в душе отвергнутого Аполлона. Поэма «Олимпий Радин», опубликованная в майском номере «Репертуара и пантеона» за 1845 год, имела прозрачное посвящение «А.Ф.К.»; первоначальный рукописный вариант драмы «Два эгоизма» тоже был посвящен «А.Ф.К.»; а публикации «Олимпия Радина» в сборнике «Стихотворений» 1846 года и «Двух эгоизмов» в «Репертуаре и пантеоне» за декабрь 1845 года уже были без посвящений. Очевидно, 20 августа стало границей. Считаю, что одно из самых страдательных стихотворений Григорьева той поры, «Молитва», создавалось именно при получении известия о замужестве любимой:

О Боже, о Боже, хоть луч Благодати твоей,
Хоть искрой любви освети мою душу больную;
Как в бездне заглохшей, на дне все волнуется в ней,
Остатки мучительных, жадных, палящих страстей...
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!..

А драма «Два эгоизма» аллегорически как бы подводит черту под тяжелой жизненной историей любви Григорьева и под всеми мечтательными романтическими ее воплощениями в его художественном творчестве. Фактически любовный сюжет драмы — это развертка эпиграфа, начала известного лермонтовского стихотворения (вольного перевода из гейневской «Книги песен»):

Они любили друг друга так долго и нежно
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Григорьев, опираясь на творчество Гейне и Лермонтова, искренне считал, что в его время особенно заметна любовь-вражда. Во второй половине 1845 года он регулярно вел в «Репертуаре и пантеоне» рубрику «Русская драма и русская сцена» и в двух последних за тот год номерах журнала поместил свои рассуждения о любви как драматическом элементе; курсивом он выделил свою обобщающую формулу: «последний в наше время фазис любви — *любовь как борьба эгоизмов, любовь-вражда*».

Эта формула и воплощена в упомянутой драме «Два эгоизма». Мало того, что драматург делает и героиню мучительно и

страстно любящей героя, он ее еще представляет эгоисткой и уравнивает с героем Ставуниным, больным *эгоистом*! А финал драмы несравненно более решительный в поведенческом смысле, чем у Гейне и у Лермонтова: Ставунин решает ускорить развязку, не дожидаясь естественной кончины; он является к Донской, подсыпает ей яду в питье и затем идет сам кончать жизнь самоубийством. Тоже своего рода уравнивание в смерти.

В.Г. Белинский в обзорной статье «Русская литература в 1845 году» сурово оценил драму как «довольно бледное отражение довольно бледной драмы Лермонтова «Маскарад». Критик, конечно, не знал автобиографических обертонов, витавших над Григорьевым, и совсем не заметил сгущения эгоистических красок в образе героини, делающих ее совсем не похожей на лермонтовскую Нину.

В таком искусственном притягивании женских типов к эгоизму можно усмотреть оттенок мести, нерыцарственного отношения к слабому полу; да, в безумных страстях-страданиях Григорьев доходил до таких неблагородных сфер; позднее, как увидим, при не менее драматической любви к Л.Я. Визард, он, наоборот, нравственно возвысится над своим «средним» уровнем.

Художественное творчество давало возможность переиначивать жизненные сюжеты, досказывать то, что не могло проявиться в реальности. Наверное, в действительности Григорьев никогда не раскрывал Кавелину своего душевного отношения к нему, замешанного на зависти, ревности, неприязни. А в повести «Мое знакомство с Виталиным», где совершенно прозрачно зашифрованы прототипы (Виталин — это сам автор, Антония — Антонина, Валдайский — Кавелин), Григорьев мог прямо писать о возникающей ненависти. Да и выбор фамилии соперника тоже значим. Как имя Лавинии содержит целый веер звуковых-смысловых ореолов, так и фамилия Валдайского. Ведь довольно редкое сочетание «лда» напоминает не только милую Валдайскую возвышенность и «колокольчик, дар Валдая», но и такие грубые слова, как балда, дылда, кувалда. Достаточно произвести легкий фонетический сдвиг в начальном звуке фамилии, чтобы получить «Балдайский». Иногда Григорьев еще более грубо зашифровывал недругов. В его студенческий кружок входил правовед Н.К. Калайдович, переехавший потом в Петербург и ставший исправным чиновником; «рабское» перерождение товарища очень не понравилось Григорьеву, и он вывел его в драме «Два эгоизма» сатирическим персонажем под фамилией Кобылович.

Но в отношении художественной свободы особенно любо-

пытны романтические переакцентировки, которые делал Григорьев при создании женских характеров. Еще до эгоистического «фазиса» они были наделены у него крайне болезненными чертами. Насколько мне известно, женщины из семьи Коршей, в их числе и Антонина Федоровна, были нормальными, здоровыми, совсем не отягощенными болезнями. Антонина любила поговорить о смерти, о страхе перед нею, но это скорее плод романтических чтений и бесед с Аполлоном, чем отражение реального физиологического состояния. А у Григорьева-поэта и прозаика все его героини — болезненные персонажи. Конечно, главным побудителем у него тоже было романтическое чтение, влияние литературных властителей дум; как сам он заметил в пьесе «Отец и сын» (1845), Гейне «болезненность нам в моду ввел».

И у Григорьева примеров такого рода сколько угодно. В стихах:

> ... веяние недуга...
> *(«Волшебный круг», 1843)*

> Румянец грешный и больной...
> *(«Две судьбы», 1844)*

> ... Всегда больна,
> Всегда таинственно-странна...
> *(«Олимпий Радин», 1845)*

> Ребенок бледный, грустный и больной...
> *(«Видения», 1846)*

В драме «Два эгоизма»:

> ... ее болезненно-прозрачные черты...

То же и в прозе. Галерея женских типов первой повести из трилогии о Виталине, «Человек будущего», снабжена повторяющимися чертами экзальтированности и болезненности: Наталья Склонская — «бедное больное дитя»; щеки другой героини, Ольги, «горели болезненным румянцем», третья женщина, без имени, «с долгим болезненным взглядом, с нервическою, но вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь». А в третьей повести, в «Офелии», Виталин уже обобщенно резюмирует: можно влюбиться лишь в такую женщину, которая отличается «болезнью и страданием». Страдание от физических болезней (пусть пока еще не нравственно-психологических!) уже как бы приобщало героиню, делало ее «своей» по духу.

Через несколько месяцев после опубликования григорьевской трилогии о Виталине известный критик Вал. Майков писал свою статью об А.В. Кольцове (напечатана в ноябре 1846 года), где иронизировал по поводу романтического идеала жен-

щины, как будто прямо имея в виду повесть Григорьева: «Отчего, например, романтики — люди по большей части весьма полные и здоровые — так гнушаются в поэзии того, что можно назвать здоровьем? 〈...〉

> Лицо белое —
> Заря алая,
> Щеки полные,
> Глаза темные...

Один этот портрет красавицы может уже привести в негодование романтика, не признающего других женщин, кроме чахоточных, бледных, изнуренных больными грезами...»

Однако Майков, ратуя, в свете своего утопического идеала, за гармоничного, здорового, волевого, оптимистического человека, оказывался романтиком «навыворот», ибо его идеал конструировался теоретически, имея опору лишь в народных идеалах красоты, но не в исторических условиях сороковых годов. В этом отношении болезненные, нервические героини Григорьева были, пожалуй, ближе к жизни, конечно же не крестьянской, а столичной, дворянской, по крайней мере — интеллигентской, пусть конкретно Антонина Корш как прототип и не очень-то подходила к такому характеру.

В самом деле, если застойная приземленность русской (да и европейской) жизни середины сороковых годов влекла мужчин запоздало романтической ориентации к печоринству, к масонским утопиям, к бродяжничеству, к загулам, то ведь и женщины могли поддаваться любым влияниям, противостоящим пошлому бездуховному быту, — например, жоржсандизму с его романтической экзальтацией, доходящей до болезненности. Диапазон здесь был очень велик: от умеренного романтизма А.Я. Панаевой до трагической любовной экзальтации Н.А. Герцен, приведшей ее к смерти. Григорьев, несомненно, опирался и на реальные жизненные черты, но так как страстный, страдающий, болезненный характер женщины являлся его эстетическим и этическим идеалом, то он чуть ли не все женские образы своих произведений того времени наделил подобными чертами. Он считал, что такие характеры — порождение XIX столетия; в рецензии на байроновского «Дон Жуана» (1847) он отмечает новые черты одноименной пушкинской драмы по сравнению с образом испанского гранда у предшествовавших писателей: в воспоминаниях пушкинского Дон Гуана о слабом и нежном голосе Инесы, считает критик, «так и слышен 19-й век с его особенной любовью к слабым — извините за выражение — хрупким существам, к этим нервическим природам, которые способны задохнуться от поцелуя ...».

Как видно, в женских персонажах у Григорьева не было большого разнообразия. Конечно, эпизодически у него мелькали, по романтическому контрасту, пошлые, бездуховные образы, противостоящие его идеалам, а те варьировали очень узкий круг характеров: болезненная девушка, «комета», страстная натура, доводящая свои чувства до эгоистической любви-вражды.

Мужских характеров у него больше. В значительной мере это связано с их автобиографичностью, а натура Григорьева, тем более натура становящейся, формирующейся личности была весьма мозаичной, и отражение каких-то сторон этой мозаики в отдельных персонажах лишь сильнее подтверждает такую калейдоскопичность.

После философских штудий студенческой поры Григорьев увлекся христианским социализмом Жорж Санд, живо пропагандировавшимся ею в художественных образах романов «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт». Герой этих романов граф Альберт Рудольштадт, масон и мистик, создает орден «Невидимые», целью которого является организация человеческого общежития на лозунгах Великой французской революции (свобода, равенство, братство), на началах правды и христианской любви. Псевдоним графа Альберта «Трисмегист», восходящий к легендарному мистику III века Гермесу Трисмегисту («Трисмегист» по-гречески означает «трижды великий»), использовал для своего псевдонима и Григорьев, он еще в «Москвитянине» начал подписывать свои произведения «А. Трисмегистов», продолжал это делать и в Петербурге.

Григорьев и сам пытался создавать довольно утопические образы в своих повестях. Первая часть трилогии о Виталине называется «Человек будущего» (1845). По справедливому предположению Ю.М. Лотмана в этом названии возникает ассоциация с автохарактеристикой знаменитого Маркиза Позы из трагедии Шиллера «Дон Карлос»: «Я — гражданин грядущего столетья»; во французском переводе тех лет фраза звучала еще ближе к григорьевской: «Я — гражданин будущего».

От жоржсандизма был прямой путь к масонству. Любивший широкомасштабные проекты, Григорьев, конечно, увлекся «наполеоновскими» идеями масонов о всеобщем переустройстве мира, тем более что ему, видно, встретились и реальные характеры с «наполеоновскими» чертами: ведь в подпольных организациях России, от декабристов до большевиков, можно найти своих наполеонов (то же, разумеется, имело место и в заграничных кругах). Волевой полковник Скарлатов, воспитатель Званинцева (оба они масоны из повести «Один из многих»), проповедовал культ Наполеона. Григорьев с его подспудной жаждой «примировать», первенствовать не мог не увлечься наполеонизмом. Однако постепенно наш мыслитель начинал разочаровываться и в масонстве, и в наполеонизме, и в эгоистических личностях, христианские идеалы стали вытеснять прежние «наваждения».

Третья часть трилогии повестей о Виталине, «Офелия», отстоявшая от первой в печатном воплощении, да, наверное, и в рукописном, всего на семь месяцев, а от второй — на пять (январь 1846-го, а те — июнь и август 1845 года), содержит значительно больше яда и иронии по отношению к эгоцентризму и циничности героев, чем первые две повести. «Теория женщины» повествователя «Офелии» под стать аналогичным разоблачениям утрированного романтического эгоизма в философско-художественном труде знаменитого датчанина С. Кьеркегора «Или — или» (1843), труде, который Григорьев, конечно, не знал, но тем закономернее, в смысле воздействия духа времени, совпадение. В «Офелии»: «Женщина — те же мы сами, наше *я*, но отделившееся для того, чтобы наше *я* могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени...»; в «Или — или»: «Моя Корделия! Ты знаешь, что я люблю говорить с самим собой. В себе я нашел личность самую интересную из всех знакомых мне. Иногда я боялся, что у меня может иссякнуть материал для этих разговоров, теперь я не боюсь, теперь у меня есть Ты. Теперь и всю вечность я буду говорить с самим собой о Тебе, о самом интересном предмете с самым интересным человеком, ведь я — самый интересный человек, а Ты — самый интересный предмет».

Та же эволюция произошла и с фурьеризмом. Наверное, еще в московский период Григорьев штудировал сочинения великого утопического социалиста Шарля Фурье, особенно главный его труд «Новый мир». Конечно, «колхозные» идеи Фурье о коллективном быте людей в фаланстерах на 2000 человек, как и бредовые идеи космогонического плана, вряд ли увлекли юношу, но некоторые мысли фантазера запали в его душу, и исследователи его творчества справедливо находят, например, в «Комете» отголоски фурьеристских представлений (преувеличивать не надо; по Фурье, кометы в свое время перейдут в гармонический круг планет, у Григорьева же и намека на это нет, так что можно говорить лишь о каких-то первоначальных творческих «толчках», поданных «Новым миром»). Будучи в Петербурге, Григорьев несколько раз в 1846 году посетил заседания кружка М.В. Петрашевского, где Фурье пользовался большой популярностью, но это был взгляд со стороны. Еще до посещений кружка наш Аполлон в драме «Два эгоизма» вывел явно коми-

ческий образ Петушевского (весьма прозрачный псевдоним!), пропагандирующего фурьеризм.

Любопытно, что в драме «Два эгоизма», тесно связанной с душевными несчастиями автора и с его идеальными представлениями, выведена также целая галерея сатирических персонажей, что свидетельствует о желании или расстаться с прежними кумирами (гегельянство в образе Мертвилова, фурьеризм), или с ходу не принять какое-то явление (характерно, однако, что нигде сатирически не затронут жоржсандизм — он оставался святым!). Странной и даже загадочной оказывается очень резкая критика возникающего славянофильства. В Дворянском собрании появляется Баскаков (явный намек на К. Аксакова) и шаржированно излагает славянофильские взгляды на семью:

Семья — славянское начало
... ...
Различие полов — славяне лишь одни
Уразуметь могли так тонко и глубоко...
У них одних, от самой старины,
Поставлена разумно и высоко
Идея мужа и жены...
... ...
Муж может бить ее, но убивать не смеет...

Еще более резко Григорьев говорит на эту тему в поэме «Олимпий Радин»:

... Русский быт
Увы! совсем не так глядит, —
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного...
... ...
О, верьте мне: невесела
Картина — русская семья...
Семья для нас всегда была
Лихая мачеха, не мать...

Эти резкие пассажи можно объяснить неутихающим раздражением автора против деспотизма его собственных любящих сына родителей, но их смысл, наверное, лежит глубже. Возможно, тут всплывал пресловутый «принцип корзиночки»: от своей семейной жизни с родителями остались тяжкие воспоминания, собственной семьи не получалось, любимая стала создавать семью с ненавистным соперником; все семьи вокруг — чужие, своей — нет, и когда в этих обстоятельствах кто-то начинает воспевать тихую, радостную гармонию семейной жизни, то хочется браниться и отталкиваться, доказывать, что ничего подобного быть не может. Это лишь предположение, документов у

нас нет, но предположение очень правдоподобное: ведь стихийный протестант так и не сможет создать нормальную семью, его попытки заканчивались горькими неудачами.

Гегельянец, фурьерист, славянофил — фигуры одномерные, автор без колебаний смеется над ними. Значительно более сложным оказывается его отношение к образам масонов. Они, как правило, не только люди глубокой духовности и широкие натуры, но еще и большие эгоисты с примесью наполеонизма. Как говорит герой повести «Один из многих» Званинцев, «... на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу (...) для меня нет границ...».

И Григорьева завораживали такие «наполеоны», как его заворожил и реальный проходимец Милановский. Запутанную двойственность Званинцева автор открыто декларировал: «Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность. Да и что такое искренность? Разве можно быть искренним даже с самим собою, разве можно знать себя?»

Если в женских образах у Григорьева господствовала болезненность, то в мужских — двойственность. Автор расширял эту черту до всеобщности, до отражения вообще духа эпохи: «... жизнь Виталина была двойственна, как жизнь каждого из нас». В самом деле, «каждый из нас», то есть русский интеллигент сороковых годов, имел перед собой несколько не соединяющихся между собою сфер, не только не похожих друг на друга, но часто и враждебно противоположных: официально-служебную, клубную, семейную, лично-интимную. Переносясь из одной сферы в контрастную ей, человек существенно меняет воззрения, привычки, весь стиль мышления и поведения. Крайняя степень такого расщепления и переключения оказывается двойничеством: человек начинает ощущать в себе двух разных лиц, чуть ли не физически даже разделенных! Таков хорошо изображенный в литературе путь двойников у Гофмана, Гоголя, Достоевского. Влияние Гофмана на Григорьева вначале было очень велико. Заметим, что название дневниковых очерков «Листки из рукописи скитающегося софиста» наш писатель заимствовал у Гофмана; у того: «Листки из дневника странствующего энтузиаста». Григорьев как личность в какой-то степени «освобождался» от своей двойственности на грани двойничества, воплощая в художественных романтических образах некоторые двойнические черты (или стремления) своей натуры: страстная экзальтация, демонизм, эгоизм и т.п.

Любопытно, что героини Григорьева при всей своей экзальтированности все-таки оказываются более цельными и органичными натурами, чем персонажи мужчины: они не выдерживают именно двойственного существования: жизни «втроем», жизни во лжи, перепутывания добра и зла. Вероятно, это отражало в какой-то степени реальную картину тогдашней жизни: женщина, менее отягощенная с детства социально-политическими условиями, даже сознательно отстраняемая в семье, в пансионе, в институте от «грязи», от быта, оказывалась более естественной и цельной в мыслях, чувствах, поступках, чем мужчина, но зато столкновение с изнанками жизни или с необходимостью лжи и лицемерия (например, лгать мужу или утаивать от него свою любовь к другому) могло ломать и уродовать души, доводить до самоубийства. Гармоничный Пушкин, а за ним и совсем не гармоничный Лермонтов как-то обошли эту проблему, их героини (Татьяна, Вера) справляются с утаиванием. Но писатели сороковых годов (Григорьев здесь стоит в одном ряду с Герценом, Достоевским, Дружининым), видя все более сгущающуюся атмосферу двойничества и обмана, от общегосударственных политических и общественных проблем до интимной жизни человека, показали драматизм и безысходность многих двойнических коллизий.

Постепенно у Григорьева все больше растет неприязнь к двойничеству, лжи, к масонскому типу, особенно в «наполеоновском» варианте. Повесть «Другой из многих», отделенная всего несколькими месяцами от «Одного из многих», содержит совсем иную тональность авторского отношения к масонским героям: в ней больше иронии, яда, наконец, протеста; уже говорилось, что «Другой из многих» заканчивается убийством на дуэли масона Имеретинова, и убивает его почти автобиографический персонаж Иван Чабрин.

На этом фоне Григорьев, видимо, пытался найти более целостные и органичные характеры, но никого другого не нашел, кроме как полюбившийся ему персонаж, переходящий из повести в повесть, — Александра Ивановича Брагу, бывшего военного волонтера, живущего разными утопическими планами, но, главное, — свободного, открытого, леноватого... Брага — какая-то смесь будущих героев Тургенева (Рудин) и Гончарова (Обломов), а фактически он на четыре года опередил тургеневский термин, ставший крылатым после повести «Дневник лишнего человека»; Брага именно этими словами охарактеризовал себя в повести «Один из многих»: «... я не литератор, не служащий, я человек вовсе лишний на свете». Знал ли Тургенев эту повесть, или термин уже висел в воздухе эпохи? Во всяком случае Григорьев впервые его использовал, впервые создал образ лишнего

человека, более симпатичного, чем эгоистичные «наполеоны», и подчеркивающего своими симпатичными чертами недостатки «эгоистов».

К 1845—1846 годам у Григорьева, видимо в тесной связи со всеми его личными неудачами, усиливаются в художественных произведениях, особенно в стихотворных, более общие мотивы яда и протеста. Они возвышаются до социально-политических тем. Первое стихотворение этого рода, подписанное «1 января 1845» (возможно, с намеком на известное стихотворение Лермонтова «1-е января» — «Как часто, пестрою толпою окружен...»), называется «Город». Оно о Петербурге, о «громадном, гордом граде» и об особых чувствах поэта: не любовь к «зданиям» и «пышному блеску палат», а ви́дение всюду страдания:

Его страдание больное.
... ...
И пусть его река к стопам его несет
И роскоши и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.

Так что страдание — это не только счастье творческого человека; когда оно безмерно, оно становится несчастьем, проклятьем большого города. В таком ореоле и прекрасные пейзажные мотивы Петербурга, особенно белые ночи, превращаются под пером поэта в жутковато больничный образ: «... то — прозрачность язвы гнойной». Между прочим, эта гнойная язва станет для Григорьева чуть ли не постоянным эпитетом при характеристике столицы. Сравним в последующих стихотворениях:

С твоею ночью гнойно-ясной...
(«Прощание с Петербургом», 1846)

Как ночи финские с их гнойной белизной...
(«Старые песни, старые сказки», 6, 1846)

Встречаются эти «эпитеты» и в прозе Григорьева. Из известного пункта романтической эстетики, декларируемой В. Гюго («прекрасно безобразное»), наш поэт создал единственный пример для характеристики Петербурга.

Такие гневные стихотворения, как два «Города» (вслед за рассмотренным, начинавшимся строкой «Да, я люблю его, громадный, гордый град...», Григорьев написал еще один «Город» — «Великолепный град! пускай тебя иной...») или «Героям нашего времени» с эпиграфом из Ювенала «Негодование рождает стих», могли пройти сквозь цензуру, но некоторые тексты поэта распространялись только в списках, в тогдашнем «самиздате». Воздействие социалистических идей, общение с петра-

шевцами не прошли бесследно для нашего мыслителя и художника. В конце петербургского периода у него вспыхивают воистину революционные настроения, которые нашли отражение в нескольких стихотворениях, наиболее точно и ярко — в двух.

Первое является как бы подступом, интродукцией к теме:

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я быть рабом,
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать Августейший дом.
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам Бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья...
Но на кресте распятый Бог
Был сын толпы и демагог.

«Демагог» тогда не имел негативного оттенка, а просто был синонимом «демократа». Христос как представитель народа, как демократ.

Второе стихотворение, «Когда колокола торжественно звучат...», уже прямо изображает будущее народное восстание. Автору, мнится, что в «грозный день» «свободы» снова возникает вечевой колокол:

И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг...

Здесь особенно любопытен призыв к революции под «красным стягом». Ведь не надо забывать, что все предшествующие французские революции проходили под знаком триколора, трехцветного знамени (вспомним известную картину Э. Делакруа «Свобода на баррикаде» — о революции 1830 года), и лишь в парижских восстаниях 1848 года стал использоваться красный флаг: тургеневский Рудин погиб на баррикаде с красным знаменем в руках. А до 1848 года и в Западной Европе, и в России употребление красного стяга было уникальным явлением, хотя и использовалось иногда как знак народного бунта. Белинский в 1840 году, в период своих революционных увлечений, вывесил над своей квартирой на Васильевском острове красный флаг; видимо, для тогдашних домохозяев и полиции символика этого цвета еще не была однозначной, смельчака не потянули к ответу. А красный стяг у Григорьева — чуть ли не второй уни-

кальный случай в России, где широкое употребление красный флаг получит лишь в шестидесятых или даже семидесятых годах прошлого столетия. Но постепенно слово «красный» как характеристика человека с республиканскими настроениями уже в середине века входило в обиход (зафиксировано в словаре В. Даля).

Революционные призывы Григорьева, надо признаться, были временной вспышкой, они отражали не только кульминационные вершины индивидуального бунта отчаявшегося человека, но и радикальные настроения русской интеллигенции середины сороковых годов, мечтавшей об общественных преобразованиях в стране, об отмене крепостного права и т. д. Политические произведения Григорьева близки к нелегальной поэзии петрашевцев, особенно к стихотворениям А.Н. Плещеева сороковых годов («Сон», «Вперед без страха и сомненья...», «По чувствам братья мы с тобой...», «Новый год»), где также перемешаны революционные и христианско-социалистические мотивы. Правда, подавляющее большинство тогдашних русских интеллигентов от Грановского до Белинского стояли в середине десятилетия на либеральных позициях и не верили в скорую возможность всенародного бунта, да и не хотели его. Тем любопытней вспышки Григорьева.

Из двух революционных стихотворений датировано только второе: «1 марта 1846. Москва» (если, конечно, поверить, что это реальная григорьевская датировка — ведь подлинной рукописи не сохранилось, есть только списки). Но так как в начале 1846 года Григорьев приезжал на короткий срок в Москву и так как в тексте заметны московские мотивы (а красные флаги на «башнях и стенах» заставляют предполагать, что речь идет о Кремле: где еще сохранились башни? разве что в Нижнем и Пскове, но текст-то посвящен Великому Новгороду и Москве), то дата, скорее всего, истинная. Тогда первое стихотворение, вероятно, относится к концу 1845-го или к началу 1846 года. Оба же они сопрягаются с тяжелым душевным кризисом Григорьева второй половины 1845 года, когда он узнал о женитьбе Кавелина на Корш.

Кризис отразился на творческом затухании (во второй половине 1845 года Григорьев очень мало писал), на полном игнорировании канцелярских обязанностей, пока «канцелярист» не ушел вообще из чиновничьей службы. И спас нашего бедолагу В.С. Межевич, который поселил Григорьева у себя, дал работу в «Репертуаре и пантеоне», да еще помог подготовить и издать небольшой том «Стихотворений Аполлона Григорьева», вышедший в феврале 1846 года фантастически малым тиражом — 50 экземпляров (очевидно, не было денег на большее).

Эта книга — единственное отдельное издание, опубликованное при жизни Григорьева, больше он не готовил сборников или монографий. Книгу заметили литературные критики, оценили ее довольно вяло (всех смущали масонские «Гимны», помещенные в виде первого раздела сборника). Белинский посвятил книге специальную рецензию, соединив ее, правда, с рецензией на «Стихотворения 1845 года» Я.П. Полонского. Белинский, как и раньше, отметил у Григорьева преобладание ума над чувствами (что вряд ли было справедливо в полной мере) и чрезмерное увлечение рефлексиями и страданиями (что, конечно, справедливо). Просветителю Белинскому казалось совершенно невозможным сочетание «безумное счастье страданья». Критику понравились лишь стихотворения, где поэт «одушевлен негодованием», особенно «Город».

К началу 1846 года Григорьев стал выкарабкиваться из кризиса: очень активно печатал в «Репертуаре и пантеоне» повести, театральную критику, очерки, стихотворения, поэмы. Мало того, в это время происходит его краткое сближение с журналом «Финский вестник», издававшимся второстепенным литератором Ф.К. Дершау. Это был толстый журнал, ежемесячник, довольно серьезный и интересный. Журнал во многом до сих пор загадочный, так как мы очень мало знаем о его авторах; известно только, что в нем участвовали радикальные критики Белинский и Вал. Майков. Григорьев тоже выступил в нем с целой серией критических рецензий (пока известны шесть) в марте-апреле 1846 года. Однако эти статьи не только не радикальны, а, наоборот, весьма консервативны.

Среди них — положительная рецензия на роман А.Ф. Вельтмана «Емеля», насыщенная зародышами славянофильских идей в смеси с идеями христианского социализма («Роман Вельтмана (...) протест за идеал, смутно сознаваемый непосредственным чувством русского народа и вообще славянщины, протест за меньших братий, полный христианской любви, полный веры в грядущее»), и более чем положительная реценция на «Слова и речи» «синодального члена Филарета», митрополита Московского (3 тома), где уже, совсем по-славянофильски, зараженной мирскими «язвами» католической Церкви противопоставляется «смиренная» и «истинно-апостольская» православная, «свято сохранившая завет первоначальных преданий»; все проповеди и речи митрополита Филарета характеризуются самыми высокими эпитетами.

Можно было бы засомневаться, григорьевские ли это рецензии: ведь совсем недавно он карикатурно изображал К. Аксакова в драме «Два эгоизма» и полемизировал со славянофилами в поэме «Олимпий Радин». Но Григорьев сам заявил и о данных

рецензиях как своих и о их тональности: «... православный и славянский дух» (письмо к С.М. Соловьеву, февраль 1846 года). Видимо, многое в его мировоззрении причудливо переплеталось парадоксальными связями. Масонство у него сочеталось с наполеонизмом, да и революционность с некоторой натяжкой можно притянуть к его масонству: фамилию масона Скарлатова, воспитателя Званинцева (повесть «Один из многих») можно истолковать как знаковую: во многих западноевропейских языках корень этого слова означает «алый», «пунцовый»* — как не связать его с «красным стягом» «народной вольности»?! Христос же как «сын толпы и демагог«, взятый у христианских социалистов, мог послужить сильным стимулом появления у Григорьева первых ноток православных убеждений. Все было переплетено и перемешано в его ищущем сознании.

Однако нужно видеть и заметные изменения в этих смесях. К 1846 году Григорьев все более стал отталкиваться от эгоистичности и зыбкой дробности идеалов и персонажей. Всегда наблюдаемая тяга мыслителя и художника к значительному, к крупномасштабному выразилась в рецензиях «Финского вестника» в виде неожиданных дифирамбов официальному православию и даже формуле «православие, самодержавие, народность». Нельзя сказать, что Григорьев перешел в правоверное славянофильство. Доля скепсиса и иронии по отношению к самим конкретным славянофилам (особенно к К. Аксакову) у него осталась.

Одна из ценных рецензий Григорьева «Финского вестника» — на знаменитый «Петербургский сборник» Некрасова и Белинского, и там автор издевается над критикой Аксаковым повести Достоевского «Бедные люди»: «... неподдельно-славянское мнение напало на зараженную дыханием Запада тенденцию романа, на его возвышенную и благородную цель». Но при этом несколькими страницами ранее в рецензии на «Руководство к познанию законов» графа М.М. Сперанского Григорьев совсем уже серьезно писал: «... грунт западной жизни, давно распаханный беспощадною косою реформаций и революций, упитанный человеческою кровью, почти истощил уже свои соки (...) только славянскому миру предоставлено начать *новую историю*». Утопические кошмары западного XVIII века, счита-

* Возможно, и другие фамилии григорьевских персонажей тоже имеют подспудные смыслы: Чабрин образован от травы «чабер», «чабрец» (мягок, как трава? ароматен?), Имеретинов — от названия Западной Грузии «Имеретия» (чужак? человек страстей?); Виталин — корень этого слова в большинстве западноевропейских языков означает «жизненный», «обладающий жизненной силой». О других смысловых ореолах в именах и фамилиях мы уже говорили.

ет критик, породили реакцию в виде романтизма, немецкой философии, а в жизни — психологии немецкого филистерства; эта жизнь основана «на раздвоении, на лжи, на той греховной мысли, что можно думать так, а жить иначе...»

Григорьев здесь расстается и со своим двойническим прошлым; в рецензии на «Петербургский сборник» достается Гофману, но особенно — Достоевскому за повесть «Двойник», которая критику (впрочем, также и Белинскому) показалась как «сочинение патологическое, терапевтическое». В целом оценка Достоевского очень высокая, но все же этот последователь Гоголя, считает Григорьев, снижает уровень: «... все, что у Гоголя возводится в едино-слитный, сияющий перл создания, у Достоевского дробится в искры». Опять противопоставление цельности и дробности.

Казалось, в 1846 году Григорьев должен был бы преодолеть прежние душевные кризисы и целиком отдаться перспективной творческой работе: он наметил существенный поворот в мировоззренческой сфере, выпустил сборник стихотворений, стал редактором и активным автором в журнале «Репертуар и пантеон», участвовал и в других периодических изданиях... Но наш Аполлон не мог жить без кризисов и отчаянных положений. Возможно, на него время от времени накатывались материальные трудности: жить расчетливо он никогда не умел, влезал в долги. На это он намекал еще в октябрьских (1845) письмах к Погодину, а потом, в июле 1846 года — в письме к отцу. Опять замаячила Сибирь, какая-нибудь сибирская гимназия, но вскоре эта идея отпала. Родители постоянно зазывали домой, в Москву, отец даже специально приезжал в Питер уговаривать сына.

Но тот долго противился. Сочинял поводы для отказа. В письме к Погодину от 9 октября 1845 года он неожиданно, прямо по-фетовски, обрушился на родную альма матер: «Служить я не могу, *филистерствовать* — тоже, ибо Вы слишком хорошо знаете, как пошл, глуп и цинически подл юридический факультет. Когда оставите университет Вы, Давыдов, отчасти Шевырев, тогда, за исключением доброго, хотя ограниченного Грановского и свежего еще, благородного, хотя исполненного предрассудков и византийской религии Соловьева, останется стадо скотов, богохульствующих на науку. Вы помните, какою безотрадною тоской терзался я от бесплодности их учений, полных цинического рабства, прикрытого лохмотьями западной науки». А в письме к отцу выдвинул психологическую причину: «В Москве ждет меня одно: *унижение* — и лучше самоубийство, чем унижение в глазах единственной женщины, которую любил я искренно...»

И все-таки Москва переборола Петербург. Григорьев не полюбил столицу, она осталась ему чужда. Перед расставанием сочинил полное проклятий стихотворение «Прощание с Петербургом»:

> Прощай, холодный и бесстрастный,
> Великолепный град рабов,
> Казарм, борделей и дворцов,
> С твоею ночью гнойно-ясной,
> С твоей холодностью ужасной
> К ударам палок и кнутов,
> С твоею подлой царской службой...
> *и т. д.*

В начале 1847 года Григорьев вернулся в Москву, в отчий дом. Три года назад был побег из родительского дома в туманный во всех смыслах Петербург, а теперь, наоборот, совершался побег в Москву.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

В первые месяцы новой московской жизни Григорьев возобновил старые знакомства. Стал посещать М.П. Погодина, завязывая журнальные дела по «Москвитянину». Неизвестно, бывал ли у Н.И. Крылова, жизнь которого в 1846—1847 годах приобрела скандальную известность. Талантливый профессор не отличался, видимо, прочной нравственностью. Ходили слухи о его взятках со студентов. Но уже въявь, совсем не по слухам, произошла история, всколыхнувшая Москву и Петербург. В сентябре 1846 года от него, от мужа, ушла красавица-жена, Любовь Федоровна. Подобное явление в тогдашней России было совершенно исключительным. Жены терпели и пьянство мужей, и даже побои. Любовь Федоровна не стерпела, ушла и открыто объявила, что муж поднимал на нее руку. Три ведущих профессора Московского университета — Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, П.Г. Редкин — и брат потерпевшей Е.Ф. Корш, редактор газеты «Московские ведомости», издававшейся при университете, обратились к попечителю графу С.Г. Строганову с резким требованием уволить опозорившегося коллегу, иначе они сами уйдут из университета.

Строганов, который постоянно не ладил с министром графом С.С. Уваровым, очень не хотел шума и пытался в течение нескольких месяцев как-то уладить дело. В конце концов он договорился с руководством Харьковского университета о переводе туда оскандалившегося профессора, и тот уже готов был подать заявление об уходе. Но тут, к великой радости Крылова, конфликты Строганова с Уваровым достигли кульминации

(возможно, Крылов тоже «капал» министру на попечителя сам или через Погодина с Шевыревым, которые оказались на стороне «пострадавшего», не желая солидаризоваться с шумящими «западниками»), и «ушли» не Крылова, а графа Строганова! Он покинул свой пост в ноябре 1847 года, и Крылов оказался победителем, четверо инициаторов борьбы с ним немедленно подали заявления об уходе. Не отпустили Грановского: он, получивший в свое время заграничную командировку за счет университета, должен был еще отработать тот подарок, остальные трое, увы, переехали в Петербург, где прославились каждый на своем поприще.

Григорьев попал в Москву в самый разгар этой неприятной истории. Думается, при такой ситуации Крылов и не устраивал у себя на дому прежних вечерних приемов. Зато у кого наверняка бывал Аполлон по возврате на родину, — у Коршей, у Софьи Григорьевны. Его тянуло на пепелище его страстей, да и перегорели ли его чувства? Он любил растравлять незажившие раны, и одним из способов было, видно, посещение дома Коршей. И радикальное решение, которое он там принял, тоже относится к такому растравлению: он сделал предложение младшей сестре Антонины — Лидии, и 12 ноября 1847 года женился на ней. А 27 ноября Григорьев опубликовал в газете «Московский городской листок» стихотворение «Тайна воспоминания», перевод из Шиллера с посвящением, прозрачно зашифрованным: «Л.Ф. Г-ой». Перевод, как и подлинник, проникнут ликующим, страстным счастьем соединения с любимой:

> Вечно льнуть к устам с безумной страстью...
> Кто ненасыщаемому счастью,
> Этой жажде пить твое дыханье,
> Слить с твоим свое существованье,
> Даст истолкованье?.. *и т. д.*

Лидия была тремя годами моложе Антонины, родилась в 1826 году, так что во время бурных ухаживаний Аполлона за сестрой ей было всего 16 лет. А теперь она подходила уже к опасному по тогдашним меркам возрасту перезрелости, ей уже давно пора было выходить замуж. Но как-то никто не предложил ей до Аполлона руки и сердца. Младшая сестра не могла сравниться с Антониной: она не была так умна и так начитанна, не отличалась красотой, немножко косила, немножко заикалась (резче всего ее охарактеризовал в своих воспоминаниях С.М. Соловьев: «...хуже всех сестер — глупа, с претензиями и заика»). Но — сестра любимой!

И все-таки это был брак по расчету, пусть и не материальному. А такие браки редко бывают счастливыми. К тому же сама натура Григорьева никак не была приспособлена для семейной жизни. Муж впоследствии обвинял жену в пьянстве и разврате. Кажется, не без основания. Но кто первый начинал — еще не известно. Могли бы семью скрепить появившиеся дети: в 1850 году родился Петр, в 1852-м — Александр (еще какой-то мальчик, быстро умерший, родился в конце 1850-х годов). Но оказалось наоборот — Григорьев подозревал, что дети — «не его», и еще более враждебно стал относиться к жене. Фактически семья распалась уже в первые годы после женитьбы. А потом Григорьев прямо покинул Лидию Федоровну и не желал давать средства на воспитание детей. Их приютила бабушка Софья Григорьевна, материально помогали братья Лидии и К.Д. Кавелин; Петр потом был отдан в гимназию, а Александр — в общеобразовательные классы Константиновского межевого института. А сама Лидия Федоровна пошла в гувернантки. Дальнейшая судьба ее туманна. По одной версии она умерла страшной смертью за год до смерти мужа (заснула, пьяная, с зажженной папиросой — и сгорела в пожаре), по другой — жила довольно долго, умерла в 1883 году.

В журнальном и литературном отношении весь 1847 год прошел у Григорьева под знаком «Московского городского листка», ежедневной газеты, издававшейся Владимиром Николаевичем Драшусовым. Он происходил из семьи обрусевшего француза (по легенде, перемена фамилии была то ли придумана, то ли одобрена Николаем I: французская фамилия Сушар с немым, непроизносимым «д» на конце была прочитана наоборот и к ней приставлено окончание «ов»), и хотя он был почти ровесником Григорьеву (родился в 1819 году), но стал уже известным чиновником, директором Воспитательного дома, того самого, куда четверть века назад был отдан родителями малютка Аполлон. Драшусову было, наверное, легко получить разрешение на издание новой газеты, которую он хотел сделать живой, популярной, в какой-то степени противостоящей полуофициальным «Московским ведомостям». Но пороху у него хватило лишь на 1847 год, газета перестала далее выходить. А как раз в это время, в начале года и появился в Москве Ап. Григорьев, сразу же привлеченный Драсушовым к работе. И в течение всего 1847 года он был, пожалуй, самым активным автором в газете, в основном подписываясь криптонимом «А.Г.»; один раз вспомнил и свой «масонский» псевдоним «А. Трисмегистов».

В газете публиковались его очерки (как раз под именем Трисмегистова появился интересный очерк-фельетон «Москва и Петербург. Заметки зеваки. I. Вечер и ночь кочующего варяга в Петербурге»); с «продолжением следует» — большая повесть «Другой из многих», обзоры журналов и газет, статьи на юридические темы, литературные, театральные, музыкальные ре-

цензии, стихотворения. Помимо уже упоминавшейся ранее повести «Другой из многих», завершающей «масонскую» группу повестей, самым значительным произведением Григорьева в «Московском городском листке» стал цикл статей «Гоголь и его последняя книга», растянутый на четыре номера газеты (с 10 по 19 марта).

Это — большая рецензия на выход в свет потрясшей Россию книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847). Переживавший мировоззренческий и нравственный кризис писатель опубликовал собрание неровных, часто противоречивых статей и писем на самые различные темы религии, быта, культуры, литературы. Сюда входили и ценнейшие статьи этического и критического плана, вроде известной работы «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», и прекрасные этические лозунги, требования к человеку быть собранным и ответственным, и странные бытовые советы женщинам, помещикам, друзьям. Некоторые из них были совершенно безумными: например, помещику, желавшему, чтобы его крепостные хорошо трудились, надо декларировать свое бескорыстие и публично сжечь деньги, вдохновить крестьян на старание и прилежание, и через год имение станет процветающим и т. п. Поэтому отношение к книге было тоже неровным, в целом скорее негативным, чем сочувствующим.

Либеральные западники, которых особенно потрясли религиозные и монархические взгляды Гоголя, встретили «Выбранные места...» открыто враждебно. Особенно показательным было знаменитое бесцензурное письмо Белинского (и автор, и адресат находились тогда, в июле 1847 года, за границей), где критик совершенно откровенно, с «негодованием и бешенством» (его слова) возмущался реакционными воззрениями писателя. Славянофилы тоже не жаловали Гоголя за его противоречивую книгу, и оказалось, что положительные рецензии написали, каждый по-своему, только Ф.В. Булгарин, кн. П.А. Вяземский, С.П. Шевырев — и наш критик.

Григорьев, переживший несколько тяжелых кризисов, выкарабкивающийся в 1847 году из последнего, увидел в мятущихся противоречиях Гоголя нечто родственное, тем более что путь критика тоже был достаточно болезненным и достаточно «поправевшим», то есть путем к большей консервативности мировоззрения. Автору рецензии оказалась очень близка скорбь писателя по поводу мельчания, раздробления современного человека, да и жизни в целом («натуральная школа» трактуется именно как утверждающая дробность и ничтожество «маленького» человека). Григорьев цитирует из «Выбранных мест...» строки, которые долго потом будут его лозунгом: «Все теперь

расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек». Критик выступает вослед Гоголю не за подавление личности, а за ее самовоспитание, за собранность и ответственность. Хорошо осознавая свои недостатки, прекрасно зная, насколько он сам бывал «расшнурован», Григорьев, наверное, воспринимал инвективы Гоголя и как направленные в свой адрес, потому, полный раскаяния и желания «собраться», горячо защищал книгу Гоголя в целом, хотя и говорил мельком о странностях и перегибах писателя.

Шевырев, который старался знакомить находящегося тогда в Италии Гоголя с отзывами о нем в русской печати, видимо, послал ему номера газеты со статьей Григорьева. Гоголю в целом статья понравилась. Он писал Шевыреву 25 мая: «Статья Григорьева, довольно молодая, говорит больше в пользу критика, чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений. Временный гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому источнику, откуда *черплется* истина». То есть ближе к Богу, к Евангелию. Любопытно, что Гоголь заметил «временный гегелизм», хотя не заметил (Григорьев туманно и сложно выразился) явный отказ критика от «гегелизма».

Шевырев, конечно, познакомил автора статей с отзывом кумира — об этом есть сообщение самого Григорьева. Скованный цензурными оглядками, он, вдохновленный похвалой и читавший различные отклики на книгу Гоголя, в том числе и нелегальное письмо Белинского, ходившее по Руси во многих списках, решил и сам написать Гоголю бесцензурное послание, которое вылилось в три крупных письма. Из них только второе имеет дату 17 ноября 1848 года, первое и третье могут приблизительно датироваться октябрем и декабрем. Письма не надо было посылать официальной почтой: Гоголь приехал в Москву 14 октября 1848 года и поселился у Погодина, так что их можно было легко передать через хозяина дома.

Подлинники писем не сохранились, имеется лишь авторская копия (рукой самого Григорьева), которая до революции хранилась в неизвестном частном архиве (шесть листов копии пронумерованы цифрами 223—228, значит, они были в какой-то объемистой папке рукописей), в 1930-х годах поступила в рукописный отдел Ленинской библиотеки в Москве (ныне Российская государственная библиотека). То, что автор делал себе копию, — не свидетельство ли желания, подобно Белинскому, приватным образом распространять свои тексты?

Частные письма Григорьева значительно более откровенны, чем подцензурные статьи. Автор говорит о громадном значении книги Гоголя для собственного нравственного процесса, о

прежнем болезненном, кризисном состоянии и о стремлении выйти из него, о помощи идей писателя, оказанной этому процессу.

В связи с темой собранности и ответственности человека в частных письмах более подробно рассмотрен вопрос о «натуральной школе», ставший для Григорьева главенствующим на ближайшие годы. В идее среды, обусловливающей характер и поведение человека, центральной идее писателей «натуральной школы», критик усматривает фатализм, перекладывание всех бед и недостатков на среду, на обстановку, на обстоятельства, что как бы оправдывает неблагородные поступки человека. Фатализм лишает человека свободы выбора, делает его рабом, следовательно, безответственным. Наиболее типичными произведениями «натуральной школы», которые дают повод к таким выводам, критик называет роман А.И. Герцена «Кто виноват?» и повесть Ф.М. Достоевского «Двойник». (Григорьев неправ в жесткой характеристике «фатализма» этих произведений, как весьма неточен и в обобщениях: ведь одно дело — обвинять дворянского «лишнего человека» за бездействие и сваливание причин бездействия на среду, тут критик во многом прав, другое — так же относиться к «маленькому человеку» из городских низов или к крестьянину, ибо от тех, в самом деле, при их рабском состоянии трудно было требовать свободы и ответственности).

Все третье письмо к Гоголю Григорьев посвятил женскому вопросу, лишь бегло затронутому в печатной статье. Автор письма вступает в спор с писателем, бранившим русскую женщину за полное неумение вести хозяйство (советы Гоголя были, как правило, наивными и дикими). Григорьев же считает, что в этом плане речь может идти лишь о светских женщинах, а представительницы «среднего и низшего круга», наоборот, слишком погрязли в хозяйстве, быте, отрешенно от духовности, от божественного. Что же касается женщин высшего круга, то они тоже часто превращаются в «баб» (типы Маниловой или жены Собакевича): «Она верна мужу, она ведет приход и расход; да лучше бы была она неверна мужу, не вела приходо-расходной книги». Эксцентрического Григорьева не может не занести! Правда, он тут же спохватывается и начинает большой пассаж, с иронией и осуждением, что по наущению «разных господ» некоторые из них «пускаются любить и страдать», но без всякого «самопожертвования», что Пушкин «намекнул» на идеал беззаконной кометы, а Лермонтов совсем «объидеализировал» ее... но «все это теперь надоело страшно». Григорьев и здесь расстается со своим недавним прошлым, осуждает его. К сожалению, отзывы Гоголя об этих письмах неизвестны.

Статьи и очерки критика в «Московском городском листке» стали заметным явлением в русской литературе той поры. Но, конечно, это была довольно узкая сфера: «Листок» мало распространялся за пределами Москвы.

Уже в самом начале возвращения в Москву и участия в газете Григорьев стал вести переговоры с Погодиным о сотрудничестве в «Москвитянине». Пока, помимо ежедневной газеты В.Н. Драшусова, он познакомился еще с издателем детских книг Ф.Н. Наливкиным и опубликовал в «Петербургском сборнике для детей» (СПб., 1847) драматическую легенду «Олег Вещий. Сказание русского летописца», малоинтересную компиляцию из летописных сказаний (Белинский резко обругал в печати эту вещь, и справедливо).

Но Григорьеву явно хотелось еще сотрудничать и в журнале Погодина. Осторожный редактор присматривался, тянул, и лишь во второй половине 1847 года переговоры как будто бы увенчались успехом. Дело в том, что подписка на «Москвитянина» катастрофически падала, тираж опустился до 200 экземпляров. Погодин журналом занимался мало, переложив все хлопоты на Шевырева, который в меру своих сил старался, но ему тоже не удавалось сделать что-либо существенное для поднятия престижа падающего «Москвитянина». Тогдашнему журналисту нужно было иметь совершенно другой характер: шустрый, всесторонний, с коммерческой хваткой и компромиссами. Куда там степенному, консервативному профессору! И Погодин, вероятно по согласованию с Шевыревым, решил обновить «Москвитянин», привлечь свежие силы. В октябре 1847 года в журнале появилось объявление о подписке на следующий год, где сообщалось об участии видных тогдашних историков (И.Д. Беляев, И.М. Снегирев), писателей, очеркистов. Наш Григорьев был назван в качестве заведующего отделом «Европейское обозрение».

Обозреватель горячо взялся за работу, прочитывал груды русской и зарубежной прессы. Кажется, лишь женитьба немного отвлекла его от систематического труда. Но тут уже начались разногласия с Погодиным. Тому показалось, что Григорьев, занятый Испанией, мало осветил Португалию, где, видите ли, совершались важные события (прямо как в студенческом анекдоте: «Прежде чем остановиться на Испании, поговорим о Португалии»). Потом Погодин решил, что помимо обзоров современных европейских событий надо дать обобщающую характеристику уходящего 1847 года — историю Европы за целый год. Самолюбивый Григорьев, который терпеть не мог, когда вмешивались в его творчество, спорил, в чем-то вынужден был согласиться, хотя и подчеркивал: «Я могу работать за весьма уме-

ренную плату, как вол, но мне больше всего нужно доверие и известная независимость» (письмо к Погодину от 28 декабря 1847 года).

В общем в начале января 1848 года Григорьев подготовил первые обзоры к публикации и предлагал «напечатать в следующей (февральской. — *Б.Е.*) книжке — Португалию, Испанию, Италию и Грецию, в мартовской — Англию и Францию, в апрельской — Германию и все остальное». Кроме того, Григорьев предлагал совершенно безумную идею (никакая цензура не пропустила бы!) — «делать историю жирондистов», то есть писать историю Великой французской революции! А если будут цензурные препятствия (Григорьев все же не забывал про церберов!), то он станет переводить знаменитые жоржсандовские романы «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт».

Все эти замыслы, как и уже подготовленные обзорные материалы, полетели в бездну: разразившаяся в Париже февральская революция сразу же вызвала в России невиданное ужесточение цензуры и усиление дикого страха репрессий у издателей и редакторов. Конечно, Погодин ничего григорьевского не напечатал, ни строчки. Возможно даже, что произошел конфликт: Аполлон предлагал ранее вести в «Москвитянине» отдел музыкальной и театральной хроники — ничего подобного в 1848 году не появилось.

Молодому семьянину нужно было срочно искать заработок. Лидия Федоровна совершенно не умела, да и не хотела вести хозяйство, это тоже отягощало материальные трудности. У нас нет никаких данных, но вполне вероятно, что первые месяцы после женитьбы молодые жили за счет старших Григорьевых, а ведь после ухода Александра Ивановича на пенсию в середине сороковых годов их положение было тоже не ахти каким благополучным. Можно представить, как стареющая матушка Аполлона возненавидела пришедшую в дом бездельную невестку! А поселились молодые в доме его родителей, это известно (впрочем, в 1851 году Григорьев подыскивал себе квартиру, значит, хотел сбежать и от жены, и от родителей; в 1855 году он явно жил вне дома: Погодин устраивал очную ставку его с отцом, видимо, желая усовестить сына относительно его материальных обязанностей перед семьей; но в 1857 году Григорьев опять проживал в родительском доме).

В конце жизни, в «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям» Григорьев написал загадочные строки: «В 1848 и 1849 году я предпочел заниматься, пока можно было, в поте лица, — работой переводов в «Московских ведомостях». Так и не удалось установить, что это за работа. Газета заполнялась официальными сообщениями и частными

объявлениями, иногда появлялись статьи на исторические, литературные, театральные темы, в том числе и переводные. Все переводные статьи были анонимны. Видимо, некоторые из них принадлежат Григорьеву. Но это был случайный и невеликий заработок.

Пришлось устраиваться на казенную службу, как ни презирал ее Григорьев. Впрочем, на этот раз он стал не чиновником, а преподавателем: с 1 августа 1848 года он был определен «учителем гражданских и межевых законов и практического делопроизводства» в Александровский сиротский институт. Это устройство дало Григорьеву не только постоянное жалованье, но и важное знакомство с сослуживцем, литературоведом и критиком А.Д. Галаховым, членом редакционного кружка А.А. Краевского, издателя «Отечественных записок». Галахов и профессор П.Н. Кудрявцев, ученик Грановского, были как бы московскими представителями петербургского журнала; где-то в конце 1848 года они уже, видимо, познакомили Григорьева с Краевским, и молодой литератор стал сотрудником известного толстого ежемесячника.

В 1849—1850 годах Григорьев активно сотрудничает в «Отечественных записках» как постоянный обозреватель московских театров и как литературный критик: ему, например, принадлежит значительный раздел в коллективной статье «Русская литература в 1849 году», а также большая и интересная статья «Стихотворения А. Фета». Он еще предложил Краевскому открыть постоянный отдел «Обозрение журналов» и готов был его вести (в «Отечественных записках» существовал лишь небольшой отдел в «Смеси» — «Журнальные заметки»). Но редактор не торопился, открыл отдел позже и поручил его другим лицам. Главной же деятельностью Григорьева в журнале Краевского была театральная критика.

К концу 1840-х годов Григорьев стал фактически самым крупным театральным критиком России. С детства влюбленный в театр, он, где бы ни был, не мыслил себя без посещения шедших в том городе спектаклей: драма, опера, балет (балет, впрочем, его меньше интересовал) в постановках отечественных трупп, иностранцев, постоянных исполнителей и гастролеров. Страстная натура, он стихийно отдавался течению пьесы и игре актеров, неистово аплодировал и кричал одобрительные слова, когда был доволен пьесой и игрой, и, наоборот, так же неистово выражал свой протест, свое неудовольствие. Известны случаи, когда администраторы или даже вызванная полиция выводили разбушевавшегося зрителя из зала, известна и ходячая острота актера Д.Т. Ленского по этому поводу: «Что же это за театр, из коего Аполлона вывели».

В статьях Григорьев, конечно, был более сдержан, но совершенно не скрывал своих истинных мыслей и чувств. Он был глашатаем естественной и мастерской игры актеров, высоко отзывался о талантах тогдашних драматических кумиров, петербургского В.А. Каратыгина и московского П.С. Мочалова; дал глубокие и тонкие разборы игры актеров реалистической московской школы — М.С. Щепкина, П.М. Садовского, В.И. Живокини. Конечно, Григорьев был абсолютно бескорыстен в своих отзывах, многие его восхваления адресовались актерам, с которыми он даже лично не был знаком. Характерен такой пример: на панихиду по умершему Григорьеву пришла талантливая петербургская актриса Е.В. Владимирова, творчеством которой неоднократно восхищался критик; актриса попросила приподнять крышку гроба (он стоял закрытый) и показать ей лицо покойного — она никогда с ним в жизни не встречалась!

И так же бескорыстно Григорьев разоблачал пошлость, глупость, ходульность, халтуру в театральных постановках. Неоднократно критикуя ломавшегося на сцене Ф.А. Бурдина, он даже ввел термин-эпитет «бурдинизм» для подобных явлений, конечно же, каламбурно учитывая не только фамилию, но и «бурду». Обиженные актеры принимали какие-то меры, артист и драматург П.И. Григорьев даже в суд подавал на однофамильца за оскорбление личности (безрезультатно), а по воспоминаниям В.С. Серовой, Ап. Григорьев, прослышав, что оскорбленные актеры хотят его избить где-нибудь в темном переулке, завел специальную палку с набалдашником...

Откровенный критик покусился даже однажды на Каратыгина, не просто кумира петербургской публики, а еще и любимца Николая I. Одной из первых театральных рецензий Григорьева в «Репертуаре и пантеоне» была статья «Гамлет» на одном провинциальном театре» (1846) с посвящением «В.С.М.», то есть Межевичу. Якобы автор в каком-то захолустном городе попал на постановку шекспирова «Гамлета» и был совершенно разочарован, прежде всего разочарован Гамлетом: «И он явился, встреченный громом аплодисментов, явился высокий, здоровый, плотный, величавый, пожалуй, но столько же похожий на Гамлета, сколько Гамлет на Геркулеса». После сцены «рисующегося Гамлета» на кладбище критик покинул зал.

Все театралы поняли, что никакой провинцией и не пахнет, что речь идет о спектакле Александринского театра с Каратыгиным в главной роли. Поднялся скандал. Неизвестно, докатилась ли история до царя, но директор императорских театров А.М. Гедеонов написал жалобу в III отделение, редактор журнала Межевич был туда вызван и ему устроена выволочка. Подобные печатные издевки над актерами были запрещены.

А Григорьев действительно счел, что замечательный в классических трагедиях и даже бытовых драмах актер совершенно не годится для роли Гамлета. В «Отечественных записках» 1850 года Григорьев под видом «Заметок о московском театре» опубликовал большую теоретическую статью о «Гамлете». Развивая гетевскую мысль о слабости воли датского принца, наш критик особенно акцентировал флегматичность, «эластичность», «нежность», да еще совсем неожиданно добавил: «Гамлет — вечный актер сам с собою и с другими, вечный художник, ищущий творчества в каждом деле». А в общем Григорьев делает Гамлета своим соратником в утверждении идеала мирной гармонии: «Он какой-то предшественник нового, мирного направления среди обломков героического, дикого периода». Понятно, что, по Григорьеву, глубина, сложность, «нежность» образа была не по зубам «античному» Каратыгину. Впрочем, и трактовка Гамлета Мочаловым далеко не во всем удовлетворяла критика, хотя в целом романтический, стихийный, очень близкий душевно Мочалов всегда оставался кумиром Григорьева, как бы он ни старался иногда ради объективности говорить, что оба актера хороши по-своему; но тут же добавлял, что Мочалов не просто великий артист, он еще великое общественное явление.

Вернемся к журнальным связям Григорьева 1849—1850-х годов. Обрадованный приютом в «Отечественных записках», он засыпал Краевского уже готовыми произведениями или замыслами. В письме к издателю от 28 февраля 1849 года он сообщает об осуществленном переводе пьесы А. де Мюссе «Спектакль не выходя из комнаты» и о посылавшейся статье о Дидро, которая, видимо, не была пропущена цензурой; в письме от 16 декабря предлагает полный перевод «Вильгельма Мейстера» Гёте; выше уже говорилось о рекомендации завести рубрику «Обозрение журналов», в которой он принял бы активное участие. Но, очевидно, осторожному и респектабельному Краевскому живые и непричесанные труды Григорьева были чужды, он явно отказывался от его помощи. Прервалась и «Летопись московского театра». Как лаконично выразился сам Григорьев в «Кратком послужном списке...»: «не переварилась». Так он был отставлен из респектабельного петербургского журнала (не навсегда: десятилетие спустя, в 1860 году он опубликует у Краевского замечательную статью «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны»).

Произошли перемены и в служебной деятельности Григорьева. Из-за переформирования сиротского института он вместе с двумя группами учащихся был переведен в Московский Воспитательный дом (24 мая 1850 года). Судьба постоянно возвращала его в это учреждение! Здесь он преподавал до 1854 года. На-

иболее значительное событие, связанное теперь с Воспитательным домом, — это знакомство с надзирателем и учителем французского языка Я.И. Визардом, а также со всей его семьей, с дочерью Леонидой Яковлевной, объектом самой сильной, самой глубокой и страстной привязанности Григорьева. Об этом еще будем специально говорить в главе «Леонида Яковлевна Визард».

А с 15 марта 1851 года Григорьев еще стал учителем законоведения в 1-й московской гимназии, куда его, наверное, рекомендовал новый товарищ по новому молодежному кружку при «Москвитянине» — Т.И. Филиппов, преподававший в гимназии русскую словесность.

Обе службы находились не очень далеко от григорьевского дома, можно было легко ходить пешком (Григорьев же вообще любил ходить, а не ездить). Воспитательный дом — это то громадное здание на Москворецкой набережной (дом № 7, близ нынешней гостиницы «Россия»), где теперь расположена Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. А 1-я гимназия помещалась на Волхонке, ее нынешние номера домов — 16 и 18, там сейчас академические учреждения.

СОЗДАНИЕ «МОЛОДОЙ РЕДАКЦИИ» «МОСКВИТЯНИНА»

«Молодая редакция» формировалась исподволь, и центральной фигурой в ней до Григорьева был восходящая звезда русской драматургии А.Н. Островский. Первоначальное ядро группы, образовавшееся в 1846-м — начале 1847 года, состояло из Островского и его друзей Т.И. Филиппова и Е.Н. Эдельсона. Все трое были чуть-чуть моложе Григорьева, погодки по отношению к нему и друг к другу: Островский родился в 1823 году, Эдельсон — в 1824-м, Филиппов — в 1825-м, все трое были относительно плебейского воспитания: Островский — сын незначительного московского чиновника, Филиппов — мещанин из подмосковного города Ржева, Эдельсон — выходец из захудалого дворянского рода давнего немецкого происхождения, так что уже отец не знал «родного» языка (отец служил экономом Рязанской гимназии), и все трое учились вослед Григорьеву в Московском университете. Островский поступил на юридический факультет в 1840 году, то есть еще при Григорьеве (может быть, уже тогда были шапочно знакомы?), но, подобно Фету, он не преуспел в учебе, занятый литературными замыслами, застрял на третьем курсе и бросил университет; Эдельсон и Филиппов учились уже после Григорьева (первый — на физико-

математическом, второй — на словесном отделении), благополучно закончили университет и вскоре все трое крепко сдружились.

Т. Филиппов, позднее один из самых махровых русских консерваторов, в свои почтенные года пытался всем доказать, что он чуть ли не с пеленок был православным монархистом и потому успешно обращал в свою веру сперва Островского, потом Григорьева. Слава Богу, сохранились документы, разоблачающие эти фантазии: письмо Филиппова к Эдельсону от 12 апреля 1847 года и совместное письмо Филиппова и Островского к тому же адресату от 28 февраля 1848 года. Письма полны юного задора, любви к переменам, двусмысленных намеков. В первом письме Филиппов восхищается весенним преображением природы, совершающей «эманципацию»; «А время эманципации, ты знаешь, и в истории народов, и в жизни развивающегося человека, и в природе, имеет для меня особую прелесть» — а в сороковых годах термин «эмансипация» употреблялся в чисто социальном смысле: освобождение крестьян и освобождение женщины. Во втором письме шутливый рассказ о начавшейся французской революции свидетельствует скорее о симпатии, чем об осуждении. Письма совершенно западнические, совершенно либеральные, совершенно не консервативные.

Переход к противоположному мировоззрению начался у друзей, особенно у Филиппова, явно позднее, скорее всего — под воздействием душной реакции, наступившей в России после европейских революций 1848 года. В шутливом «Послании к друзьям моим...» (начало 1850-х годов) Григорьев писал:

> Ты ci-devant («недавно» по-французски. — *Б.Е.*) социалист
> И беспощадный атеист,
> А ныне весь ушедший в Бога,
> Ф⟨илиппов⟩ мой, кого на памяти моей
> Во Ржеве развратил премудрый поп Матвей.

Поп Матвей — это тот самый священник, который оказал сильное мистическое воздействие на умирающего Гоголя.

В стране начиналось «мрачное семилетие» 1848—1855 годов. Николай I, ненавидя и страшась революционного движения, ввел в России чуть ли не режим чрезвычайного военного положения. Свирепствовала цензура. Взяты были под подозрение все кружки. Совершенно невинные в политическом смысле славянофилы воспринимались как потрясатели основ, их сажали для допросов в крепость или в III отделение, за ними устанавливалась слежка. А члены кружка М.В. Петрашевского, лишь мечтавшие о будущих социальных преобразованиях, были арестованы и отданы военному суду, а потом отправлены на каторгу, в солдаты, в ссылку. Впервые в России массово судили

за идеи, а не за поступки (декабристов можно было обвинять законно: те совершали противоправительственные действия, петрашевцев же судили только за намерение). Граф С.С. Уваров пытался было вступиться за университеты, которые Николай хотел свернуть в бараний рог, — и поплатился министерским креслом, вынужден был уйти в отставку, подарив консерваторам для «вечного» пользования свою триединую формулу: православие, самодержавие, народность.

Уваров был умный человек, он взял для своего лозунга категории, в самом деле значительные для его времени: православная культура давно уже укоренилась как главенствующая, самодержавие господствовало как политическая сила, а народность, весьма смутно понимаемая и толкуемая создателем триединой формулы, самой своей расплывчатостью привлекла к себе самых разных идеологов. И уже с пушкинских времен в «народности» стали видеть не столько широкую общенациональную категорию, сколько народную в более узком смысле — отражение черт трудового народа, крестьянства, городских низов; правда, была частая оглядка и на общенациональное, частое стремление, как у Белинского, диалектически соединить обе категории.

Все члены группы Островского глубоко любили простой народ, восхищались песнями, пословицами, образной нестандартной речью. «Народность» для них, в отличие от Уварова, была главной. Православие тоже было им не чужое, сказывалось религиозное воспитание с детства.

Самодержавие для молодых людей было наименее ценным, вряд ли они были его глашатаями, но оно было укоренено в русскую жизнь, его можно было воспринимать как необходимость, как неизбежную данность. Так бывшие радикалы могли постепенно втягиваться в мир уваровской формулы. Характерно, что параллельно той же дорогой, даже чуть раньше, шел Ап. Григорьев, как мы видели по его рецензиям 1846 года в «Финском вестнике».

Для группы Островского было еще важно противостояние между Россией и Западом. Литература и публицистика Западной Европы пропагандировала культ индивидуума, культ частной личности; европейские революции 1848 года лишь усилили эти тенденции; А.И. Герцен, оказавшийся на Западе как раз в разгар подъема и распада революционного движения, очень остро ощутил рост эгоизма, бездуховности, буржуазности. У Григорьева и компании Островского подозрительность и враждебность к западному культу личности возникли и без выезда на Запад. Русский «менталитет» слишком долго воспитывался на «соборности», все три элемента триединой формулы тоже ведь

«соборные» и антиличностные. «Мрачное семилетие» с официальным антизападным пафосом лишь подтолкнуло, наверное, молодых людей к своеобразному «поправению», к своеобразному консерватизму, хотя этот консерватизм будет совсем особого сорта, он не сольется ни с погодинским, ни со славянофильским. Впрочем, и внутри группы возникнут противоречия и разногласия. А пока это был еще общий путь к созданию «молодой редакции» «Москвитянина». В свете сказанного ее можно было бы каламбурно называть «молодой реакцией», консервативной реакцией на некоторые западнические издержки, с одной стороны, а с другой — относительным противостоянием стареющим консерваторам, возглавлявшим «Москвитянин», — Погодину и Шевыреву.

Путь к организации «молодой редакции» был после 1848 года прямым и стремительным. Исходной точкой стало создание Островским в 1849 году первой крупной пьесы — «Банкрут» («Свои люди — сочтемся»). До этого у него были лишь пробы пера, очерки и драматические сценки, а тут совершенно неожиданно для всех появился зрелый драматург, продолжатель Фонвизина и Грибоедова. Успех «Банкрута» был неслыханный, автора приглашали во все известные дома Москвы. 3 декабря состоялось авторское прочтение пьесы в доме Погодина. Редактор «Москвитянина», видимо, увидел в Островском человека, который может спасти все более хиреющий и умирающий журнал. Он напечатал «Банкрута» в «Москвитянине» и договорился в марте 1850 года с Островским, что тот станет помогать в редактировании журнала. Драматург привел с собой друзей — Филиппова и Эдельсона, это было ядро «молодой редакции», потом к ним присоединились критик и фельетонист Б.Н. Алмазов, поэты Н.В. Берг и Л.А. Мей, писатели А.Н. Потехин, И.Т. Кокорев, И.Ф. Горбунов, Е.Э. Дриянский, художник П.М. Боклевский, скульптор Н.А. Рамазанов, драматург, гитарист и собиратель народных песен М.А. Стахович, ряд других творческих личностей. Но главным «пришельцем» с некоторым запозданием (конец 1850 года) стал Ап. Григорьев.

Погодин вынужден был согласиться на приглашение «молодой редакции». Издатель журнала оставлял себе всю финансовую сторону, включая и гонорары. Скупость Погодина была из ряда вон выходящей; он платил Григорьеву и Эдельсону по 15 рублей серебром за печатный лист (16 страниц «Москвитянина»), в то время как критики в «Отечественных записках» и «Современнике» получали по пятьдесят. В этой области постоянно возникали конфликты: Погодин старался и при мизерной расценке платить как можно меньше, например, округляя суммы с изъятием копеек при итоге; молодежь терпела, но иногда

взрывалась; Погодин записал в дневнике 15 июля 1854 года: «Пренеприятные счеты с Эдельсоном, который хуже всякого немецкого аптекаря. Что за подлецы». Убежден, что Эдельсон подобное думал о шефе. Из Погодина никак нельзя было выколотить изрядные суммы денег для привлечения в «Москвитянин» хороших писателей. Он даже, казалось бы, *своему* Островскому не захотел заплатить приличного гонорара за пьесу «Бедность не порок», и автор издал ее тогда отдельной книгой. Но редактор распоряжался не только финансами. Он оставался руководителем общественно-политической позиции журнала, возглавлял отдел истории, никак не хотел отдавать молодым отдел беллетристики, то есть художественной литературы, и часто публиковал там, наряду с произведениями «молодой редакции», сочинения разных старомодных писателей вроде М.А. Дмитриева или А.С. Стурдзы.

И все-таки молодые оттяпали у шефа очень ценные отделы, которые, собственно, и составляли лицо обновленного «Москвитянина»: критику, библиографию, научные статьи по эстетике и литературоведению, художественные переводы зарубежных писателей, важный отдел «Смесь» с обзорами, заметками, фельетонами; влияли на формирование и центрального отдела — беллетристики.

Первые месяцы функционирования «молодой редакции», то есть почти весь 1850 год во главе ее стоял Островский. Он больше выступал как символ, как объединяющая друзей фигура, чем как реально редактор, как руководитель отделов или как творческая личность. Помимо публикации «Банкрута» он поместил в «Москвитянине» две-три критических статьи (достоверно известны две — о повестях Е. Тур «Ошибка» и А.Ф. Писемского «Тюфяк»). В этих статьях Островский выражал типичные для «молодой редакции» антизападнические идеи: в иностранных литературах, дескать, на первый план выдвигается личность, эгоизм личности, да и в отечественной литературе «натуральная школа» обращает внимание главным образом на личные начала, в том числе и на личные отношения авторов к изображаемому, с выделением личных «привычек и капризов» авторов (намек на «Капризы и раздумья» А.И. Герцена). Всему этому противопоставляются иные принципы: «Отличительная черта русского народа, отвращение от всего резко определившегося, от всего социального, личного, эгоистически отторгшегося от общечеловеческого, кладет и на художество особенный характер: назовем его характером обличительным. Чем произведение изящнее, чем оно народнее, тем больше в нем этого обличительного элемента».

«Общечеловеческое» здесь выступает явным символом общехристианских нравственных идеалов, а лично-эгоистическое

должно судиться и обличаться в свете высоких общечеловеческих идеалов. Островский из деликатности молчит относительно своего творчества, но он явно «Банкрута» относил к таким произведениям, где корысть, эгоизм обличаются от имени «общечеловеческой» этики.

Наверное, характеру Островского, как бы ни пользовались успехом его серьезные и оригинальные рецензии, была чужда деятельность литературного критика, тем более ему оказалась чужда роль руководителя и редактора — он все-таки был по натуре свободный художник, его больше интересовало собственное художественное творчество; да еще ему надоели частые конфликты с Погодиным. И как только в «молодую редакцию» вошел Ап. Григорьев, явно жаждущий «примировать», возглавлять группу, Островский стал отходить от руководства и передоверять свои функции Григорьеву.

Легенда о том, что Григорьев как бы вытеснил Островского, совершенно ложная, она ни на чем не основана. Сохранилось письмо Островского к Погодину (осень 1851 года), где он просит издателя об отставке от редакторства. А в «молодой редакции» драматург по-прежнему оставался идейно-художественным символом, его творчество периода «мрачного семилетия», от «Банкрута» до «Бедной невесты» и «Не в свои сани не садись», развивалось именно в русле идеалов «молодой редакции»; как сам Островский отметил в письме к Погодину от 30 сентября 1853 года, от обличения в первой пьесе он перешел далее к изображению прежде всего положительных начал народного быта.

А Григорьев вошел в «молодую редакцию» на закате 1850 года: первая его рецензия в обновленном «Москвитянине» появилась в № 17, то есть в первом сентябрьском номере (журнал при «молодой редакции» стал выходить два раза в месяц), а уже с начала 1851 года он выступает как один из самых плодовитых сотрудников. Видимо, с конца 1850 года он и стал негласным руководителем молодых, ибо явно по его инициативе с января 1851 года в «Москвитянине», подобно другим толстым журналам, стали публиковаться ежемесячные обозрения текущей периодики, которые составляли, кроме него, главные участники «молодой редакции».

Каким образом Григорьев вошел в этот новый круг друзей? Т. Филиппов, явно преувеличивая свою роль в создании «молодой редакции», и в отношении Григорьева считал себя главным «вводителем»: якобы когда Григорьев стал преподавать в 1-й московской гимназии, он там сблизился с учителем Филипповым, который и ввел коллегу в группу Островского. Вряд ли это соответствует действительности: Григорьев поступил в гимназию 15 марта 1851 года, а он в это время был уже ведущим де-

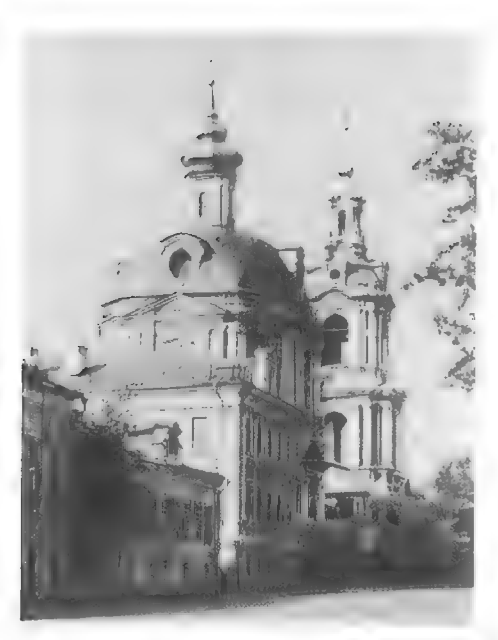
ятелем «молодой редакции». Трудно сказать, познакомился ли он с Филипповым только в 1-й гимназии, или раньше, скорее всего — раньше, когда стал активно участвовать в «Москвитянине». С кем он явно был знаком уже несколько лет — это с Островским. Имеются сведения, что он познакомился с ним в 1847 году, у В.Н. Драшусова в «Московском городском листке», где сам он, как мы знаем, был чуть ли не главным сотрудником, а Островский тоже поместил несколько драматических отрывков. Вполне возможно, что тогдашнее знакомство было шапочное, ни о какой дружбе той поры мы не знаем.

А сближение с «молодой редакцией» могло произойти само собой, благодаря давнему знакомству Григорьева с Погодиным. После того как Краевский отказался от сотрудничества с Григорьевым (последняя его статья в «Отечественных записках» появилась в сентябре 1850 года), а в «Пантеоне» тоже не было надежды на дальнейшие после января публикации, наш Аполлон оказался на мели и снова, наверное, обратился к Погодину, а в 1850 году уже никак было не миновать «молодой редакции». Тем более что путь Григорьева последних лет очень был схож, как уже говорилось, с путем друзей Островского: к антизападническому недовольству чрезмерным обхаживанием эгоистической личности, к созданию новой социальной и нравственной опоры — народ! Народ не столько как крестьянская масса, сколько в виде городских низов и купечества. Крестьяне, считал Григорьев, как и дворяне, изуродованы крепостничеством, они принижены, они не свободны. А городской народ развивается свободно, широко, сохраняя традиционные обычаи, поверья, песни. У всех членов «молодой редакции» рос интерес к фольклору, к народной песне в особенности (это перейдет и в интерес к цыганской песне, вообще к «цыганщине»).

И вот тут роль Т. Филиппова в самом деле была велика, он ведь с юных лет замечательно исполнял народные песни. По его рассказу, переданному Н.П. Барсуковым, автором многотомного труда «Жизнь и труды М.П. Погодина», однажды на вечере у Островского «Филиппова просили спеть. После душевно пропетой им песни, которая на всех произвела впечатление, Григорьев упал на колени и просил кружок усвоить его себе, так как в его направлении он видит правду, которой искал в других местах и не находил». Вполне правдоподобная сцена, экзальтированный Григорьев не один раз публично падал на колени, выражая свои страстные чувства.

Неофит был всегда открыт и доброжелателен, он быстро сблизился с группой Островского и немедленно вошел в «молодую редакцию». Хотя собрания молодых сотрудников должны бы были проходить в просторном доме редактора и издателя По-





Церковь Никиты Мученика на Старой Басманной (построена в 1751 г. предположительно Д. Ухтомским). Григорьев часто приходил к ней ночами мысленно беседовать с покойным дедом, нашедшим близ нее свое первое московское жилье. *Совр. фото.*

Воспитательный дом на Москворецкой набережной (построен в 1764—1770 гг. по проекту К. Бланка при участии М. Казакова). Григорьев провел там первые десять месяцев жизни. *Фото конца XIX в.*





Дом Григорьевых на Малой Полянке в Москве (приобретен А. И. Григорьевым в 1831—1832 гг.; снесен в 1962 г.). *Фото 1915 г.*

Комнаты в южной части мезонина дома Григорьевых, где жил гувернер-француз, а в 1839—1844 гг. — А. А. Фет. Григорьев занимал северную часть мезонина. *Фото 1915 г.*

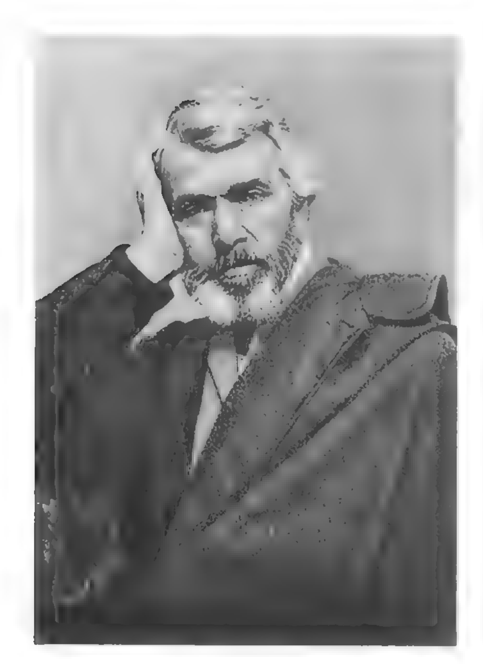




Г. В. Ф. Гегель.



Ф. В. Й. Шеллинг.



Томас Карлейль.



Старое здание Московского университета на Моховой (построено в конце XVIII в. по проекту М. Казакова). *Фото конца XIX в.*

«Приказчики погуливают». *Лубочная картина XIX в.*





А. Л. Гурилев.

Цыганский хор. *Фото конца XIX в.*





Антонина Корш, в замужестве Кавелина. *Фото 1850-х гг.*





Т. Н. Грановский.



В. Г. Белинский.



П. С. Мочалов в роли Мейнау в драме А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». *Литография 1840-х гг.*

Тверская улица в Москве. На ней находилась контора дилижансов; отсюда Григорьев в 1844 г. впервые уезжал в Петербург. *Фото конца XIX в.*



Большой театр в Москве (построен в 1824 г. по проекту О. Бове и А. Михайлова).





А. А. Фет. *Портрет Сливицкой. 1846 г.*



Ап. Григорьев. *Портрет П. Бруни.* На портрете три автографа: «А. Григорьев»; «Доброму другу Александру Славину. Аполлон Григорьев. 1846. Сент. 22» (А. П. Славин — московский и петербургский актер); «Что вам до тайны тех страданий, До фосфорических сияний От гнили, тленья и гробов?» (неточная автоцитата из стихотворения «Тайна скуки», 1843).



В. А. Каратыгин
в роли Гамлета.
Литография конца 1830-х гг.



Большой театр в Петербурге (построен в 1777—1783 гг. Ф. фон Бауром по проекту Л. Тишбейна; в XIX в. перестраивался Ж. Тома де Томоном и А. Кавосом; в конце XIX века разобран, на его месте возведено здание Консерватории). *Рисунок начала XIX в.*

Александринский театр в Петербурге (построен в 1828—1832 гг. по проекту К. Росси).



Площадь перед Адмиралтейством в Петербурге (здание начато постройкой в 1703—1705 гг.; в современном виде завершено по проекту А. Захарова в 1823 г.). *Рисунок 1840-х гг.*



Н. В. Гоголь.
Рисунок
Э. А. Дмитриева-Мамонова. 1852 г.





М. П. Погодин. *Литография 1850-х гг.*



С. П. Шевырев.

Набережная реки Мойки в Петербурге у Поцелуева моста. Слева — казармы Конной гвардии, справа — Юсупов дворец, вдали — Исаакиевский собор. *Литография по рисунку А. И. Шарлеманя 1840-х гг.*



1-я Московская мужская гимназия (открыта в 1804 г. в доме князей Волконских, построенном в середине XVIII в.).





Члены «молодой редакции» «Москвитянина». Сидят (слева направо): Е. Н. Эдельсон (?), Ап. Григорьев, А. Н. Островский, стоит справа Б. Н. Алмазов.

година, но чинный профессор не очень-то зазывал своих помощников, да они и сами не слишком рвались заседать у шефа. Им хотелось простора и воли, поэтому собирались у Островского, у Н.И. Шаповалова, переводчика и режиссера домашних спектаклей. И часто теперь посещали дом Григорьевых. Участник собраний, актер и автор непревзойденных устных рассказов И.Ф. Горбунов вспоминал: «Гостеприимные двери Ап. Ал. Григорьева радушно отворялись каждое воскресенье. «Молодая редакция» «Москвитянина» бывала вся налицо: А.Н. Островский, Т.И. Филиппов, Е.Н. Эдельсон, Б.Н. Алмазов, очень остроумно полемизировавший в то время в «Москвитянине» с «Современником» под псевдонимом Ераста Благонравова. Шли разговоры и споры о предметах важных, прочитывались авторами новые их произведения. Так, Борис Николаевич в описываемое мною время в первый раз прочитал свое стихотворение «Крестоносцы»; Ал. Ант. Потехин, только что выступивший на литературное поприще, свою драму «Суд людской — не Божий»; А.Ф. Писемский, ехавший из Костромы в Петербург на службу, устно изложил план задуманного им романа «Тысяча душ». За душу хватала русская песня в неподражаемом исполнении Т.И. Филиппова; ходенем ходила гитара в руках М.А. Стаховича; сплошной смех раздавался в зале от рассказов Садовского; Римом веяло от итальянских песенок Рамазанова.

Бывали на этих собраниях Алексей Степанович Хомяков, Никита Иванович Крылов, Карл Францевич Рулье. Из музыкально-артистического мира А.И. Дюбюк, И.К. Фришман, певец Бантышев и другие. Не пренебрегал этот кружок и диким сыном степей, кровным цыганом Антоном Сергеевичем, необыкновенным гитаристом и купцом «из русских» Михайлом Ефремовичем Соболевым, голос которого не уступал певцу Марио».

Помимо домашних встреч в собраниях «молодой редакции» большую роль играли известные московские трактиры и винные погребки. Упомянутый М.Е. Соболев был приказчиком находившегося на Тверской улице (на месте современного Главтелеграфа) погребка Зайцева; хозяева владели еще помещением над погребком, где был большой зал, превращавшийся в клуб «молодой редакции» и всех близких ей любителей русского пения. Соболев, как вспоминает другой участник вечеров, писатель С.В. Максимов, «имел соперника только в одном Т.И. Филиппове. Слушать его сходились и такие мастера пения, как старик цыган, родной брат Матрены, восхищавшей Пушкина, — старик купеческой осанки, знавший много старинных былин (я со слов его записал нигде не напечатанную про Алешу Поповича, прекрасную). А заходил он сюда, между прочим, выпить самодельной мадерцы бутылочку и закусить ее, на ус-

ловный московский вкус, либо мятным пряничком, либо винной ягодой. Видывали здесь и Ивана Васильева, известного и в Петербурге содержателя самого лучшего хора (в страхе, смирении и целомудрии), почтенного и всеми уважаемого человека, который и в компании Островского пользовался должным вниманием и любовью».

В свою очередь, молодые люди часто посещали «табор», как называли тогда жилье участников цыганского хора, хотя они давно уже забыли кочевье и снимали приличные московские помещения. О «цыганщине» Григорьева у нас еще будет речь впереди.

Кроме того, друзья собирались в известной для тогдашней московской интеллигенции Печкинской кофейне и очень предпочитали богемный трактир «Волчья долина» у Каменного моста. Приведем еще отрывок из воспоминаний С.В. Максимова: «Тертий Иванович Филиппов в одном из последних своих писем к Горбунову вспоминает о подобном веселом заведении у Каменного моста: «Николка рыжий — гитарист, Алексей с торбаном (инструмент, похожий на гусли и бандуру. — *Б.Е.*): водку запивал квасом, потому что никакой закуски желудок уже не принимал. А был артист и «венгерку» на торбане играл так, что и до сих пор помню». Будучи сам превосходным исполнителем народных песен и в то же время ученым исследователем и знатоком отечественной поэзии, он (Филиппов. — *Б.Е.*) придавал своим выразительным художественным исполнением высокую ценность всем этим перлам родного творчества, отыскивал и пел наиболее типичные или самые редкие, полузабытые или совсем исчезающие из народного обращения (...). Бесплодно силились соперничать с ним два земляка-друга: М.А. Стахович и П.И. Якушкин, пристававшие со своими орловскими песнями, верно передаваемыми по говору и мотивам. Первый, впрочем, восполнял недостатки в пении искусною игрою на гитаре и был неподражаем в пляске».

Песенная стихия и совместное питие сближало людей, Григорьев тянулся к такому быту. Он никогда не был гурманом, был совершенно равнодушен к изысканности питья и закусок, вообще часто забывал об еде. Поэт и библиограф П.В. Быков вспоминал: «Только сильный голод пробуждал Григорьева. Он не ел, а как-то глотал куски». Главное для него было общение с друзьями. Показательно, что человеческое единение сильно ослабляло престижные наклонности Григорьева, комплексы, постоянные сравнения себя с другими по меркам «выше» и «ниже». После индивидуалистических переживаний и многолетних копаний в глубинах личной психологии хотелось общности, «соборности», тем более при растущей тяге мыслителя и

художника к национальному, русскому. Из далекой Италии, тоскуя по родине, Григорьев писал Е.С. Протопоповой 26 января 1858 года о времени «молодой редакции»: «Мне представлялись летние монастырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы, ее крестные ходы и проч. — все, чем так немногие умеют у нас дорожить и что на самом деле полно истинной, свежей поэзии, чему, как Вы знаете, я отдавался всегда со всем увлечением моего *мужицкого* сердца... Все это вереницей пронеслось в моей памяти: явственно вырисовывались то Новинское, то трактир, именуемый «Волчья долина», у бедного, старого, ни за что ни про что разрушенного Каменного моста, где я, Островский, Кидошников — все трое мертвецки пьяные, но чистые сердцем, целовались и пили с фабричными, то Симоновская гора, усеянная народом в ясное безоблачное утро, и опять братство внутреннее, душевное с этим святым, благодушным, поэтическим народом».

Григорьев стал тогда носить «народную» одежду; как иронизировал Фет, — «не существующий в народе кучерской костюм». Красная рубашка-косоворотка с расшитым воротом, черные плисовые штаны, заправленные в сапоги, поддевка — таков этот костюм. Комично, что в гимназию наш народник тоже ходил в таком костюме, только вместо поддевки облачался в форменный синий мундир со светлыми пуговицами. А в 1856 году он щеголял по Москве в таком виде: черный зипун, поддевка с голубыми плисовыми отворотами, красная шелковая рубаха, белые шелковые панталоны.

Вероятно, общение с любителями пения в кабачках обусловили увлечение Григорьева гитарой, более демократическим инструментом, чем фортепиано; он прекрасно освоил «подругу семиструнную»: сам пел под свой аккомпанемент народные песни; не исключено, что он вместе с руководителем цыганского хора Иваном Васильевым участвовал в создании мелодии к своей «Цыганской венгерке».

К середине XIX века русская семиструнная гитара (на Западе распространена шестиструнная) прочно внедрилась в цыганский быт, стала неотъемлемой частью аккомпанемента при пении, и поэтому она играет такую большую роль в григорьевском стихотворении «Цыганская венгерка». Фет вообще считал, что замена рояля гитарой произошла у Григорьева под влиянием его цыганских увлечений.

Единение с народом, душевное братство, питие и пение не с горя, а с радости от этого всеобщего единения... Еще одна утопия захватила увлекающегося Григорьева... Зато с какой страстью, с какой самоотдачей трудился он для «Москвитянина»! Особенно в первые два года. Например, в 1851 году у него

было сверх головы набрано уроков (помимо 13 уроков в неделю в Воспитательном доме и 15 в гимназии, он еще имел 6 частных уроков, то есть всего 34 урока в неделю!), но это не мешало ему еще ежемесячно поставлять в свой журнал около двух печатных листов статей (то есть около 30 журнальных страниц) и почти столько же — художественных переводов в стихах и прозе.

Погодин первое время был доволен «молодой редакцией» — рост подписки на «Москвитянина» ему был очень приятен. Даже самые первые преобразования в журнале увеличили тираж в 1850 году до 500 экземпляров, а в 1851 году — до 1100. Конечно, «Москвитянину» было далеко до толстых петербургских журналов, имевших по четыре-пять тысяч подписчиков, но все-таки возникла заметная тенденция роста, и, конечно же, причиной была деятельность «молодой редакции». Ее взаимоотношения с шефом были тогда доброжелательные. В январе 1852 года Погодин согласился быть крестным отцом второго григорьевского сына, Александра (Петра крестил В.Н. Драшусов). Но часто он «осаживал» раскованную молодежь, опасался цензурных акций. В дальнейшем разногласия стали заметнее.

«МОЛОДАЯ РЕДАКЦИЯ»: ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

Став во главе «молодой редакции», Григорьев больше всего занимался отделами критики, библиографии, театральных рецензий — наиболее ему интересными. Конечно, в меру сил он участвовал и в других отделах: публиковал стихотворения, стихотворные переводы (перевод начала поэмы Байрона «Паризина»), прозаические переводы, среди которых выделяется роман Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Но все-таки главная его роль в тогдашнем «Москвитянине» — литературный и театральный критик.

У Григорьева было немного монографических рецензий, то есть отзывов об отдельных произведениях, его тянуло на обобщения, на обзоры. Надо учесть, что после кончины Белинского (1848) жанр литературного обозрения захирел. Чтобы создавать один за другим крупномасштабные, проблемные годовые обзоры, нужно было обладать большим талантом, уметь выискивать и анализировать какие-то общие магистрали литературного развития, да еще и прогнозировать их дальнейшие пути. Конечно, для такой работы должен был существовать соответствующий литературный материал. А после Белинского началось «мрачное семилетие» с жуткой цензурой, что очень обескровило и «раздробило» литературные потоки, сами художественные произведения как бы захирели и ослабли.

Некоторые журналисты пытались продолжать дело Белинского, то есть по-прежнему публиковать годовые обозрения (вспомним, что и Григорьев — один из создателей статьи «Русская литература в 1849 году» в «Отечественных записках»), но вынуждены были вскоре отказаться из-за отсутствия одного главного критика, а коллективные обзоры, где участвовали сразу пять-шесть человек, оказались никчемными, статьи рассыпались на отдельные кусочки. Постепенно такие крупные статьи стали заменяться значительно более мелкими помесячными обзорами: в каждом номере толстого журнала, выходившего 12 раз в год, давался обзор литературы и журналистики за минувший месяц. Ясно, что месячные обзоры было писать значительно легче годовых: за месяц вряд ли существенно менялись методы, жанры, стили в потоке рецензируемых произведений, не нужно было потуг на выделение общих магистральных путей, на создание общих эстетических концепций, достаточно было перечислить произведения (или номера журналов) и анализировать их по отдельности.

Родоначальником месячного обозрения в период «мрачного семилетия» считался бойкий и умный фельетонист «Современника» А.В. Дружинин, вслед за ним этот жанр стали использовать и другие толстые журналы. Но еще в 1847 году, в «Московском городском листке» Григорьев относительно регулярно помесячно обозревал главные журналы и газеты Петербурга и Москвы. Ему нравился этот жанр, он потом, в 1849-м, рекомендовал Краевскому ввести его в «Отечественных записках». У Погодина в «Москвитянине» ничего подобного не было, ни годовых, ни месячных обозрений, но как только в «молодую редакцию» пришел Григорьев, он сразу же ввел месячные обзоры, решив, что удобнее всего опираться на периодику, да и в самом деле, тогда именно в журналах главным образом, а не отдельными изданиями, печатались романы, повести, драмы, стихотворения, да еще в журналах часто публиковались ценные статьи на различные гуманитарные темы, которые тоже было интересно проанализировать.

И с января 1851 года в «Москвитянине» почти в каждом номере стали публиковаться обзоры журналов (иногда и газет); когда рецензенты запаздывали, то они брали для одной статьи сразу несколько номеров журнала-объекта, когда обозревали более или менее регулярно, то рассматривался всего один последний номер соответствующего журнала. Григорьев распределил журналы среди главных участников «молодой редакции»: сам он обозревал «Современник» и «Репертуар и пантеон», Е.Н. Эдельсон — «Отечественные записки», Т.И. Филиппов —

«Библиотеку для чтения» (с 1852 года Григорьев почему-то поменяется с Филипповым журналами).

Конечно, можно было и в таких «дробных» статьях высказывать свои общие представления об эстетике, о художественности и т. д., но Григорьеву этого было мало, и он решил в «Москвитянине» возродить любимый жанр Белинского — годовой обзор. В начале 1852 года в журнале появилась его статья «Русская литература в 1851 году», а через год — «Русская изящная литература в 1852 году».

Уже в первой статье Григорьев пунктирно наметил основные принципы, которые будут главенствовать в его мировоззрении периода «молодой редакции». В начале статьи он себя прямо называет сторонником исторической критики, то есть критики Белинского (имя Белинского ведь было тогда под цензурным запретом, его нельзя было называть); миросозерцание писателя обусловлено «временными и местными историческими обстоятельствами», и это должен учитывать и анализировать критик. Но законы изящного — вечны, а именно этими вечными категориями измеряются достоинства временного, частного. Здесь прощупывается полная аналогия с более поздними декларациями критика в сфере этики: существуют вечные моральные законы (понимаемые, конечно, как христианские заповеди), которыми судится все преходящее. Собственно говоря, уже в ранних «москвитянинских» статьях Григорьева наблюдается сотнесение эстетических и нравственных принципов.

Так, уже в первой обзорной статье главным критерием искусства объявляется «искренность» писателя, а ведь искренность можно рассматривать и с эстетической, и с этической стороны. И еще одна важная деталь. Среди принципов «молодой редакции» весьма важную роль играла объективность писателя, почему критиковались субъективистские капризы автора, его вмешательство в повествование и т. д. Этот крен очень заметен в статьях Островского, о которых уже говорилось (может быть, Островский потому и избрал деятельность драматурга, что в пьесах включение автора в повествование сведено к минимуму?). Григорьев как будто бы тоже противник писательских капризов и вторжений в текст, но его юная романтическая закваска, которая усиливала внимание к роли писателя и месту писателя в тексте произведения, не будет потеряна и в период «молодой редакции», а далее она станет еще заметнее; при анализе произведений критика всегда будет интересовать мировоззрение писателя и его *отношение* к своим персонажам и коллизиям; как подчеркивал Григорьев, деятельность всякого истинного художника состоит из двух элементов — «субъективного, или стремления к идеалу, и объективного, или способности

воспроизводить явления внешнего мира в типических образах». Критик старался осветить эти оба элемента.

Утопические мечты членов «молодой редакции» о возможностях, говоря нашим языком, классового мира, возможностях безболезненного, бесконфликтного сближения с народом, и — соответственно — рост недовольства по поводу «капризов» личности, по поводу всяких напряжений, протестов, конфликтов — все это воплотилось в статьях Григорьева в виде суровой критики тех литературных сфер и направлений, которые были очень дороги Белинскому: линия Лермонтова и «натуральная школа», идущая от Гоголя. Постепенно и сам Гоголь низводился с высокого пьедестала за свою напряженность и мучительные метания, а уж его продолжатели тем более осуждались за мелкотемье, за внимание к болезненной личности и, о чем Григорьев говорил еще в статьях и письмах к Гоголю в 1847 году, за фатализм, за перекладывание причин и ответственности с человека на среду, на судьбу.

Важно, что он критиковал не только «второй» ряд «натуралистов» (Бутков, Гребенка, Даль), но добирался и до вершин: доставалось Тургеневу, Гончарову, Некрасову, Достоевскому.

Положительная программа критика — требование примириться с жизнью и искать в ней светлые стороны; правда, эти требования сопровождаются оговоркой, что в них не следует усматривать «грубое служение действительности и неразумное оправдание всех явлений». Нужно приблизиться к простому народу, к «простым началам». Григорьев критикует поэму И.С. Тургенева «Помещик» за ироническое описание провинциальной «простоты»: «Удивительная вообще была вражда к простору и, главное дело, к здоровью (...). Случалось ли автору попадать, например, на провинциальный бал, ему становилось несносно видеть здоровые и простодушные девические физиономии (...). Качества веселости, доброты и здоровья особенно не нравились авторам: они непременно отыскивали (...) *робкого* и *немого* ребенка, которого благословляли на страданье».

Но ведь Григорьев здесь не только Тургенева бранил, но и себя семилетней давности, он как бы повторял критический пассаж покойного Вал. Майкова в защиту простоты и здоровья против романтических болезненных героинь.

А вершиной русской литературы, сменяя Гоголя на пьедестале, становился Островский: «У Островского, одного в настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вместе идеальное миросозерцание, с особенным оттенком, обусловленным как данными эпохи, так, может быть, и данными натуры самого поэта. Этот оттенок мы назовем, нисколько не колеблясь, коренным русским миросозерцанием, здоровым и спо-

койным, юмористическим без болезненности, прямым без увлечений в ту или другую крайность, идеальным, наконец, в справедливом смысле идеализма, без фальшивой грандиозности или столько же фальшивой сентиментальности».

Женственной натуре Григорьева всегда нужен был образец, эталон, кумир, с которым соразмерялось бы уже все остальное. В сороковые годы таким образцом был для критика Гоголь, в период «молодой редакции» — Островский, а потом, до самой кончины, — Пушкин. Но душевно самым близким и любимым был, конечно, Островский, о ком Григорьев мог с искренним восторгом писать в «Послании к друзьям моим»:

... души моей кумир,
Полу-Фальстаф, полу-Шекспир,
Распутства с гением слепое сочетанье.

Позднее, уже при Пушкине-кумире, Григорьев будет сожалеть, что в Островском нет «примеси африканской крови к нашей великорусской» (письмо к Н.Н. Страхову от 19 октября 1861 года). Но тогда критик будет ратовать не только за «спокойное» творчество, но и за тревожное, «хищное» начало. В «москвитянинский» же период Островский был идеалом.

Особенно подробно Григорьев охарактеризовал творчество драматурга в специальной программной статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» («Москвитянин», 1855). Здесь он как бы окончательно за весь период «молодой редакции» поставил точки над «і» в понимании народности писателя, отождествив народное с общенациональным. Народность как отражение черт или интересов народа в социальном смысле (трудового, простого, крестьянства и городских низов) Григорьев не считает нужным рассматривать, это понятие «нам совсем и не нужно, во-первых, потому, что нет существенной разрозненности в живом, свежем и органическом теле народа».

Конечно, в период «мрачного семилетия», когда классовые конфликты были приглушены, иллюзия общенародного, общенационального единения имела жизненные основания, было легче создавать утопические мечты о всеобщем примирении. К тому же национальное как историческая категория, наряду с социальными областями, имело право быть объектом литературного, а затем и критического анализа. В России XIX века эта категория всегда всплывала на поверхность в кризисные времена, когда появлялась иллюзия общенационального движения и общенациональных интересов: тогда она становилась пищей для философов, историков, публицистов, художников. В эпоху «мрачного семилетия» «всплывание» было не такое сильное, как во время 1812 года или Русско-турецкой войны 1877—1878

годов, но все-таки достаточно заметное. А Островский был, в самом деле, одним из тех выдающихся писателей, который постоянно решал национальные проблемы. То, что он их решал главным образом на материалах из жизни русского купечества, мещанства, способствовало усиленному вниманию эстетиков и критиков уже не просто к национальным, а к национально-социальным сферам. Особенно это было важно для Ап. Григорьева, сделавшего купечество, а не крестьянство, главным представителем народности.

Тут, кстати сказать, возникало серьезное противоречие. Как будто в общенациональном сливались все сословия, все индивидуумы. Но если купечество наиболее народное сословие, значит, не все одинаковы? Мыслитель пытался побороть это противоречие диалектикой: дескать, купечество — сословие, наиболее глубоко отражающее общенациональные начала; оно и частное, и часть общего. Еще: Григорьев постоянно говорил о демократизме; а можно ли распространять это понятие на бар, на чиновников, на придворных? Какие уж там демократы! Так что под желанием всех объединить таилась подспудно и различительная тенденция. Подобные противоречия часто возникали у Григорьева, иногда он их замечал, иногда спохватывался впоследствии.

Рядом с программной статьей об Островском располагается другая значительная статья Григорьева «москвитянинского» периода — «Русские народные песни. Критический опыт. Статья первая» (1854). Второй статьи не последовало. Но в сильно переработанном и дополненном виде этот труд был опубликован шесть лет спустя в «Отечественных записках» под заглавием «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны».

Под влиянием активных исследователей и публикаторов фольклора, своих приятелей М.А. Стаховича и П.И. Якушкина Григорьев в «москвитянинскую» пору серьезно занимался собиранием народных песен и баллад. Когда позднее (1860) Якушкин публиковал в «Отечественных записках» свое большое собрание народных песен, он отмечал не только личные находки, но и подарки друзей, в том числе и Григорьева, который дал из своего собрания Якушкину 25 произведений (духовные стихи, исторические песни, солдатские, лирические, свадебные и величальные песни). Некоторые из этих песен, как сообщалось в примечаниях, записаны «от цыгана Антона Сергеева» или просто «у цыган». В том же 1860 году Григорьев вместе с другим своим приятелем композитором К.П. Вильбоа (в дружеском кругу именовавшимся «Вильбуй») издал десять обрядовых и лирических песен с нотами: «Русские народные песни, записанные

под пение и аранжированные для одного голоса, с аккомпанементом фортепиано...» В подзаголовке стояло «Тетрадь 1», но, как часто бывало у Григорьева, продолжения не последовало.

Оба варианта статьи «Русские народные песни...» — творческие, многоплановые, они представляют большой интерес для истории отечественной фольклористики. Отметим самые важные для общей концепции автора идеи: песни — продукт общенародного творчества, а не индивидуального; большое значение для исполнения песен имеют хоры и хороводы, они придают песням эпический характер, выражая «народное миросозерцание». Григорьев, однако, высказывает глубокую мысль: хороводные игры — это первые попытки перевести эпическое в драматическое. Может быть, при этом думал и о цыганских хорах? Он не знал, что к драматизму в них совсем с другой стороны подбирался А.И. Герцен в дневниковой записи от 1 мая 1843 года: «Музыка цыган, их пение не есть просто пение, а драма, в которой солист увлекает хор — безгранично и буйно». В эпической «соборности» уже начинали просматриваться драматические начала, а Герцен отмечал еще и индивидуальные.*

В период формирования «молодой редакции» главные ее члены идеологически и эстетически сблизились довольно прочно. Объединил всех Островский: как уже говорилось, все участники единодушно ставили его на первое место в русской литературе, а затем всех объединила любовь к народному быту, к фольклору и, соответственно, враждебное отношение к западничеству и к «натуральной школе», понимаемой как «натурализм» в самом дурном смысле слова.

А потом, к 1852—1853 годам, появились некоторые разногласия, сотрудники от «соборности» стали переходить к индивидуальным различиям. Эдельсон постепенно все более рьяно начинал пропагандировать «чистое искусство». Весьма идейными товарищами это воспринималось без всякого энтузиазма; зато побочная ветвь «чистого искусства», идеализация, особенно перенос ее в национальную сферу, и внимание к «коренным и самостоятельным свойствам русской природы», нашедшим самое полное развитие в «купеческом сословии», сближали Эдельсона с Григорьевым.

Сильнее всех отдалился от товарищей Т.И. Филиппов, у которого заметно вырастала внешняя религиозность; он переходил на позиции официального православия, начинал делать карьеру.

Наиболее буйным и потому оригинальным был самый молодой из группы Б.Н. Алмазов (родился в 1827 году), младший однокашник Филиппова по словесному отделению Московского университета. Он сразу стал известен бойкими фельетонами,

где издевался над догматизмом и славянофилов, и западников, ратовал за простоту и естественность, противопоставлял Гоголя как субъективного писателя и гиперболизатора Островскому, объективному художнику, «математически верному действительности». Но довольно быстро, в 1852 году, Алмазов пережил какой-то кризис и явно потускнел, остепенился, в его статьях появились оттенки морализаторства.

Григорьев видел эти расхождения. В письме к Эдельсону от 13 ноября 1857 года, как бы подводя итоги минувшему, он так характеризовал разногласия: «... вы (т.е. ты, Филиппов и Островский, и Борис ⟨Алмазов⟩) с комическою и тогда для меня важностью, с детскою наивностью говорили, что надобно условиться в принципах, как будто принцип так вот сейчас в руки дается? Я сказал тогда, что не время, пока — удовольствуемся одним общим: «Демократизмом» и «Непосредственностью». Оказалось, что только это и было общее, да и от этого пошли в стороны, так что в *строгой* сущности только Островский и я остались верны тому и другой и в *чувстве*, и в *сознании*. Ты, верный невольно в чувстве, в сознании весьма часто уклонялся и уклоняешься; Борис никогда не имел демократического чувства — и по странной иронии своего юродства — в *сознании* шел дальше всех. Тертий ⟨Филиппов⟩ ... но если б ты знал, до чего и сколь основательно развилась во мне вражда к официальному православию, в которое он ушел, — и он для меня член окончательно отсеченный ...»

Но это понимание пришло уже после развала «молодой редакции», а в первые годы Григорьев пытался затирать трещины, слеплять расходящееся. Но это было не так просто, индивидуальные начала оказывались сильнее соборных. То Григорьев взорвался обидой на Островского, который без согласования исправил стилистически несколько фраз в статье товарища (Григорьев терпеть не мог, когда кто-либо вмешивался в его текст). То почему-то к 1853 году Филиппов не стал обозревать журналы: сам ушел? или товарищи отказались от его услуг? А тут еще в том же году произошла неприятная история: Филиппов посватался к дочери Погодина, а отец отказал без всяких надежд, — очевидно, расчетливому профессору такой зять не казался завидным. Филиппов демонстративно ушел из журнала, как бы порвав и с «молодой редакцией». О некоторой обособленности Эдельсона и Алмазова уже говорилось. Да и у Григорьева не все шло гладко. Постоянно возникали большие и малые конфликты с Погодиным. Тот, желая быть единоличным хозяином журнала, со своим другом-то С.П. Шевыревым не всегда ладил, а к младшим он тем более относился свысока. Хотя как будто бы Погодин и передоверил им целый ряд отделов

журнала, но все-таки он постоянно вмешивался: или правил тексты членов «молодой редакции», или корректировал их статьи какими-то своими примечаниями.

А однажды Погодин поступил по отношению к Григорьеву настолько некрасиво, что лишь покладистость последнего да еще его давняя привязанность к профессору (не забудем еще, что Погодин — крестный отец сына Григорьева) остудили ярость обиды и не привели к разрыву. История такова. В январе 1854 года с громадным успехом состоялась в Москве премьера пьесы Островского «Бедность не порок». Григорьев неоднократно в своих последующих статьях восхищался пьесой и московскими спектаклями, особенно — исполнением выдающимся артистом Провом Садовским роли Любима Торцова, образа, чрезвычайно близкого критику из-за стихийности, «метеорности» характера. Одновременно в Москве гастролировала знаменитая трагическая актриса Рашель. Прима парижского театра «Комеди франсез», она много гастролировала по Европе и Америке, добралась и до России. Носительница традиций французского классицизма, она и в репертуаре имела главным образом трагедии Корнеля и Расина. Западническая интеллигенция с бурным восторгом встречала именитую гостью. Но Григорьев, воспитанный в юности на романтическом Мочалове, а потом без колебаний принявший «натуральную» московскую школу Щепкина и Садовского, смотрел на искусство классицизма как на холодное, неестественное, а главное — чужое, ничего общего не имеющее с отечественными идеалами, с «новым словом» Островского. И ему хотелось дать яростный отпор поклонникам Рашели и противопоставить французской трагедии русскую бытовую драму.

Поэтому наш театральный критик пишет не статью, а стихотворную «элегию-оду-сатиру» (так жанр обозначен в подзаголовке) «Искусство и правда» (первоначальное название: «Рашель и правда»), с эпиграфом из Лермонтова: «О, как мне хочется смутить веселость их /И дерзко бросить им в лицо железный стих, /Облитый горечью и злостью!». Большое стихотворение, почти поэма, состоит из трех частей. Элегическая первая часть посвящена восторженным воспоминаниям об игре Мочалова:

Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила...
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей...

Вторая часть, ода, — такой же дифирамб по поводу постановки пьесы «Бедность не порок» и игры любимого артиста в любимом образе:

Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетела.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.

А сатира, ясно, — о спектаклях Рашели: «фальшь», «нет живого чувства», «ходульность», «там правды нет, и жизни нет...». Григорьев не любил оговорок и культурного лицемерия, говорил, что думал.

Погодин, наверное, сильно колебался, разрешить публикацию такого «скандального» произведения или запретить. Через него стихотворение было послано на отзыв к старшим славянофилам. Очень интересно отчетное и «рецензионное» письмо Ю.Ф. Самарина к Погодину: «Возвращаю Вам стихи Григорьева. Они были прочтены на вечере у Киреевского. Вот и суждение присутствовавших: Киреевский говорит — напечатать; Хомяков решительно противится печатанию, находя крайне неуместным отзыв о преуспеянии Искусства и Науки *под державной сению* в то время, когда нельзя напечатать второй части «Мертвых душ», ни перепечатать первой. С моей стороны, я нахожу, что первая часть отличается искренностию и свежестию впечатления первой молодости. Во второй части меня поражает неприятно прямой переход от Мочалова к Островскому и Садовскому. Ниже́ полслова о Гоголе, который родил Островского. Щепкин тоже забыт. Вместо благодарности обоим и вечной памяти первому, в конце второй части, Бог знает из какой стати, задеты *завистливые хохлы*. Этот стих просто оскорбителен — не для хохлов, а для нас. Что до третьей части, то многое можно бы сказать и pro и contra. Все, что сказано о подражательности и господстве моды, почувствовано искренно и сказано очень остроумно; но не знаю, до какой степени кстати. Не видавши Рашель, я не могу сказать, можно ли в ее лице карать *фальшь* и *ложь* в искусстве. Если справедливо то, что пишет Анненков в письме к Щепкину, то едва ли справедливо ставить ее на одну доску с штукером Рислеем. Вообще мне кажется, что *повод* к нападению на подражательность и фальшивость, как в искусстве, так и в увлечении публики, избран неудачно. Рашель сделалась невинною жертвою чужих грехов».

Григорьев кое-что исправил после такого отзыва, например, в печатном тексте нет ни слова о процветании искусства и науки «под державной сению» и нет никаких «хохлов», но оставил

сравнение Рашели с балетным «штукером» Рислеем, который в танце «детей наверх бросает». Погодин опубликовал все-таки «Искусство и правду» в «Москвитянине» (январь 1854 года), однако уже в следующем номере, под впечатлением насмешек и негодования многих, заявил, что это было «случайное стихотворение», и «с удовольствием» поместил две эпиграммы, одна из которых, М.А. Дмитриева, особенно хамоватая:

Вы говорите, мой любезный,
Что будто стих у вас железный!
Железо разное. Цена
Ему не всякому одна!
Иное на рессоры годно;
Другое в ружьях превосходно;
Иное годно для подков:
То для коней, то для ослов,
Чтоб и они не спотыкались!
Так вы которым подковались?

Григорьев ярился, мало ему было насмешек и издевок над «новым словом» Островского, печатавшихся в чужих журналах, а тут в своем получать пощечины! Он не порывал, подобно Филиппову, с «Москвитянином», но ослаблял свою деятельность, в 1853—1854 годах иногда по нескольку месяцев не участвовал в журнале. И атаковал Погодина гневными письмами, особенно когда тот вмешивался, вставлял в григорьевские статьи в списках уважаемых писателей своих любимцев, например, того же Дмитриева, или даже заменял бранимые фамилии на другие. Из письма Григорьева к Погодину от 23 февраля 1853 года: «... почему заменено в одном месте позорное имя Федьки Булгарина именем все-таки более достойным уважения, — Н. А. Полевого: неужели потому только, что Федька служит кое-где, а Полевой — покойник?» Надо сказать, что Погодин не оставался равнодушным к такому возмущению, например, по поводу приведенных упреков он записал в своем дневнике: «Предосадное письмо от Григорьева — и расстроился». Однако продолжал поступать по-своему. Натуру не исправишь.

Григорьев несколько раз пытался, помимо основной преподавательской работы, найти более надежный приработок: то он прослышал о вакантном месте инспектора в соседней гимназии или в другой гимназии месте учителя истории, то освободилась должность редактора «Московских ведомостей». Хлопотал, просил содействия у того же Погодина, но ничего не получалось. Неизвестно еще, давал ли соответствующие положительные характеристики своему помощнику осторожный шеф...

Относительно «Москвитянина» у Григорьева тоже зрели фантастические планы: в 1855 году он стал регулярно уговаривать Погодина предоставить ему *диктаторские* права или должность вице-редактора, чтобы безраздельно возглавить «наши отделы», то есть «стихи, словесность, критические статьи, оригинальные и переводные по литературе, истории вообще, эстетике, статьи о русском быте и вообще о славянском»; правда, Григорьев оговаривался, что он выступает не единолично, а как представитель прежней, распадающейся «молодой редакции». Далее он обусловливал своей группе «право похерить в иностранных известиях и в смеси то, что не согласно с нашим взглядом, т.е. и с Вашим». Еще любопытная добавка: «... статьи С.Т. Аксакова, А.С. Хомякова, С.П. Шевырева, М.А. Дмитриева и некоторых других моей цензуре не подвергаются».

Подписка на «Москвитянин» опять стала падать; как и в сороковые годы, она опустилась до двух сотен «пренумерантов», как тогда называли подписчиков. Погодин опять колебался: и решительно отказать боялся, и уступать Григорьеву чуть ли не три четверти журнальной площади не хотел. Тянул. А Григорьев все-таки свято верил, что уговорит шефа! И составил уже для себя и коллег по литературной критике любопытное «Окружное послание о правилах отношений критики «Москвитянина» к литературе русской и иностранной, современной и старой». Здесь выделены «свои» писатели: Островский, Писемский, Потехин, Стахович. Надо воздерживаться, говорил автор, от указаний на их промахи, тем более что настоящие их промахи «посторонним не видны». Драмы Островского — «новое слово», то есть старое, связанное «с допетровскою литературою, духовною и гражданскою, письменною и устною»; происхождение «своей» литературы надо вести «по прямой линии от идей Карамзина в последние года его и от зрелых идей Пушкина, в котором и надо, очевидно, для всех представить истинного отца прямых, чистых отношений мысли и чувства к народному быту» (у Григорьева уже начинали зреть идеи будущих статей о Пушкине). А упреки критиков по отношению к пьесам Островского, что развязки неожиданны и случайны, «проистекают из источника вражды к коренной черте русской натуры: к отходчивости сердца, к отсутствию упорства в злобе, ко всегдашней готовности к примирению, к вере в Промысл».

А применительно к «чужой» литературе, к произведениям «натуральной школы» и близких к ней писателей Григорьев предлагает основательно убеждать, что «пошедшие теперь в ход психологические анализы ощущений детства (явный намек на Л. Толстого! — *Б.Е.*), тонких любвей» — в сфере искусства «одно праздношатательство, а в жизни болезненность».

В научных трудах Григорьев выделяет как «свои» — «важные, самостоятельные по части изучения русского быта или даже западной истории и статистики, но с русской точки зрения»,

а западнические научные работы предлагает «бичевать насмешкой». «Где не хватит специальных сведений — брать правдою чувства — чувство вывезет». А заключает свою программу Григорьев требованием решительно бороться с западниками и невеждами: «церемониться нечего: валяй в дубье!»

Но бодливой корове Бог рогов не дает. Погодин никак не уступал. А «Москвитянин» падал. Григорьев погружался в тяжелый духовный и душевный кризис. Мало ему было всех несчастий журнальной работы, он еще несколько лет был бесповоротно и безнадежно влюблен — об этом у нас пойдет речь в следующей главе. И, как всегда, он все больше и больше запутывался в долгах. Пока не было никаких шансов на какой-то типичный для него побег, некуда было притулиться, тогда он придумал тоже типичный по безумию план: продать отчий дом! Мать к тому времени скончалась, но как он мыслил устроить дальнейшую жизнь для стареющего отца, для жены с двумя детьми — совершенно непонятно. Другой вариант как будто бы более реальный, но тоже достаточно безумный: попросить у Погодина под залог дома 2500 рублей серебром, чтобы обеспечить себе несколько лет спокойной (!) творческой работы, нанять для жизни своей и семьи (ага, все-таки рассчитывал жить с семьей!) какой-то старый дом Погодина, а свой собственный сдавать в наем...

Но сколько недель или даже дней хранились бы у Григорьева эти деньги, видно из того же письма к Погодину (середины 1855 года), где он развивал этот фантастический план: «Не скрою от Вас, что из 2500 рублей, — пятьдесят, даже семьдесят пять, пошли бы на гульбу (вспомните психологию и одно лицо островской комедии), что дней с пять Марьина роща, заведение на Поварской и заведение у Калужских ворот поглощали бы существование Вашего покорнейшего слуги и его друзей, ибо Ваш покорнейший слуга, хотя сам и не пьющий, но любит поить на славу, любит цыганский табор, любит *жизнь*, одним словом, любит до сих пор, как юноша, хоть ему тридцать два года, так что отчасти с него рисован был Петр Ильич новой драмы Островского». Имеется в виду разгульный герой пьесы «Не так живи, как хочется» (1855). Наивный человек наш Аполлон! Он был искренне убежден, что на пять дней грандиозных кутежей ему хватило бы 75 рублей! Конечно же, ухнули бы в тех «заведениях» все его денежки и опять бы он сидел у разбитого корыта. Погодин, разумеется, не дал ни копейки. Но Погодин жадничал отпускать средства и на «Москвитянин».

К середине пятидесятых годов Григорьев уже был известным критиком и поэтом. И он поглядывал на другие журналы, и на него поглядывали оттуда. Тем более что смерть Николая I в феврале 1855 года и восшествие на престол его сына Александра II, будущего царя-освободителя крестьян, социальное и культурное оживление в стране, появление новых журналов и газет создали для нашего страдающего от малой продуктивности деятеля новые возможности. С 1856 года, наконец, стал выходить славянофильский журнал «Русская беседа». Его редактор-издатель А.И. Кошелев, собирая родственные силы, обратился к Григорьеву, который, видимо, обрадовался приглашению, но заранее обрисовал все мировоззренческие расхождения между собой как представителем «молодой редакции» «Москвитянина» и славянофилами, да еще потребовал себе в безраздельное пользование отдел критики и библиографии. Ясно, с этим не могли согласиться славянофилы, руководители «Русской беседы» — Кошелев, Хомяков, И. Аксаков. Поэтому дело кончилось лишь эпизодическим участием Григорьева в журнале, опубликованием его теоретической статьи «О правде и искренности в искусстве».

Летом 1856 года Григорьев подружился на подмосковной даче в Кунцеве с совсем было «чужими», западнически настроенными литераторами, близкими к некрасовскому «Современнику» — В.П. Боткиным и А.В. Дружининым (там же он познакомился с Л. Толстым). Эти убежденные либералы, недовольные растущим влиянием в журнале радикального Н.Г. Чернышевского, хотели противопоставить ему куда более близкого к ним Григорьева и пытались быть ходатаями за него, быть посредниками между ним и Некрасовым. Но Григорьев, не колеблясь, по принципу «два медведя не уживутся в одной берлоге», ультимативно потребовал от руководителей «Современника» убрать Чернышевского. Некрасов не пошел на такой шаг; он далеко не во всем был согласен с Чернышевским, но, хорошо ориентируясь в «прогрессивных» предреформенных настроениях публики, не хотел отказываться от ставшего ведущим молодого критика и публициста. Опять неудача. Впрочем, ценя талант Григорьева-поэта, Некрасов позже, в 1858-м и 1859 годах, опубликовал его поэму «Venezia la bella» и перевод поэмы Байрона «Паризина».

А сближение Григорьева с Дружининым помогло ему тоже в смысле дальнейших публикаций. Дружинин с 1856 года возглавил известный толстый журнал «Библиотека для чтения», где через год напечатал григорьевский перевод комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», а еще через год — давно полученную его статью «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства». Эта статья — итоговая, как бы программа эстетических воззрений автора на конце «москвитянинского» периода. Такими же итоговыми в социально-полити-

ческой области были два письма Григорьева той поры, одно — ответ Кошелеву на приглашение в «Русскую беседу» (от 25 марта 1856 года), другое — к Погодину (весна 1857 года).

В интереснейшем письме к Кошелеву Григорьев, признавая общность главных принципов (православие и самобытность России), откровенно изложил свое представление о разногласиях между славянофилами и членами «молодой редакции» «Москвитянина»: «Главным образом, мы расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука (...). В отношении к взгляду на народность различия наши могут быть, как мне кажется, формулированы в двух следующих положениях: 1) Глубоко сочувствуя, как вы же, всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского перед прочими и, следственно, здесь более исключительны, чем вы, — исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно в отношении к началам ляхитскому и хохлацкому. 2) Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью...».

Замечательным расширительным комментарием к этому тексту служит и письмо Григорьева к Погодину: «*Правда*, которую я исповедаю (да, кажется, и Вы), твердо верит вместе с славянофилами, что спасение наше в хранении и разработке нашего *народного*, типического; но как скоро славянофилы видят *народное* начало только в одном крестьянстве (потому что оно у *них* связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России, — как скоро славянофильство подвергает *народное* обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала — так славянофильство, во имя сознаваемой и исповедуемой мною правды, становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно как *барство* с одной стороны и пуританство с другой.

Правда, мною (да, кажется, и Вами) сознаваемая и исповедуемая, ненавидит вместе с западниками и сильнее их деспотизм и формализм государственный и общественный, — но ненавидит западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство, *утонченный* разврат, эмансипированный блуд и т. д. Кроме того, она не примирится в западничестве с отдаленнейшею его мыслию, с мыслию об уничтожении народностей, цветов и звуков жизни, с мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров *блаженной памяти* и⟨мператора⟩ Н⟨иколая⟩ П⟨авловича⟩ незабвенного, и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же.

Как с славянофильством, так и с западничеством расходится исповедуемая мною правда в том еще, что и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлективные, а она (...) порождение жизни. Положим, что мы и точно порождение трактиров, погребков и б⟨орделей?⟩, как звали Вы нас некогда в порыве кабинетного негодования — но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или лучше чутьем жизни, с неистощимою жаждою жизни. Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ».

В этих двух письмах сконцентрирована основная суть григорьевского социально-политического мировоззрения середины пятидесятых годов. Идеолог пытается заручиться солидарностью Погодина, но на самом-то деле не только шеф, но и друзья по «молодой редакции» отнюдь не во всем были согласны с Григорьевым.

Что, может быть, объединяло всех — это глубокая любовь к России, доходящая у Григорьева даже до национализма, когда он рассуждает о «превосходстве начала великорусского перед прочими». Тогда он вполне мог произнести фразу, которую вкладывает ему в уста Е.М. Феоктистов в воспоминаниях о той эпохе: «...славянофилам хотелось бы почистить и пригладить народ, а мы берем его, как он есть, для нас и жулик получше любого заморского чухонца». «Жулик» для Григорьева был своеобразным положительным противовесом мещанству и рационализму. В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) он говорит, что «для нас, русских» добрые люди сами по себе еще не образец: «Мы любим в них смышленость, здоровый ум, известный юмор — соединенные с добротою. Мы скорее за означенные качества легко перевариваем в человеке примесь маленькой грязцы, дряни, мошенничества, — нежели уважим тупоумие за одну доброту».

А высокомерие к другим народам, особенно — по отношению к украинцам и полякам, вскоре исчезнет у нашего мыслителя. В некрологе Т. Шевченко (1861) он даст такую характеристику покойному: «первый великий поэт новой великой литературы славянского мира». А в 1863 году, во время польского восстания, он напечатает статью «Вопрос о национальностях», где будет доказывать права каждой нации «на самобытность существования», на свой язык, свою культуру. Но это — несколько лет спустя.

Ратуя за сохранение национальных начал, Григорьев в то же время четко определяет, что именно народ содержит в себе основные черты и свойства национальной жизни, в противовес удалившимся от народа «барам», неважно — славянофилам или западникам. Народ же для мыслителя не крестьянство, а городская публика в виде промышленников и купцов. В других высказываниях содержится объяснение такой точки зрения: Григорьев считал крестьянство (как и барство!) опутанным крепостным рабством, поэтому утратившим социальную и нравственную свободу.

В приведенных цитатах Григорьев ни слова не сказал о духовенстве. Дело в том, что его отношение к этому сословию в ту пору было весьма сложным. В период «молодой редакции» он окончательно вернулся в лоно православия, преклоняясь перед многовековой народной традицией, утверждая, что православие истинно демократическая религия. Но он отделял традицию и народную веру от официальной церкви, считал, что петровские чиновничьи преобразования церкви приобщили ее к государственному бюрократизму. Отсюда его раздражение по поводу эволюции Т. Филиппова («до чего и сколь основательно развилась во мне вражда к официальному православию, в которое он ушел»), его чрезвычайно резкие суждения по поводу «богопротивных брошюрок Святейшего Синода, церкви, *иже о Христе жандармствующих*» (письмо к Погодину от 11 мая 1859 года). С другой стороны, Григорьев с величайшим уважением относился к нестандартным религиозным мыслителям вроде архимандрита Феодора (Бухарева), безуспешно пытавшегося засыпать пропасть между мирской жизнью и православной церковью (Феодор, видный профессор Московской духовной академии, за его внимание к «светской» литературе, журналистике, за дружбу с Гоголем подвергался немилости митрополита Филарета, цензурным запретам, ссылался — и в конце концов снял с себя монашеский и священнический сан).

В приведенной цитате о западниках комично выглядят упреки в идеализации разврата и блуда, если учесть отвращение большинства видных западников от сексуальной распущенности (надо из этого ряда исключить Боткина и Дружинина) и, наоборот, весьма разгульную бордельную жизнь многих членов «молодой редакции» «Москвитянина». Несправедливо также упрекать либеральных западников в пропаганде «социальной блузы» и фаланстера: они были решительные противники коммунистических принципов. Кого из западников стоило упрекать, это радикальных демократов типа Чернышевского, да Григорьев и увидел позднее их связь с французским утопическим социализмом (из его письма к А.Н. Майкову от 24 октября 1860 года: «...к церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество»; груши для Григорьева — символ сада при фурьеристском фаланстере). А в чем Григорьев прав — это в подчеркивании космополитических, антинациональных идеалов западников.

Наш националист, отталкиваясь от западников, тем не менее прекрасно ориентировался в западноевропейской культуре, он постоянно штудировал классические труды философов, прочитывал новейшие художественные произведения, и нельзя думать, что он все это высокомерно презирал. Правда, он стал более свободно и сурово, по сравнению с сороковыми годами, относиться к Гегелю. Отдавая дань уважения великому немецкому философу, Григорьев не любил его жестких схем, «деспотизма теории», справедливо усматривал противоречия в грандиозных построениях Гегеля, например, с одной стороны, утверждавшего вечное и бесконечное развитие, а с другой — видевшего вершину социально-политического развития человечества — в прусской монархии. Вот такую произвольную остановку развития Григорьев усматривал у философа и там, где ее и в помине не было. Например, он часто повторял в стихах цитату из Эзопа (на латинском языке): «Hic Rhodos, hic salta!» (то есть «Здесь Родос, здесь и прыгай!») как образец гегелевского поклонения «минуте» и произвольной задержки «бесконечно несущегося» времени. Гегель в самом деле в «Философии права» вспоминает эту фразу из Эзоповой басни «Хвастун». В этой басне хвастливый пятиборец уверял, что в Родосе он совершил громадный прыжок и призывал ему поверить; тогда один слушатель предложил ему просто повторить рекорд: пусть тебе здесь будет Родос, здесь и прыгай! Гегель приводит эту цитату, говоря о необходимости не фантазировать о желаемом или должном, а изучать то, что дает действительность. Григорьев же истолковывает ее иначе: как призыв к тому, чтобы искусственно, насильственно задержать постоянно движущийся поток жизни.

В то же время идея гегелевского детерминизма, то есть обусловленности всех явлений окружающими их обстоятельствами, идея, взятая на вооружение Белинским и «натуральной школой», истолковывалась Григорьевым как фатальная, то есть снимающая с человека ответственность за поступки, сваливающая все недостатки на «среду», следовательно, как аморальная.

Вообще, в «москвитянинский» период Григорьев любое учение, основанное на теоретических обобщениях, воспринимает как враждебное. Любая теория — это сухая, неестественная схема, догма, авторы которой используют лишь прокрустов способ

обращения с жизненными фактами. Само слово «теория» употребляется в статьях Григорьева лишь в «ругательном», дискредитирующем смысле. Учение Гегеля, концепции Белинского, «натуральная школа», теория «искусства для искусства» и даже близкое критику славянофильство — все это объявляется «теорией», догмой, искусственно сужающей жизненные явления, рассматривающей лишь какую-то одну сторону факта.

Единственное исключение Григорьев делает для близкой к романтикам философии Шеллинга (причем, как он неоднократно подчеркивал, — Шеллинга всех периодов). Идеи всеобщей гармонии, религиозно-интуитивного самопознания; слияния, тождества человека и природы, осуществляемого в искусстве, превосходства искусства над наукой, самоответственного развития и значения каждого из народов оказались чрезвычайно созвучны натуре нашего мыслителя.

Большинство приводимых философских суждений Григорьева взято из упомянутой итоговой статьи «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства». В 1856 году в Германии начала выходить вторая часть собрания сочинений недавно скончавшегося Шеллинга, и в первом томе был напечатан главный труд позднего периода деятельности философа — «Введение в философию мифологии». В.П. Боткин приобрел эту книгу и прислал ее Григорьеву, лежавшему тогда в постели, зараженному ветряной оспой. Как вспоминал больной: «...книгу прислал с запиской и в записке, между прочим, упоминал, что он уже нюхал и что хорошо както пахнет... И впился я больными, слабыми глазами в таинственно и хорошо пахнущую книгу — и опять всего меня потащило за собою могучее веяние мысли».

«Ве́яние» — любимое словечко Григорьева наряду с другими, часто употребляемыми: «цветная истина», «цвет и запах эпохи», «растительная поэзия», «живорожденный».

Интересно, что Григорьев использовал идеи Шеллинга для оправдания своих бытовых крайностей и даже распущенности! Немецкий философ считал, что появление нового Бога при смутных еще пониманиях и верованиях выражается на первой стадии в неистовствах и вакханалиях. Это-то и нужно было страстно жаждущему воплощения «нового слова» в русской жизни! Поэтому он пишет Эдельсону 5 декабря 1857 года: «Кабацкое и погребное в нас это — вакханалии нового, идущего Бога», а Погодину 3 марта 1858 года еще более выразительно: «...мы, его (православия. — *Б.Е.*) носители и жрецы — пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведому Богу. Так вакханками и околеем». Жутковато это читать, зная дальнейший путь «жреца»...

Но главное — общие методологические принципы. В статье «Критический взгляд...» Григорьев много говорит о методе своей критики в связи с философским шеллингианским ее фундаментом, будет развивать и уточнять некоторые идеи в последующих своих статьях 1850-х годов. Он теперь открыто говорит о своей неудовлетворенности гегельянской исторической критикой, подразумевая ведущего русского деятеля — В.Г. Белинского, а с другой стороны — защитниками «чистого искусства»: «Ясно, что критика перестала быть чисто художественною, что с произведениями искусства связываются для нее общественные, психологические, исторические интересы». Но для понимания и анализа, считает Григорьев, важны не только логика, но и душа, сердечность, поэтому «историческое воззрение» он предлагает заменить «историческим чувством», а свой метод он именует *органической* критикой, главный смысл которой — защита в искусстве «мысли сердечной», то есть произведений «живорожденных», органически соединяющих мысль и душу, ум и сердце художника, и борьба с «мыслью головной», с заданными, «сочиненными» по схеме произведениями.

Своим учителем, основателем органической критики Григорьев считал «великого мечтателя поэта-философа-историка-пророка» Томаса Карлейля, английского литератора XIX века, много взявшего у Шеллинга; позднее Григорьев будет его справедливо характеризовать как «отражение лучей шеллингова гения на англосаксонской почве». У Карлейля мы находим дорогие Григорьеву рассуждения о самобытности народов, учение о таинственности человеческой души и вечной и неизменной жизни в целом, приоритет нравственных проблем над социальными, представление о художнике как о вдохновенном ясновидце, открывающем покровы глубоких тайн, и, соответственно, идею о громадной роли интуиции в художественном творчестве и в настоящей критике (Григорьев позднее сформулирует и свой собственный «взгляд на искусство как на *синтетическое*, цельное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумение жизни, в отличие от *знания*»). Вслед за Шеллингом и Карлейлем наш мыслитель рассматривал художника как пророка, проповедника: «...*истинная* истина нам не доказывается, а проповедуется». Таковы же и некоторые выдающиеся деятели науки: «Грановский был не ученый, а актер на кафедре, т. е. оратор, проповедник, но в этом-то и его значение».

Органические, «живорожденные» произведения искусства поэтому имеют большое общественное значение, «проповеднически» воздействуя на читателя. А пьесы — на зрителя. Потому-то Григорьев такое большое внимание уделял театру.

Любопытный парадокс: великодержавный, великорусский националист оказывается верным учеником западноевропейских философов и литераторов — учеником в важнейших сферах деятельности, в создании философского мировоззрения и метода критики. Националистическая вертикальная шкала ценностей («выше», «ниже») будет вскоре вообще разрушена, отчего сердечный, глубокий патриотизм Григорьева очистится и выиграет, а европейское образование, европейский кругозор останутся непоколебленными.

ЛЕОНИДА ЯКОВЛЕВНА ВИЗАРД. ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ «БОРЬБА»

Вся творческая и бытовая жизнь Григорьева периода «молодой редакции» проходила под знаком вспыхнувшей новой любви. Это было самое сильное чувство в его жизни. Ведь полюбил не мальчик, тридцатилетний взрослый мужчина, человек вулканических страстей.

История такова. Как уже сказано, в 1850—1854 годах Григорьев преподавал законоведение в Воспитательном доме, где познакомился с почтенным надзирателем и учителем французского языка Яковом Ивановичем Визардом. Его отец переселился в XVIII веке в Москву из французской части Швейцарии, потому семья была не католическая, а протестантская. Строго говоря, фамилию надо было бы произносить «Визар», конечная буква «д» во французском не произносится. Но почему-то почти все окружение именовало семью Визардами, так и вошло в традицию, так писал собиравший материалы о Леониде Яковлевне В.Н. Княжнин. Яков Иванович был послан учиться в какой-то швейцарский университет, по диплому был математиком, но, видно, в России больше требовалось учителей французского языка, чем математиков, и он сменил профессию. Визарды жили в Замоскворечье (снимали дом Жемочкиных на Большой Ордынке), но как надзирателю Якову Ивановичу полагалась казенная квартира при Воспитательном доме, поэтому он вместе с двумя сыновьями и двумя дочерьми занимал эту квартиру, а жена его проживала на Ордынке и держала в нанимаемом доме частный пансион. Это тот дом, где потом помещалась 3-я женская гимназия; здание не сохранилось, оно было на месте современного дома № 15. В квартиру при Воспитательном доме во время перемены и перерывов часто наведывались преподаватели, а в доме, где пансионом руководила мать, иногда устраивались вечера и тоже собирались знакомые. Так Григорьев сблизился со всей семьей. Обилие в ней молодежи

вовлекало в ее круг и других знакомых, некоторые из них потом стали видными деятелями русской культуры; завсегдатаем дома был студент И.М. Сеченов, в будущем знаменитый физиолог, почти подругой старшей дочери Визарда была ее учительница музыки Е.С. Протопопова, впоследствии жена профессора химии и композитора А.П. Бородина, а также адресат интереснейших писем Григорьева.

Дети Якова Ивановича были талантливы и своеобычны. Когда в 1854 году умер отец, то старший сын Владимир, чиновник Опекунского совета, аскетически отказался от своей личной жизни и самоотверженно воспитывал младших, стал для них и отцом, и матерью. Второй сын Дмитрий был близок Григорьеву по натуре: нервный, увлекающийся, склонный и к серьезным научным занятиям и к кутежам; одно время он был секретарем у Грановского; сдал магистерские экзамены по филологии, готовил диссертацию, но в шестидесятых годах, уже после кончины Григорьева, бросил науку, замкнулся, в 1868 году покончил жизнь самоубийством.

Старшая из сестер, Леонида родилась в 1835 году, так что в момент поступления Григорьева в Воспитательный дом ей было 15 лет. Исследователь жизни и творчества нашего Аполлона В.Н. Княжнин в начале XX века познакомился с младшей ее сестрой Евгенией, которая прислала ученому интереснейшие очерки о своей семье. Вот ее характеристика сестры: «Старшая сестра Леонида была замечательно изящна, хорошенькая, очень умна, талантлива, превосходная музыкантша. Не удивительно, что Григорьев увлекся ею, но удивительно, что он и не старался скрывать своего обожанья. Почти все знакомые были ее горячими, но сдержанными поклонниками. Есть ее очень хороший, похожий акварельный портрет, снятый в 55-м году. Фотографии с сестры *все* очень неудовлетворительны и не передают ее физиономии. Ум у нее был очень живой, но характер очень сдержанный и осторожный. Григорьев часто с досадой называл ее «пуританкой». Противуположностей в ней было масса, даже в наружности. Прекрасные, густейшие, даже с синеватым отливом, как у цыганки, волосы и голубые большие прекрасные глаза, и т. д. С ее стороны не было взаимности никакой».

Как жаль, что ни один портрет или фото Леониды не сохранились, мы можем судить о ее облике лишь по описаниям.

Да, Григорьев не скрывал своих чувств, он никогда не был отягощен культурным лицемерием... Положим, он влюбился в Леониду не в первые месяцы знакомства с семьей Визардов, а где-то в 1851—1852 годах, когда она уже была относительно взрослой, шестнадцати-семнадцатилетней, но ведь в глазах почтенного религиозного семейства это было совершенно недопу-

стимое, совершенно безнравственное явление: женатый человек полюбил девочку! А попробуй в те времена получить развод, это было почти невозможное мероприятие, надо было довести дело до Святейшего синода, где, конечно же, отказали бы, психологическая несовместимость тогда никак не считалась убедительной причиной развода, а публично обвинять жену в прелюбодеянии (о чем муж рассказывал друзьям) Григорьев, конечно, не смог бы. Влюбленному оставалось лишь говорить Леониде Яковлевне о своих чувствах и писать ей в девичий альбом соответствующие строки. Евгения Яковлевна сохранила одно такое стихотворение и сообщила его Княжнину:

За Вами я слежу давно
С горячим, искренним участьем,
И верю: будет Вам дано
Не многим ведомое счастье.
Лишь сохраните, я молю,
Всю чистоту души прекрасной
И взгляд на жизнь простой и ясный,
Все то, за что я Вас люблю!

Хотя история не имеет сослагательного наклонения, но все же хочется поинтересоваться: а что, если бы Григорьев был свободен от цепей брака, ответила ли бы Леонида Яковлевна на его страстные чувства? Думается, что нет. Наверное, ее светлой и собранной душе были чужды его темные черты. В письме к Е.С. Протопоповой от 6 января 1858 года Григорьев объясняет, почему он никогда «не хотел влюбиться» в нее: «Оттого, что по деспотическим наклонностям я не мог бы сносить в Вас привязанности к чему-либо на свете (к матери, брату, к музыке)». Далее по его дикой логике выходило, что только Леониду Яковлевну и мог он любить — она ни к кому не была бы привязана, только к нему. Ой ли?!

Деликатная семья Визардов не отказывала Григорьеву от дома, он был много лет одним из самых постоянных посетителей, явно был духовным, интеллектуальным центром домашних собраний. Из воспоминаний И.М. Сеченова: «Змеем-искусителем для Дм. Визара и меня был Аполлон Григорьев. Добрый, умный и простой в сущности человек, несмотря на некоторую театральную замашку мефистофельствовать, с несравненно бо́льшим литературным образованием, чем мы, студенты, живой и увлекающийся в спорах, он вносил в воскресные вечера Визаров много оживления своей нервной, бойкой речью и не мог не нравиться нам, тем более что будучи много старше нас летами, держал себя с нами по-товарищески, без всяких притязаний».

В начале пятидесятых годов Григорьев даже с женой приходил на вечера Визардов. По его инициативе у них был поставлен любительский спектакль «Горе от ума», с очень интересным

составом исполнителей: Чацкий — Алмазов, Фамусов — Григорьев, Софья — Лидия Федоровна, его жена, Лиза — Леонида, Молчалин — Дмитрий Визард, Скалозуб — Сеченов. Позднее Григорьев готовил (но, кажется, не довел до конца) постановку лермонтовского «Маскарада», где сам должен был играть Арбенина, а Леонида — Нину.

Между тем Леонида Яковлевна взрослела, основательно училась под руководством братьев и приглашенных преподавателей (не исключено, что и Григорьев ее чему-нибудь обучал), в конце 1853 года сдала экзамены на звание домашней учительницы и потом год прожила в семье Н.Г. Фролова, члена западнического кружка, друга Грановского, в качестве подруги-учительницы дочерей.

Видимо, дома у Визардов было трудно в материальном отношении: что давал матери пансион, мы не знаем, Владимир не мог тянуть семью на одно свое чиновничье жалованье, Дмитрий лишь недавно окончил университет; конечно же, Леониде надо было где-то служить. Почему-то учительство в доме Фроловых в 1855 году прекратилось (из-за кончины в январе Н.Г. Фролова?), и ранней весной Леониде предстояло уехать гувернанткой в Казань, в какое-то хорошее семейство, к знакомым брата Владимира. И тут появился, как в театре или как в сказке, спаситель.

Михаил Николаевич Владыкин — товарищ Сеченова по Инженерному училищу и по службе сапером. Дворянин, помещик. К началу 1850-х годов он уже был офицером в отставке, жил в Чембарском уезде Пензенской губернии (мир тесен: он — сын двоюродной сестры Белинского!). Будучи страстным театралом, Владыкин зимами живал в Москве, сам написал пьесу «Купец-лабазник, или Выгодная женитьба», в духе Островского, она с успехом шла в театрах. Ее успех в Москве (главного героя играл сам П. Садовский) был омрачен запрещением всесильного генерал-губернатора графа А.А. Закревского: герой Голяшкин оказался однофамильцем реального московского купца, щедрого благотворителя, который воспринял комедию как издевку над собой. Но в провинции пьеса не сходила со сцены.

Сеченов познакомил Владыкина с Визардами, где тот в свою очередь познакомился с Григорьевым, вошел в круг «молодой редакции» «Москвитянина». Он, естественно, тоже, как и многие, полюбил Леониду Яковлевну, но не смел по робости характера открыть свои чувства. Его как бы за ручку привел Сеченов, сообщивший о будущем отъезде в Казань Леониды Яковлевны и о возможном «спасении» девушки робким почитателем. Владыкин встрепенулся и предложил ей руку и сердце в последний день Масленицы 1855 года на вечере в доме Визардов. Вот как

описывает этот эпизод Сеченов в воспоминаниях: «Я видел собственными глазами, как по окончании кадрили Владыкин стоял за стулом Л.Я., как она вспыхнула с навернувшимися на глазах слезами, поспешно вышла из комнаты и вернулась через минуту раскрасневшаяся, сияющая. Пост у жениха и невесты был, конечно, веселый, но в конце его Владыкин был вытребован в ополчение (шла Крымская война. — *Б.Е.*), и они поженились уже по окончании мною курса».

Так человек, стоявший несравненно «ниже» Григорьева по творческим талантам, да и по образованию (Григорьев считал его невеждой), оказался победителем. Учтем, однако, что он был значительно «выше» юридически (свободен!) и материально (владел приличным имением). Ревновал Григорьев люто. В стихотворном цикле «Титании», писавшемся как посвящение к его переводу комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» и явно намекающем на Л.Я. Визард и на безнадежную любовь к ней, говорится, что Титания — «капризно-прихотлива» и может кокетничать с «ослиной головой»; «А возвратясь домой // Как женщина, в ту ночь рыдал другой». Ту же тему Григорьев повторил в прозаическом введении к переводу, заметив, что Шекспир посмеялся над капризной Титанией, заставив ее влюбиться в человека с ослиной головой. То есть отвергнутый литератор отомстил сопернику, как и в истории с А. Корш, своим творчеством.

Свадьба Владыкина и Л.Я. Визард состоялась через год после помолвки, в 1856 году. Она принесла Григорьеву страшные душевные потрясения. Хотя реально на взаимность и на семейное счастье он при своем женатом положении мог теперь рассчитывать еще меньше, чем в прошлой истории с А. Корш, но надежды питают не только юношей. Тем более, когда речь идет о таком увлекающемся человеке. И опять в судьбе горемыки скрестились, как и в первые послеуниверситетские годы, сразу несколько несчастий: развал «молодой редакции», закрытие «Москвитянина», который на глазах погибал, растущие долги... А тут еще окончательный крах многолетней любви и многолетней надежды.

И опять Григорьев компенсировал душевные муки лихорадочным, интенсивным творчеством: итоговыми обобщающими статьями, художественными переводами (в том числе целая шекспирова комедия — «Сон в летнюю ночь»), собственными стихотворениями. Длительные сердечные переживания, все зигзаги настроений он уже с зарождения любви к Леониде Яковлевне, где-то с 1851—1852 годов, переносил на бумагу в виде стихов. А когда в 1856 году все рухнуло, он собрал эти стихотворения, присоединил к ним в переделанном виде некоторые

старые, да еще сочинил заново кульминационные, катастрофические — и тем самым создал уникальный, изумительный, потрясающей силы цикл из 18 стихотворений, который назвал «Борьба». В рукописи был еще подзаголовок: «Лирический роман», почему-то не попавший в печатный текст. Отдал его автор совсем чужому издателю-редактору А.В. Старчевскому, выпускавшему не толстый, а тонкий журнал (еженедельный) «Сын отечества». Наверное, не оказалось никакого более близкого органа, своего. Отдавал, поди, в спешке, перед неожиданным отъездом за границу летом 1857 года. Старчевский опубликовал «Борьбу» уже в конце 1857 года, в шести номерах «Сына отечества». И цикл «Титании» (7 сонетов) появился в дружининской «Библиотеке для чтения» после отъезда Григорьева за рубеж.

Цикл «Борьба» — вершина поэтического творчества Григорьева, поставившая его в один ряд если и не с гениями уровня Тютчева, Некрасова, Фета, то по крайней мере вместе с А. Майковым, Полонским, Огаревым, графом А.К. Толстым. Поэтому рассмотрим «Борьбу» подробнее.

Был ли наш поэт оригинален в создании стихотворного цикла? Нет, этот жанр довольно часто встречается в истории и русской, и зарубежной поэзии, а во время григорьевского творчества особенно. Тому были веские причины.

Циклизация стихотворений в единое целое является характерным жанровым явлением позднеромантической поры, в том числе характерным и для русской литературы сороковых — пятидесятых годов: с одной стороны, поэты явно тянутся к широкому охвату чувств и событий, им тесно в рамках *отдельных* стихотворений, а с другой — им не хватает широкомасштабного кругозора, необходимого для создания цельносюжетной поэмы (а когда авторы все-таки создавали поэмы, то они были или стихотворными переложениями жанра повести «натуральной школы», или неоконченными отрывками). Поэтому формируются циклы, где есть хотя бы пунктирно очерченное движение мысли или фабулы, и в то же время это собрание малых стихотворений, каждое из которых значимо и само по себе. Подобные циклы создавали и Фет, и Ап. Майков, и Огарев, и К. Павлова, и А.К. Толстой (в несколько ином плане развивались циклы Некрасова). Но, пожалуй, самым обильным «циклизатором» оказался Ап. Григорьев. Почти все его циклы базировались на романтической интенсивности чувства, его динамическом напоре, рвущем границы одного стихотворения, но в эту романтическую основу вмешивалось глубокое воздействие нового метода русской литературы, ведущего ее к реализму (метода «натуральной школы» сороковых годов и психологической прозы пятидесятых), воздействие *историзма* и, следовательно,

исторического, событийного движения, превращающего цикл в сюжетную повесть. Поэтому «Борьба» существенно отличается от тематических, внесобытийных созданий этого рода у Фета, да и самого Григорьева («Титании») и от описательных очерковых циклов Майкова и А. Толстого (а также близких к ним циклов Павловой). А событийным циклам Огарева недостает безудержной страстности, «густоты» чувства нашего поэта.

Первое стихотворение из цикла «Борьба» начинается чрезвычайно характерным для Григорьева негативным оборотом: «Я ее не люблю, не люблю...» Поэт страстно отталкивался от «чужого» не только в своей жизни, не только в критике, но и в поэзии. Очень многие его стихотворения посвящены таким отталкиваниям, отрицаниям, и даже сразу, с первой строки отрицаниями начинаются:

> Нет, за тебя молиться я не мог...
> Нет, никогда печальной тайны...
> Для себя мы не просим покоя...
> Восстань, о Боже! — не для них...
> Нет, нет — наш путь иной...
> Нет, не тебе идти со мной...
> Нет, не рожден я биться лбом...

Но первое стихотворение из «Борьбы» несет в себе другое отрицание: там речь шла о противопоставлении себя («я») или узкого круга близких («мы») чужому, враждебному миру, здесь — о борьбе в душе самого героя. Любовь захватывает героя, он в ужасе отпрядает от нее, шепчет заклинания, зашаманивает себя негативностью, но ничего не получается из этих ритуальных клятв: поэт превосходно показывает диалектику чувства, властное вторжение *позитивного* начала любви, с которым не справиться никакими отрицаниями.

Каждое последующее стихотворение цикла будет давать не только временно́е развертывание чувств и событий, по сравнению с предыдущим, но и обязательно вносить какую-то контрастность, противоположность: «развертывание» соединяет стихотворения, делает их и фабульно, и тематически близкими, а контрастность отталкивает; тем самым будет постоянно поддерживаться напряженность развития, мерцающая переходность, одновременно сходство и отличие.

Так, второе стихотворение показывает дальнейшее заполонение героя любовным чувством, похожим на болезнь, но, в противовес первому, оно обращено уже не к душевному «я» героя, а к «ней», к виновнице, поэтому стихотворение становится заклинанием героини.

Третье стихотворение еще дальше развивает сюжет: здесь уже звучит прямое объяснение в любви. Контрастно к прошло-

му интимному «ты» выглядит вежливое «вы»; значит, второе стихотворение еще больше подчеркивает мысленный характер обращения, а третье — как бы реальное объяснение, хотя в конце поэт (или лирический герой?) заявляет об утаивании чувства, и это делает проблематичным предположение о «реальности»: прямое обращение на «вы» приобретает тоже скорее мысленный характер, лишь душевную подготовку, «репетицию» возможного разговора. Интересно отметить, что Григорьев в своих поэмах и стихотворениях не любил называть героиню по имени, обычно это просто «она», «вы», «ты». Лишь изредка он использовал значительный литературный псевдоним, значительный не только по содержательному смыслу, но и по звучанию: Лавиния, Титания...

Сквозь все три первых стихотворения «Борьбы» героиня проходит как светлый, возвышенный образ: «тихая девочка», «воздушная гостья», «ангел», «ребенок чистый и прекрасный». Герой же, кроме его «безумия страсти», слабо определен, и только в третьем, благодаря сравнению «Как недоступен рай для сатаны», он зачисляется в темный мир, к которому он еще прикован «цепями неразрывными». Эти цепи можно, конечно, трактовать как автобиографический намек Григорьева на свою семейность, на юридическую несвободу, но значение их шире и глубже, о чем поэт хорошо скажет в шестом стихотворении:

> Но если б я свободен даже был...
> Бог и тогда б наш путь разъединил.

Так что дело не в цепях брака, а в том, что герой «веком развращен, сам внутренне развратен», отсюда такой контраст между «ангелом» и «сатаной».

Пушкин, а позднее в более узкой сфере Кольцов и Фет создали замечательные картины гармоничной, высокой любви, того целостного и возвышенного состояния души, когда даже печаль оказывалась светлой. Лермонтов показал сложность и даже изломанность двух натур, которые конфликтно борются, трагично борются, без надежды и просвета в этом трагизме. Еще более социально сложные характеры героев некрасовской лирики усугубили подобную конфликтность, но Некрасов пытался просветительски найти укромные гармонические участки в драматических житейских столкновениях любящих. Григорьеву ближе всего в этих ситуациях лермонтовская линия, но в отличие от предшественника наш поэт впервые, пожалуй, в русской литературе так подробно разработал тему о значимости, о великой ценности *трагической любви*, о *счастье* трагизма. Это то самое «безумное счастье страданья», не понятое Белинским, о чем мы уже говорили. А для Григорьева были очень ти-

пичны такие не столько алогичные, сколько «оксюморонные» сочетания (оксюморон — контрастное столкновение противоположных смыслов: честный вор, сила слабости и т. п.). Между тем для поэта подобные оксюмороны становились одним из глубинных признаков его художественного мировоззрения и его творческого метода. Здесь громадную роль играла общеромантическая традиция, в которой антитеза, контрастность занимала отнюдь не последнее место. Но Григорьев осложнил ее переливчатой диалектикой чувства, где крайности причудливо переплелись:

Только тому я раб, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе... Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою...
(«Элегия 3», 1846)

Особенно ярко диалектическая «текучесть» образа будет передана Григорьевым в стихотворении «Твои движенья гибкие...» (1858). Таковы же сложность и диалектическая противоречивость понятия «счастье муки», «счастье страдания»: это трагическое счастье возвышенного чувства, яркой жизни, насыщенной страстями. Следует подчеркнуть еще один аспект, обычно не учитываемый, аспект, появившийся именно в «Борьбе» и ранее отсутствовавший в поэзии и прозе Григорьева, — удивительную этическую высоту чувства: ведь герой третьего и ряда других стихотворений как бы берет на себя, на свои плечи всю тяжесть, всю боль страдания, благородно стремясь освободить от них героиню. Это рыцарственное благородство еще больше дает любящему силы, еще больше дает ему счастья...

Но герой — сын больного века, он далеко не последователен в идеалах и поступках, он вполне может «сорваться». Подобный срыв и преподносится читателю в четвертом стихотворении «Борьбы». Героиня освещается неожиданным этическим светом: оказывается, «тихая девочка» с ангельской улыбкой может быть «насмешливо-зла и досады полна». А раз так, то она опускается с недосягаемого пьедестала на грешную землю, она уже не ангел, а «Евы лукавая дочь», и, следовательно, ни к чему рыцарское самопожертвование, более уместно лермонтовское сюжетосложение, борьба. В первых трех стихотворениях борьба была тоже весьма насыщенной, но там она велась «между собой», в душе героя, теперь она переносится вовне, в конфликтное столкновение с героиней.

Чрезвычайно важным и сложным для Григорьева было понятие *рока*, впервые заявленное в цикле именно в этом четвертом стихотворении, хотя, мы помним, игравшее немалую роль и в творчестве сороковых годов.

«Роковой приговор» четвертого стихотворения многозначен: это как будто бы и решение с высоты Олимпа судьбы героя и героини, и в то же время пафос *борьбы* как признака вариативного соревнования, где нет заранее предсказуемого результата, снимает фатальность, однозначную предрешенность, придает стиху энергию, надежду, перспективу.

Последние компоненты разрывают замкнутость, завершенность стихотворения, обращают его в будущее. Этим свойством поэзия Григорьева заметно отличается от фетовского стремления «закруглить» стихотворение, ограничить его волшебным мигом, совершенно выйти за пределы времени в его историческом потоке.

Следующие стихотворения цикла продолжают контрастные зигзаги: героиня то «ангел», и тогда отношения могут достичь утопической гармонии (седьмое стихотворение — переделанный ранний перевод «Доброй ночи!..» Мицкевича), то чужая и мертвенно-холодная; герой то рыцарственно возвышен, то страдающий грешник, то он полон отчаяния, то живет верой и надеждой.

А в двенадцатом стихотворении, предвестье кульминации, в рамках его одного, подобно четвертому, сосуществуют совершенно, казалось бы, несоединимые черты: героиня одновременно и «ангел света», и душа «больная», «темней осенней ночи», но герою явно ближе последнее, ибо тогда они равны: «поровну страдаем» — а это дает какой-то проблеск надежды, несмотря на лермонтовско-гейневские ореолы лицемерной внешней холодности («И чинны ледяные наши речи...» и т. д.).

С такими контрастами автор подходит к тринадцатому («О, говори хоть ты со мной, // Подруга семиструнная!») и четырнадцатому («Цыганская венгерка») стихотворениям, к кульминации цикла, к шедеврам григорьевского творчества. Блок назвал их «единственными в своем роде перлами русской лирики» по их приближению к стихии народной поэзии. Не надо, правда, забывать, что народная песня, создававшаяся долго, коллективно, всегда сохраняет меру, равновесие, стыдливую сдержанность чувств. Кульминационные стихотворения Григорьева безмерны, беспредельны, чрезвычайно страстны; как он сам выразился в очерке «Беседы с Иваном Ивановичем...» (1860), говоря о себе в третьем лице: «Стихи его — это какие-то клочки живого мяса, вырванного прямо с кровью из живого тела».

Контрастные зигзаги страстей стихотворения двенадцатого в тринадцатом раздваивают героиню на два метафорических образа: недоступность героини превращает ее в далекую звезду (при этом совсем не «ангельскую»: ее «дыханье ядовитое»!), а в руках у героя оказывается «сестра» звезды, гитара семиструн-

ная, «подруга», на которую теперь возлагается вся надежда (опять же, «ядовитость» не ослабляет, а усиливает надежду!): может быть, гитара договорит ту «недопетую песню», а эта надежда даже недоступную звезду делает более близкой и тоже «говорящей» — «Смотри, звезда горит ярчей».

Песенная, «гитарная», романсная стихия стихотворения обязывает к плавности ритма, и болезненность, лихорадочность чувства внешне как бы затухает, но о ней постоянно напоминают «мучительные» эпитеты, а подспудно она еще усиливается частым перемежением персонажей, ибо в каждом четверостишии (куплете песни) из трех персонажей действуют лишь двое: в первом — «я» и гитара, во втором — звезда и «я», в третьем и четвертом — то же, но в обратном соотношении, «я» и звезда, в пятом — «я» и гитара, в шестом — гитара и звезда, в седьмом, замыкающем — опять «я» и гитара.

А в следующем стихотворении, в «Цыганской венгерке», происходит уже раздвоение героя. Двойственность подчеркивается с самой первой строки: «Две гитары, зазвенев...» Что это: определение цыганского оркестра-аккомпанемента? или два голоса? Скорее, именно последнее. Раздвоенность далее будет сказываться на самых разных уровнях. В оксюморонной контрастности чувств: «горькое веселье», «слиянье грусти злой с сладострастьем баядерки» и т. д. В провалах, вспышках и опять провалах надежды (то герой понимает, что «она» отдана другому «без возврата», то заклинает: «ты моя!», то видит у нее на руке чужое колечко, то опять у ее ног мечтает о счастье; кончается сюжет, однако, отчаянием, потерей надежды, зато героиня снова возводится в ранг «светлого виденья», прекрасного и недоступного). В контрасте обреченности, скованности из-за свершившегося обручения «ее» с другим — и дикой активности, невозможности с этим примириться. Наконец, раздвоенность героя проявляется в его ведении голосов из двух совершенно разных стилей: интеллигентски-литературного и разговорно-народного (сближающегося незаметно и с цыганским хоровым пением).

Иногда — впрочем, очень редко — они существуют отдельно, не смешиваясь, например:

Звуки шепотом журчат
  Сладострастной речи...
Обнаженные дрожат
  Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
  Негою лобзаний,
Звуки воплями полны
  Страстных содроганий...

А с другой стороны:

Значит, просто все хоть брось...
  Очень уж скверно!
Доля ж, доля ты моя,
  Ты лихая доля!..

Но в целом почти по всему стихотворению происходит смешение двух голосов, когда трудно отделить их один от другого, когда в совершенно фольклорный текст вмешивается музыкальный термин «квинта», или, наоборот, в интеллигентскую фразу — просторечие:

Что за дело? ты моя!
Разве любит он, как я?
  Нет — уж это дудки!

Смешиваются и приемы: в духе параллелизма народной песни строится литературный голос героя, а романтический оксюморон «Ты слиянье грусти злой // С сладострастьем баядерки» влияет на создание подобного же контраста в просторечии — «Буйного похмелья, // Горького веселья».

Народное просторечие могуче вторгается в литературный стиль, разливается на многие куплеты «сплошняком» и придает стихотворению совершенно новый вид, не известный ранее в русской литературе. Ведь даже Кольцов, при всей его глубокой народности, все-таки очищал свой стиль, избегал просторечия, вульгарных идиом. А Григорьев «стоны музыки» соединяет с «плюнь да пей», «Доля ж, доля ты моя» — с «Очень уж скверно!» и т. д. (Следует отметить, что стилистическая и лексическая смелость была всегда присуща Григорьеву, вспомним его неоднократные сравнения петербургских белых ночей с «язвой гнойной».) Кажется, что нет предела его стилевому размаху, и народная речь, как и интеллигентская, оказывается у него удивительно многопластной, от строк фольклорной песни до грубоватых ругательств. Резкие смены настроений и стилей хорошо сочетаются с ритмическими перебоями, со сменой длины строк (то есть с изменением количества стоп и слогов) и даже со сменой стоп, размеров (в двусложный хорей вторгается трехсложный анапест).

Следует учесть еще, что в стихотворении описывается пребывание героя в цыганском «таборе», поэтому в тексте содержатся и прямые цитаты из цыганской песни:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!
. . . .
Басан, басан, басана́,
Басаната, басаната...

Это двустишие, однако, не представляется мне чистой цитатой из цыганской песни, оно, скорее всего, сочинено самим

Григорьевым и имеет целый спектр значений. В основе, наверное, лежат реальные цыганские слова и припевы (в северно-русском цыганском диалекте башана — играют на инструменте, башан, башанте — играйте; багана — поют, баган, баганте — пойте; басано — басовитый, басовый), но Григорьев как поэт, тонко чувствующий звуковую игру и многозначность смыслов, наверное, имел в виду еще и басовую гитарную струну («проходка по баскам», «басок»), и народное слово «басота» — красота.

Фольклорный голос как бы сливается с хоровым цыганским пением и вряд ли может быть строго выделен из него. А в какой-то степени, если учесть страстность и трагедийность как уже постоянные атрибуты цыганского исполнения, не так-то легко отделить от этой «цыганщины» и голос героя. В самом деле, если индивидуальная активность, напористость героя, готового даже классическую «долю» сломить, и может быть противопоставлена судьбе-доле в русских лирических песнях, то в соотношении с напряженностью и действенностью персонажей цыганских песен и плясок эта активность не выглядит инородной. Да и вся гиперболически страстная, залихватская, трагически-пессимистическая стихия «Цыганской венгерки», вплоть до концовки «Чтобы сердце поскорей // Лопнуло от муки!» — противостоит стыдливой скромности русских народных песен и зато вполне сочетается с содержанием и формой цыганских плясок и пения. А Григорьеву всегда был присущ именно «цыганский» утрированный максимализм чувств и желаний; как он точно заявил о себе в поэме «Venezia la bella»:

Уж если пить — так выпить океан!
Кутить — так пир горой и хор цыган!

Нельзя, конечно, не учитывать и прямого, и косвенного влияния на «Цыганскую венгерку» и чисто русской народной песни. Обилие фольклорных образов и эпитетов («завей веревочкой горе», «лихая доля», «лютая змея», «ретиво сердечко» и т. д.), оглядка на народное мнение («Станут люди толковать: Это не годится!»), идеализация героини — все это идет от хорошего знания Григорьевым и творческого усвоения фольклорного наследия.

Однако бесспорно преобладание в стихотворении «цыганщины», которая диалектически взаимосвязана и со всеми «двойническими» аспектами, и с фольклорностью, с народностью. Сближаясь с цыганами, Григорьев тоже ощущал единение с народом.

В этом, может быть, вообще заключалась глубинная специфика «цыганщины» в русской культуре и литературе послепушкинского времени: в душном мире, где человек опутан цепями «среды», где он жестоко расщеплен на разные сферы существования, цыганский хор на какой-то романтический миг создавал иллюзию яркого, целостного бытия в общении с народом, живущим высокими и сильными страстями. Как говорил один из персонажей григорьевской поэмы «Встреча» (1846):

...хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную...

Более развернуто Григорьев сказал об этом в очерке «Москва и Петербург» (в «Московском городском листке» — № 88 за 1847 год): «...благо вам, бездомному и неспокойному варягу, если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром — о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки — вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно-странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнею, или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина: «Ах! ты слышишь ли, разумеешь ли?..».

А так как фон жестокого и больного общественного строя незримо окружал тот праздничный мирок, то он еще больше усугублял притягательную силу волшебного замкнутого круга (который, увы, уж очень был далек от широкой степи!). Это было замечательно обрисовано и Островским («Бесприданница»), и Лесковым («Очарованный странник»), и Толстым («Живой труп»). И «Цыганская венгерка» тоже создавала такой волшебный мир.

Григорьев тянулся к цыганам и хорошо знал их быт; известны его романсы «Любовь цыганки» (музыка А. Дюбюка и Ф. Бюхнера) и «Песня цыганки» (музыка А. Дюбюка); он перевел в начале 1860-х годов немецкое либретто оперы А. Рубинштейна «Дети степей, или Украинские цыгане» (материалы о творческих связях Григорьева со знаменитым композитором пока не найдены: это одна из загадочных страниц в биографии поэта). В рассказе «Великий трагик» Григорьев так говорит о себе: «Для него, четверть жизни проведшего с цыганскими хорами, знавшего их все, от знаменитых хоров Марьиной рощи и до диких таборов, кочующих иногда около Москвы, за Серпуховскою заставою, нарочно выучившегося говорить по-цыгански до того, что он мог безопасно ходить в эти таборы и быть там принимаемым как истинный «романэ чаво» (цыганский па-

рень». — *Б.Е.*) — для него это была одна из любимых тем разговоров». Может быть, именно потому, что Григорьев хорошо знал цыганский быт, он не хотел создавать «оперные», идеализированные образцы героев из табора, чем, например, грешил Я.П. Полонский в стихотворениях «Мой костер в тумане светит...», «Цыганы».

«Цыганская венгерка» и предшествовавшее ей в цикле «Борьба» стихотворение «О, говори хоть ты со мной...» создавались не только в тяжелый личный период жизни Григорьева (мировоззренческий кризис, «смерть» родного «Москвитянина», а главное — безнадежная страстная любовь к Л.Я. Визард), но и в теснейшем общении с цыганами. М.И. Пыляев, со слов ветеранов цыганского хора, так описывает этот период в своей книге «Старый Петербург»: «В пятидесятых годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова; это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, А.Н. Островского, Ап. Григорьева и других. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Ив. Васильевым» (между прочим, существует легенда, что и Григорьев участвовал в создании мелодии). Далее Пыляев цитирует несколько искаженный и сокращенный текст «Цыганской венгерки». Конечно, полный ее текст вряд ли можно было сочинить «за беседой».

Вся сложность контрастов и зигзагов, растянутая к тому же на довольно большом, почти поэмном, пространстве стихотворения оказывалась мало пригодной для фольклорного бытования и исполнения. И недаром все последующие певцы произвольно сокращали текст Григорьева, вынося за скобки не только сюжетные повороты, но и стилевую чересполосицу, сохраняя впрочем интенсивность чувства, «цыганскую» страстность.

Но полный текст стихотворения имеет другие функции, он слишком личностен, слишком связан с «лирическим романом», со всем циклом «Борьба».

А последние четыре стихотворения цикла демонстрируют спад напряжения, развязку; после громкого, страстного крещендо «Цыганской венгерки» они, при всей силе передаваемого чувства, как-то истощенно ослаблены, как бы произносятся полушепотом. Между собою же они контрастны попарно: пятнадцатое и семнадцатое посвящены пушкинской теме «...как дай вам Бог любимой быть другим», а шестнадцатое и восемнадцатое, главным образом — стенаниям души, описанию незатухающего любовного чувства. При этом восстанавливается контрастная пропасть между героями, «она» снова возведена в ангельский чин, «он» подчеркнуто пребывает «в развращеньях

бездны». Эта тема многократно повторяется в последних стихотворениях, происходит опять как бы завораживание, зашаманивание и самого себя (поэта), и читателя, то есть уверение в невозможности соединения при условии такой непреодолимой пропасти; это не утешение, а скорее объяснение или даже оправдание.

В целом «Борьба» дает очень динамичное, почти поэмное или даже новеллистическое развитие действия. И заключительное стихотворение не только повторяет, не только синтезирует многие и многие темы предшествующих перипетий, но содержит интересное завершение: казалось бы, в безнадежной, мрачной ситуации цикл должен «закруглиться», безвыходно замкнуться, но поэт, подытоживая прошлое, с теплой надеждой мечтает о душевной связи с героиней, ему так хочется верить,

> ...что светишь ты из-за туманной дали
> Звездой таинственною мне!

Цикл демонстрирует не только борьбу, но и тесное сплетение традиционной троицы — веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит... В этом отношении цикл «Борьба» может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находившегося в постоянном борении между идеалом и грешными земными чувствами и делами.

И ни один другой цикл Григорьева не содержит такого заряда «исторической» динамики, то есть «векторного» потока времени от прошлого через настоящее в будущее. Даже очень близкий к «Борьбе» цикл «Титании», также навеянный любовью поэта к Л.Я. Визард, не содержит никакого «романа», никакой последовательности событий: он построен скорее именно на «круговом», «зашаманивающем» принципе: сплошные повторы тем, сплошные анафоры (единоначатия), четкое ритмическое чередование (идут подряд семь сонетных четырнадцатисложников).

Хронологическая развертка «Борьбы» отражает несомненное влияние на автора новейшей реалистической повести и романа. И конечно, влияние конфликтной эпохи, которую какой-то остряк назвал «Борьба с борьбой борьбуется». Но Григорьев далек от социальных столкновений, у него борьба личностная, у него «он», «я» борется с «нею», а еще больше и чаще — сам с собою, со своими страстями. Однако общественно-политическая напряженность предреформенной эпохи могла косвенно интенсифицировать внимание поэта (в данном случае еще и человека) к внутренним конфликтам.

Душевная рана у отвергнутого Григорьева не заживала всю

жизнь. В первые годы после окончательного краха надежд она болела нестерпимо мучительно, это заметно и по частным письмам, особенно — к Е.С. Протопоповой, и по художественному творчеству. После циклов «Борьба» и «Титании» поэт пишет, уже находясь в Италии, большую поэму «Venezia la bella» («Прекрасная Венеция»), состоящую из 48 сонетных строф, то есть из 672 строк. В поэме описывается, как русский путешественник плывет с гондольером по Большому каналу Венеции от площади Святого Марка до моста Риальто, впитывает величественный и трагический венецианский дух, но сквозь все виды и ощущения перед ним встают воспоминания о «ней», о Л.Я. Визард, опять, как и в «Борьбе», описываются изломы и зигзаги чувств поэта, героиня рисуется то светлым серафимом, то полною каких-то темных и таинственных душевных движений; воспоминания ведут персонажей то в заветный дом «ее» родителей, то в цыганский табор, то в переживания бетховенского квартета.

Вспыхивала память о далекой и недоступной любимой и в других произведениях поэта, в частности в последней его поэме «Вверх по Волге» (1862).

А за два месяца до кончины, 26 июля 1864 года Григорьев пишет сонет, который он приложил как постскриптум к своему переводу трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»:

> И все же ты, далекий призрак мой,
> ... ...
> Когда я труд заветный кончил свой,
> Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
> Больной души ...
> ... ...
> И все, на что насильно был я глух,
> По ржавым струнам сердца пробежало
> И унеслось — «куда мой падший дух
> Не досягнет» — в обитель идеала.

В последних двух строках — цитата из пушкинского «Пира во время чумы» (1830).

А дальнейшая судьба Леониды Яковлевны — теперь уже Владыкиной, а не Визард — была такова. Молодые сперва отправились в свадебное путешествие по всей Европе, вплоть до ее юго-западного угла, до Испании, потом на несколько лет поселились в имении мужа. В трудные годы крестьянской реформы 1861—1862 годов М.Н. Владыкин был уездным предводителем дворянства. В 1862 году Владыкины переехали в Москву, где муж продолжал писать пьесы и начал успешную карьеру артиста Малого театра. Леонида Яковлевна, видимо, тяготилась

ролью праздной жены, ей очень хотелось открыть в деревне больницу, для этого она, уже не очень юная, тридцатилетняя, отправилась в Швейцарию, где кончила в Берне медицинский факультет университета (в России ведь тогда женщинам запрещено было получать высшее образование), защитила диссертацию «О влиянии цианистого калия на организм кроликов» (эта тема, на первый взгляд, «живодерная», связана, наверное, с тем, что кролики чрезвычайно чувствительны к ядам и потому на них проверялись допустимые дозы ядовитых веществ).

Во время учебы жены муж почему-то часто жил не с нею, а в Москве — или путешествовал по Кавказу и по Западной Европе. Потом супруги воссоединились в Москве, где Леонида Яковлевна имела частную врачебную практику. Но ее, увы, рано схватил рак. Из воспоминаний Сеченова: «Она знала, что болезнь смертельна, а умерла героем». Скончалась она в 1893 году, когда ей было 58 лет. Знала ли она, что увековечена как героиня цикла «Борьба»? Слышала ли уже при ее жизни широко распространившуюся «Цыганскую венгерку»? Наверное, этого нам никогда не узнать.

В ИТАЛИИ

В бурном и печальном житейском море, окружавшем Григорьева, ему маячил один идеальный островок — журнал. И не просто журнал, а свой журнал, свой «Москвитянин». Попутно делались безуспешные попытки бросить якорь в чужих водах, и тогда тем ярче пылала мечта о своем «Москвитянине». Григорьев в течение нескольких лет (1855—1857) забрасывал письмами Погодина (как он однажды выразился, «буду дождить Вам письмами!»), предлагал самые разные варианты: то свое «диктаторство», то совместность с Погодиным, то взятие на себя всей технической редактуры и корректуры журнала, а для этого шеф должен был выделить ему комнату с диваном (Григорьев любил читать лежа). Постоянно при этом вертелись денежные проекты: то залог, заклад или продажа григорьевского дома, то бумажники каких-то богатых купцов, якобы готовых раскошелиться ради перспективного журнала, то надежда на средства самого Погодина... А тот все тянул и тянул, пока к весне 1857 года «Москвитянин» не скончался. Погодин последнее время недопустимо запаздывал с выпуском очередных томов: номера за 1856 год выходили в 1857-м! Подписчиков не было, материалов не было, заниматься делами явно умирающего журнала Погодину не хотелось. Наконец, на пороге лета 1857 года издатель решился передать редакторские права Григорьеву, 7 июня

состоялась официальная передача «Москвитянина» давно добивавшемуся этого литератору. Казалось бы, мечта осуществлена! Садись (ложись?) и возрождай журнал. Не тут-то было! 6 июля Григорьев покидает Москву, а через неделю едет из Петербурга в Италию. Типично григорьевский поворот сюжета... Опять своего рода побег.

Еще в начале 1857 года Погодин предложил ему эту поездку. В свои студенческие годы Погодин был домашним учителем в семье князей Трубецких и потом сохранил с ними дружеские связи. Одним из учеников Погодина в 1820 году был Юрий Иванович Трубецкой, который потом женился на княжне В.И. Прозоровской, овдовел и женился второй раз довольно странно — на дочери французского офицера (капитана); от этого брака и родился юный князь Иван Юрьевич, будущий ученик Григорьева. Когда Трубецким понадобился учитель русского языка, словесности и русской истории для пятнадцатилетнего князя Ивана, готовившегося к поступлению в университет, семья обратилась к Погодину, а тот рекомендовал Григорьева. Учитель нужен был в отъезд, Трубецкие тогда жили в Италии, у них был собственный дворец во Флоренции и вилла близ города Лукка.

Григорьев полусогласился в ожидании журнальных преобразований; когда дело шло к окончательной передаче «Москвитянина» в его руки, он даже отказался от обещания учить князя Ивана и нашел себе замену — и вдруг, уже получив журнал, всетаки поехал к Трубецким! Здесь, очевидно, скрестилось сразу несколько причин: и любовь романтика к неожиданным переменам, и традиционный побег от кредиторов, и слабая вера на том этапе в возможность возродить журнал, и, наконец, желание за «казенный» счет посмотреть Европу, особенно Италию, средоточие великих произведений искусства прежних эпох.

Погодин не был разочарован неожиданным выбором своего помощника. Во-первых, ему было очень неудобно перед Трубецкими, что рекомендованный домашний учитель мог их подвести и отказаться от поездки, а окончательное решение Григорьева ехать снимало проблему; во-вторых, наверное, не только сам Григорьев, но и он, Погодин, плохо верил в возможность возродить «Москвитянин», и фактический отказ новоиспеченного редактора от продолжения журнальной деятельности освобождал и старика от многих издательских, материальных, нравственных хлопот.

Сказано — сделано. Григорьев быстро оформил заграничный паспорт, получил у Погодина какие-то книги и какую-то сумму денег (в долг?) — и отправился в Петербург. Тогда еще не было железных дорог из обеих наших столиц на Запад, в Европу, которая уже довольно густо покрылась железнодорожной сетью, поэтому русские путешественники, не желавшие трястись по отечественным ухабам, предпочитали добираться до Петербурга (железная дорога Москва — Петербург уже существовала), а оттуда морем — до какого-нибудь западноевропейского порта, где уже была железная дорога в глубь континента. Пароходное сообщение по Балтийскому морю было изрядное, но в летний сезон с билетами возникали трудности: не забудем, что Александр II, разрешивший поездки за рубеж, царствовал всего два года, поэтому охотников посмотреть заграницу было великое множество. Правда, выручали владельцы грузовых купеческих судов: они выделяли на своих кораблях несколько кают для посторонних лиц. Но Григорьеву удалось добыть место на нормальном пассажирском пароходе «Прусский орел», курсировавшем по линии Петербург — Штеттин, и 13 июля 1857 года наш путешественник покинул родину.

Маршрут себе он выбрал прямой и интересный: Штеттин—Берлин—Прага—Вена—Венеция, но прихотливая душа славянофильствующего интеллигента принимала на Западе далеко не все. Немецкий мещанский характер всегда был ей чужд, поэтому оценка Берлина, да и австрийской Вены, была в целом пренебрежительной. Из письма к Погодину от 10 августа 1857 года: «Мне больно и стыдно было за наших гелертеров, восхищавшихся наивно наслаждениями берлинской или венской жизни. Это какие-то копеечные, расчетливые удовольствия. Мы, т.е. русские, так удовольствоваться не умеем, да и слава Богу, что не умеем. Ведь способность так жить, способность к копеечному сладострастию — показывает страшную мизерность души. Да и весь Берлин-то — Петербург (!), да еще в мизерном виде». Петербург, как известно, наш москвич тоже не жаловал; заметим, что восклицательный знак в скобках принадлежит самому автору письма.

Но что Григорьеву было дорого в Берлине — это здание университета, где «на целый мир звучало слово венценосных Гегеля и Шеллинга». Однако, когда он хотел купить в книжной лавке портрет своего «идола» Шеллинга, продавец не знал, кто это такой...

Главные симпатии путешественника были направлены в сторону славянского мира. Ему очень нравился облик и характер западных славян, чехов и поляков, он очень быстро находил с ними общий язык. Величие пражского Кремля потрясло его, он плакал, стоя перед ним на мосту через Влтаву. Любопытно, что до самой Праги Григорьев еще носил русский костюм и, лишь выезжая в Вену, сменил его на европейский, «кургузый», как он выражался.

Помимо Праги путешественника потрясли моря и блистательный город на воде — Венеция, где из двух суток пребывания он целую ночь прокатался на гондоле (переживания той ночи отражены в поэме «Venezia la bella»). Из того же письма к Погодину: «... собственно огромление произведено Прагой и Венецией да тремя морями». Григорьев вырос в относительно «сухопутной» Москве; во всем его сохранившемся наследии нигде не выражены восторги по поводу Москвы-реки или других подмосковных рек и озер, нигде не говорится о купании (оно тогда вообще среди городского населения было мало принято, тем более вряд ли благонравный мальчик и юноша нырял вместе с замоскворецкими сорванцами в Москва-реку). Он, кажется, и плавать не умел. Сам рассказывал друзьям, как чуть не утонул в Венеции: желая прогуляться, он открыл наружную дверь отеля, где ночевал, и шагнул прямо в воду; слава Богу, успел схватиться за сваю, к которой привязывали гондолы, и на его крик прибежали люди, вытащили. Вода не была в России родной стихией Григорьева. Зато, когда он соприкоснулся с морями, они в самом деле произвели «огромление». Наверное, его пламенной натуре нужен был такой противовес, громадный, стихийный... (позднее у него появится такой образ: Пушкин — это море, которое окружает и ограничивает нашу сушу). Всем трем виденным морям он давал образные эпитеты: Балтийское — стальное, Адриатическое — бирюзовое, Средиземное — изумрудное. В последнем случае он не совсем точен: в Генуе и Ливорно — на северо-западном берегу Италии — море называется Лигурийским, но так как это своего рода частица Средиземного, то нет большого греха в названии части ее целым.

В Италии Григорьев задумал создать большую очередную эссеистскую книгу «К друзьям издалека», и первая ее часть должна была называться «Море». Несколько лет спустя путешественник познает Великий Волжский путь, и Волга станет для него не только символом России, но и своеобразным отечественным морем, водяной стихией, врачующей истерзанные нервы горемыки.

Моря и реки — та область природы, которая стала значимой для нашего литератора. А природа земной суши как-то мало его интересовала. В отличие от «пейзажного» Фета Григорьев-лирик почти не использует образов ландшафта, флоры, фауны. Как он признавался в письмах из Италии, он не полюбил горы, предпочитая им исторические города со старинными соборами.

Из Венеции Григорьев, пересекая итальянский полуостров с востока на запад, переехал в Геную, а оттуда в Ливорно, где, возможно, и соединился с семьей Трубецких, так как жил там не в гостинице, а в палаццо Сквиллони. Оттуда уже рукой было подать до Лукки, а в 7 километрах севернее этого города, близ деревни А Понте Мориано, находилась вилла Сан-Панкрацио, поместье Трубецких. Здесь уже произошло полное воссоединение и начались занятия с юным князем Иваном.

Григорьев сообщал, что на путешествие у него ушло две недели, следовательно, в Сан-Панкрацио он прибыл в конце июля и затем прожил на «даче» с Трубецкими два месяца. Здесь он продолжал штудировать Шеллинга, много гулял, пристрастился к лошадиному седлу, совершая ежедневно долгие, по 20 километров, прогулки верхом. И начал серьезно заниматься со своим пятнадцатилетним учеником. Правда, ни учитель, ни ученик не переутомлялись, настоящие занятия, утренние, длились всего полтора часа. Как учитель умудрялся за этот срок преподавать русский и старославянский языки, Закон Божий, русскую историю, латинский язык — трудно представить. Возможно, впрочем, что не все предметы изучались ежедневно. Вечером же тоже по полтора часа Григорьев читал князю Ивану и его старшим сестрам что-либо из русской литературы.

Ученик оказался талантливым, схватывающим знания на лету, но предшествующее образование его было, видимо, нерегулярным, бестолковым, особенно в области русской культуры. Впрочем, в области западной тоже: Григорьев удивлялся, что он не знает Шекспира и Данте. С западноевропейскими языками мальчик был хорошо знаком (итальянский и французский, очевидно, знал с детства, английский освоил благодаря гувернеру Беллу, продолжавшему учить князя и при Григорьеве), а с русским у него были явные нелады, очевидно, дома этот язык совершенно не употребляли, отца уже не было в живых (он умер в 1850 году), а мать, француженка, поди, и не знала русского языка, поэтому князь Иван произносил фразы вроде «моя дядя ошибился».

Мешали еще аристократическая спесь юноши, лень, нежелание глубоко вникать в предметы. Его хватало на занимательные рассказы Григорьева или на заучивание выпущенных из «семейного» издания Шекспира «неприличных» строк (наш учитель и дал ему своего полного Шекспира), но не более того. Характерно, что Григорьев был принципиальным противником купирования и замалчивания. Тетка ученика Александра Ивановна (бывшая замужем за князем Н.И. Мещерским, а в 1820-х годах — ученица Погодина и его безнадежная любовь) однажды спросила учителя, как он рассказывает Ивану о революционных событиях. Григорьев ответил, что «всю правду», во всех подробностях. «А не боитесь ли вы?» — поинтересовалась тетушка. Замечателен его ответ: «Чего, княгиня? Сделать демагога (то есть демократа. — *Б.Е.*) из владельца девяти тысяч душ?» — Оба собеседника расхохотались.

Григорьев, видно, много вложил в своего ученика. Занятия продолжались с очень небольшими праздничными перерывами целый год, и даже следующим летом в Париже, между увеселениями и светскими приемами, учитель давал уроки князю Ивану.

Еще в первые недели жизни на вилле Сан-Панкрацио Григорьев успел два дня побывать во Флоренции и впитать в себя ее колорит, особенно сокровища ее картинных галерей. К октябрю семья Трубецких переехала во Флоренцию на постоянное жительство, и Григорьев смог, таким образом, дышать флорентийским воздухом в течение семи месяцев. Любитель пешеходных прогулок, он исходил город вдоль и поперек, познал его почти как родную Москву, да и полюбил этот старинный суровый и красивый город почти как Москву.

Дворец Трубецких (бывший Спинелли) находился на одной из центральных магистралей Флоренции — улице Гибеллина, в начале ее, близ мрачного и величественного Барджелло, здания XIII века, где в эпоху Возрождения помещалась тюрьма. Как писал Григорьев Е.С. Протопоповой 20 октября 1857 года: «Живу я в великолепном палаццо, где плюнуть некуда — все мрамор да мрамор... Выйдешь на улицу — ударишься в мрачный Барджелло, где на каждом камне помоста кричит кровь человеческая» (в этой тюрьме совершались и казни). В квартале от Барджелло находится площадь (пьяцца) Дэль Гран-Дука (то есть имени великого герцога Козимо I Медичи), которую Григорьев иногда называет площадью Дэль Палаццо Веккио и которая тоже вызывает у него мрачные исторические ассоциации: «... вспоминаешь, что на этой площади бушевала некогда народная воля и проповедовал монах Савонаролла, и тут же его потом сожгли...» Уже после отъезда Григорьева площадь была переименована: пьяцца Синьория (Синьория, Совет синьоров — средневековая «мэрия»).

И в то же время наш путешественник страстно увлечен площадью как творением искусства. Статью «Великий трагик» (1858), посвященную замечательному драматическому артисту Сальвини и подробному описанию его игры в шекспировом «Отелло», можно рассматривать и как своеобразный путеводитель по Флоренции. Григорьев мог бы стать, если бы жил в XX веке, замечательным экскурсоводом; прочтите в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» великолепное познавательное путешествие по Замоскворечью. В «Великом трагике» он, как экскурсовод, описывает, например, площадь Дэль Гран-Дука: «... изящнее, величавей этой площади не найдется нигде — изойдите, как говорится, всю вселенную... потому что другого Palazzo Vecchio (Палаццо Веккио, то есть Старого

Дворца. — *Б.Е.*) — этого удивительного сочетания необычной легкости с самою жесткой суровостью вы тщетно будете искать в других городах Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo Vecchio ... Вон направо от него (...) громадная колоннада Уффиции (Григорьев русифицирует: «Уффиция»; нужно «Уффици». — *Б.Е.*), с ее великолепным залом без потолка, между двумя частями здания, с мраморно-неподвижными ликами великих мужей столь обильной великими мужами Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово-изящное творение Орканьи — Лоджиа, где в дурную погоду собирались некогда старшины флорентийского веча (...). Вон налево палаццо (Угуччиони. — *Б.Е.*) архитектуры Рафаэля — еще левей широкая Кальцайола, флорентийское Корсо (Корсо — центральная улица в Риме. — *Б.Е.*), ведущее к Duomo (собору. — *Б.Е.*), которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в инкрустациях, колокольня виднеется издали. А статуи?.. Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и всяких стихий — вы посмотрите на них... Вся Лоджиа Орканьи полна статуями — и между ними зелено-медный Персей Бенвенуто Челлини и Похищение Сабинок... А вот между палаццо Веккио и Уффиции могучее, хотя не довольно изящное создание Микель Анджело, его Давид, мечущий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмысленною, неразумною силою во всем положении, а вон Нептун, а вон совсем налево Косма Медичис на коне, работа Джованни да Болонья. И во всем этом такое поразительное единство тона — такой одинаково почтенный, многовековой, серьезный колорит разлит по всей пьяцце, что она представляет собою особый мир, захватывающий вас под свое влияние (...). Днем ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месячный свет сообщает яркую белизну несколько *потемневшим* статуям Лоджии и освещает как-то фантастически перспективу колоннад Уффиции... вы всегда будете поражены целостью, единством, даже замкнутостью этого особенного мира...»

Вот как умел Григорьев содержательно и эмоционально описывать город. В этом описании не менее важен пафос целостности, общности, что так существенно для мировоззрения нашего мыслителя. В той же статье «Великий трагик» он подробно излагает путь от загородного парка Кашины через площадь Дуомо (Соборную) к театру Кокомеро, где шло представление «Отелло» с Сальвини. Приведенное описание площади Дэль Гран-Дука взято именно из этого маршрута.

В первый же приезд во Флоренцию Григорьев посетил два главных художественных музея города — галереи Уффици и Питти, и потом, за редчайшими исключениями, ежедневно проводил в каждой галерее по несколько часов. Уффици была

почти рядом с дворцом Трубецких, Питти чуть подальше, в заречье, нужно было перейти реку Арно по мосту Веккио, но от дома туда было меньше километра. Для любителя пеших прогулок это не расстояние. До второй половины XIX века в Москве не было художественных музеев, Григорьев вырос, не зная настоящей живописи, Италия впервые приобщила его к первоклассному изобразительному искусству и нашла в нем благодарнейшего зрителя, глубоко чувствующего и осмысляющего виденное.

Характерно, что музыкальный Григорьев зрительное переводил в слуховое (полвека спустя А.Н. Скрябин будет, наоборот, искать цветовые аналоги звукам). В письме к Ап. Майкову от 18—20 мая 1858 года его тезка Аполлон признавался, что только тогда он понял живопись, когда она «запела»: «Когда же все это — и флорентийское, и римское, и венецианское, и неаполитанское, и испанское, и фламандское запело мне свои многоразличные симфонии о душе и ее идеалах — то *скрипкой* Рафаэля, то густыми, темными и глубоко страстными тонами *виолончели* Мурильо, то яркою и *чувственно-верующей* флейтой Тициана, то органом старых мастеров и потерянным, забытым инструментом, стеклянной гармониею фра Беато Анджелико, то листовским, чудовищным фортепьяном Микель Анджиоло, — я отдался этому миру столь же искренне, как мирам Шекспира, Бетховена, Шеллинга». При этом он подчеркивал, что «отдался» без предпочтения какой-нибудь школы, какого-нибудь метода; в целостном «абсолюте» «мирятся вещи по-видимому непримиримые: мясистый Вакх Рубенса с светлым Богом-утешителем скорбей, допотопным Христом древнего ваяния; идеализм Рафаэля (т.е. собственно не идеализм, а юность, красота) с *кабацким* натурализмом Караваджио».

Из других хранилищ классической итальянской живописи Григорьев посещал Академию изящных искусств, где находились картины Боттичелли, Перуджино, Липпи, Фра Бартоломео и других, и монастырь Сан-Марко с обилием фресок Фра Беато Анджелико.

И конечно, наш литератор стал завсегдатаем флорентийских театров. Главных тогда было три: Пергола и Пальяно — оперные (Пергола — самый знаменитый, этот театр сохранился до наших дней), Кокомеро — драматический. И все эти три театра Григорьев активно посещал.

«Москвитянинский» Аполлон Григорьев с его повышенным интересом к национальным проблемам воспринимал во флорентийских музеях и театрах тоже национальную специфику (наряду с общечеловеческими идеалами и индивидуальными характерами). В галерее Уффици он так истолковывает «Мадонну» Дюрера: «... указал бы на ее чисто *германскую* девственность и на Христа-младенца с огромно-развитым лбом, будущего Шеллинга или Гегеля». А в «Святом семействе» Рубенса «Мадонна есть идеальная квинт-эссенция той голландки, которая некогда продавала вафли в Москве и Петербурге» (обе цитаты — из письма к Ап. Майкову от 24 октября 1857 года).

То же и в театре. Страстной натуре Григорьева очень нравилась музыка Дж. Мейербера, которого он рассматривал вне немецкого или французского фундамента как выразителя еврейской национальной культуры:

«А в Пальяно — ревут и орут «Гугенотов», и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно, что сердце бьется и жилы на висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка — от четвертого акта до конца пятого... Это вещь *ужасная*, буквально *ужасная* (...) с ее фанатиками, с ее любовью на краю бездны, с ее венчанием под ножами и ружейным огнем. А все-таки — жид, жид и жид. Марсель — это не гугенот, это жидовский мученик. — Боже мой, да разве не слыхать этого в оркестровке его финальной арии: эти арфы — только ради благопристойности арфы, а в сущности это — оркестровка жидовских цимбалов и шабаша...» Заметим, что до 1860-х годов слово «жид», более часто употреблявшееся, чем «еврей», не носило еще уничижительного оттенка.

Больше всего, конечно, Григорьев размышлял об итальянском характере. Сразу же заметил, и потом неоднократно это повторял, музыкальную стихию, любовь к пению. Изумлялся «бычачьей грудью» оперных певцов и даже у итальянских кузнечиков при их сильном и немолчном стрекотании находил такую же «бычачью грудь». Общаясь с простонародьем, с городским мещанством, наш наблюдатель с грустью отмечал бездуховность, мелочность, постоянные разговоры о «сольди» (то есть, по-нашему, о копейках) и противопоставлял современных итальянцев их великим предкам, творившим в средние века и в эпоху Возрождения историю и искусство, имевшие всемирную ценность; все это затем измельчало и опошлилось, но почва Италии, считал он, вулканическая, под пеплом еще не остыла лава, она иногда прорывается наружу «то порывом Верди, то резцом скульптора».

Однако позднее, когда Григорьева захватил поток зимнего флорентийского карнавала и понес его по улицам и площадям, он, как и в русскую Масленицу, приобщился к народной толпе, увидел в ней раскованность, наивную простоту, страстность: «Голова у меня кружилась, — толпа носила меня, — сердце мое стучало... Странное, сладкое и болезненно-ядовитое впечатление. Тут живешь не настоящим, которое мелко во

Флоренции, а прошедшим, отзывами старых серенад и отблесками улыбок Мадонн Андреа дель Сарто, волканическими взрывами республиканских заговоров и великолепием Медичисов. *Почва* дает свой запах, старое доживает в новом и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений... Страстные безумные поцелуи Ромео и Юлии звучат из загробного мира...» (Из письма к Е.С. Протопоповой от 26 января 1858 года.)

Еще больше упрочил любовь Григорьева к итальянскому простонародью театр. В статье «Великий трагик» поется настоящий дифирамб демократическому зрителю: «О милая простодушная и энергическая масса!» Автор полюбил «все в ней, от резких, несколько декорационных очертаний ее физиономий и картинной закидки итальянского плащика до ее простодушной грубости в отношениях, грубости, в которой, право, затаено больше взаимного уважения людей друг к другу, чем в гладкости французов и чинной приторности немцев». Итальянская простая публика напомнила Григорьеву русское простонародье, массу московского театрального райка; только славянский характер, считал он, более суров и сдержан, хотя и не менее страстный в душе, чем итальянский.

В.П. Боткин, издавший как раз в 1857 году книгу очерков «Письма об Испании», постоянно там сравнивал испанский характер с русским; Григорьев в частных письмах тоже постоянно соотносил с Россией Италию. Но не только характеры сравнивал, а и глубинные основы культур, в первую очередь — основы религиозные. Католицизм, величие и великолепие которого Григорьев признавал в прошедшем, то есть в Средневековье и в эпоху Возрождения, теперь, считал он, стал слишком мирским: в соборах под Рождество играют отрывки из опер Верди и поют божественные гимны на музыку модных арий. А простонародье, поклоняясь прекрасным картинам и статуям Мадонн, пребывает чуть ли не на языческом уровне, смешивая Богородицу с Богом. В русской же деревне «молятся уродливым иконам истинные христиане, которые знают сердцем, что не иконам, а Незримому они молятся. Сила *нашего* именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих» (из письма к Погодину от 27 октября 1857 года).

В письме к Ап. Майкову от 24 октября Григорьев более широко раскрыл свою мысль: «... во всем католичестве все более и более вижу язычество, мифологию, а не христианство. Все, что православие сохранило как символ, как линии — напоминающие и возводящие к иному миру, — католичество развило в *мифы*, отелесило так, что видимое заменило собою невидимое. Эта

идея во всем и повсюду. Везде *папство*, т.е. низведение Царствия Божия на землю, в *определенные*, прекрасные, но чисто человеческие идеалы. Крайнее последствие этого — Мадонны с любовниц и музыка из «Лукреции Борджиа» (опера Г. Доницетти. — *Б.Е.*) во время католической обедни». Григорьев ненавидел официальную русскую церковь, но глубоко чтил народную православную веру и считал, что именно в таком православии заключается истинный демократизм и торжество духовного начала. При этом он включал в православный мир и все старообрядчество.

Из всех живописных произведений Италии самое сильное впечатление на Григорьева произвела «Мадонна» Мурильо из галереи Питти. Во-первых, в облике Мадонны для него проступали черты Л.Я. Визард, во-вторых, он был потрясен совершенством картины, наконец, окружающий образы темный, почти черный фон наш путешественник истолковал в своем духе — как чрезвычайно значимый, содержательный. Наиболее подробно эту мысль он развил в письме к Е.С. Протопоповой от 20 октября 1857 года: «По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, все раза три возвращусь я к Мадонне. (...) Этакого высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я во сне даже до сих пор не видывал (...). Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно нежный, девственно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и младенец, стоящий у нее на коленях. (...) Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розово-палевого сияния зари (...) — нет даже утонченности в накладке красок: все создавалось смело, просто, широко... Но тут есть аналогия с бетховенским творчеством, которое тоже выходит из бездн и мрака, и также своей простотою уничтожает все кричащее, все жидовское (хоть *жидовское*, т.е. Мейербера и Мендельсона, — как вы знаете, — я страстно люблю)».

Но это еще не все. Свои впечатления от картины Мурильо Григорьев изложил еще в нескольких стихотворениях, из которых наиболее яркое — первое, созданное, видимо, той же осенью 1857 года:

Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно-прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик...

Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной
Выходишь, как лучи зари, светла;
Но связью страшной, неразрывно-брачной

С тобой навеки сочеталась мгла...
Как будто он, сей бездны мрак ужасный,
Редеющий вкруг юного чела,

Тебя обвил своей любовью страстной,
Тебя в свои объятья заковал,
И только раз по прихоти всевластной

Твой светлый образ миру показал,
Чтоб вновь потом в порыве исступленья
Пожрать воздушно-легкий идеал!

В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;

И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?

В ней хаос разрушительный таится.

Написанное дантовскими терцинами, это стихотворение — одно из самых значительных и глубоких в наследии Григорьева. На новом жизненном витке поэт как бы развил и подытожил идеи «Кометы», всей группы стихотворений сороковых годов, связанных с любовью к А. Корш, «визардовского» цикла «Борьба»: темный образ как бы порождает и как бы владеет светлым, он лишь на какой-то миг отделяет от себя «прозрачное и юное виденье», чтобы потом «пожрать» его «в порыве исступленья»; автор стихотворения (или его лирический герой) и дрожит за светлый образ, и в то же время потрясающе смело — ведь речь идет об образе Мадонны! — произносит строку «В тебе самой есть семя разрушенья». Так что на фоне новых впечатлений от картины Мурильо восстанавливаются ореолы старых коллизий (при этом временно́й миг живописи расширяется до сюжета!), когда «темный» «он» никак не мог соединиться со «светлой» «ею», пока не усматривал в ней тоже «темные» черты. Изломанные утопические мечты юности размыто всплывали теперь во Флоренции.

Клин клином вышибают. Многолетняя сердечная рана от любви к Л.Я. Визард стала немного зарастать, когда пришла новая любовь. Григорьев подружился зимой 1857/58 года с сестрами Мельниковыми, одна из которых, Ольга Александровна, видимо, лечилась на юге от захватившей ее чахотки. Это была интеллигентная петербургская семья; Ольга Александровна — племянница министра путей сообщения П.П. Мельникова.

Григорьев выделял в женских характерах два типа: «собачий» и «кошачий». Первый — отдающий себя, подчиняющийся, рабский; второй — переменчивый, гибкий, ускользающий, иногда способный и царапнуть. Естественно, нашему романтику нравился второй тип. А Ольга Александровна Мельникова, видимо, из всех его знакомых женщин больше всего его напоминала. В начале 1858 года Григорьев записал в ее альбом несколько стихотворений, которые он потом, с приложением других, соединил в цикл и озаглавил «Импровизации странствующего романтика». Второе стихотворение этого цикла подробно раскрывает идеал женщины в представлениях поэта (приводим альбомный вариант, а не позднейшую печатную переделку):

Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки...
То лень в тебе небрежная,
То — прыг! поди лови!
И дышит речь мятежная
Всей жаждою любви.
... ...
Готов я все мучения
Терпеть, как в стары годы,
От гибкого творения
Из ко́шачьей породы.
Что хочешь делай ты со мной,
Царапай лапкой больно...
Я все у ног твоих с мольбой!
Ты киска — и довольно!

Григорьев привязался к семье Мельниковых, ходил с ними в церковь, засиживался у них вечерами до неприличия, в 11 часов ему приходилось «намекать», что уже поздно. Вряд ли Ольга Александровна отвечала ему глубоким чувством, скорее это было девичье кокетство и симпатия к талантливому литератору. Да и Григорьева вряд ли эта любовь захватила так глубоко, как его предыдущие страсти. Весной Мельниковы уехали в Петербург, а когда полгода спустя и Григорьев оказался в столице, дело ограничилось лишь несколькими визитами к симпатичному семейству.

Новые события, новые встречи быстро выветрили флорентийское увлечение. От него остались светлые воспоминания и ряд прекрасных стихотворений, самое сильное из которых — еще флорентийское, прощальное, когда поэт покидал Флоренцию и думал о дорогом образе. А включил он это стихотворение в альбом О.А. Мельниковой уже зимой, в Петербурге. Любопытно, что он записал его после нескольких строф «Из Мицкевича», как бы в виде продолжения. На самом деле это не оригинальный Мицкевич, Григорьев перевел на русский язык начало переведенной польским поэтом байроновской поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», где герой прощается с родиной. Почему он сделал перевод с перевода, а не с подлинника,

который он прекрасно знал и с которого чуть позднее сам перевел эти строки, — загадка. Может быть, потому, что в 1858 году на Западе праздновалось 60-летие Мицкевича, и Григорьев хотел отметить дату любимого поэта? Неясно. По крайней мере, фон с именем польского эмигранта, тоскующего по родине, усиливает стержневую линию отрывка, включая ее в двойное прощание «приложения», то есть чисто григорьевского стихотворения. Приводим его начальное и конечное (всего их четыре) четверостишия:

Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнею силой...
... ...
Прости-прощай ты, стемнели воды...
Сердце разбито глубоко...
За странным словом, за сном свободы
Плыву я далеко, далеко...

Ольга Александровна Мельникова, слава Богу, излечилась от чахотки, потом, уже после кончины Григорьева, она вышла замуж за старшего сына Ф.И. Тютчева Дмитрия и прожила долгую жизнь (умерла в 1913 году), сохранив два альбома, куда записывались стихотворения нашего поэта.

Все три девушки, в которых был влюблен Григорьев, отвечали ему холодностью, и поэтому у него сложилось представление о типической «рыбьей» сдержанности, закованности русской женщины. В более поздней статье «Искусство и нравственность» (1864) он писал, что героиня тургеневского романа «Накануне» Елена Стахова, смело отдавшаяся Инсарову, — не тип, а исключение: «... исключительная, экзальтированная натура. Целомудренному обществу нашему и пугаться-то нечего было за своих дочек, сестриц и внучек. Не к фанатизму идеи, а скорее к апатии наклонны наши женщины, и ежели удивительные, страстные сцены тургеневского романа шевелили их сердца, так это было им, право, в пользу, а не во вред. Может быть, хоть которая-нибудь из них, сочувствуя увлечению Елены, подумала, что ведь Елена-то в своем романтизме правее многих из наших барышень».

Кроме Мельниковых Григорьев общался во Флоренции еще с несколькими соотечественниками, которые скрашивали его тоску и хандру. Прежде всего это его духовник протоиерей П.П. Травлинский, священник домашней церкви А. Демидова, князя Сан-Донато, видимо, единственной православной церкви во Флоренции. Духовник, соприкасаясь с католическим миром, мучительно размышлял, как включить принцип свободы в православную систему, а Григорьев, соблюдавший тогда все обряды, вплоть до постов (заграница часто усиливает консервативный традиционализм!), и принимавший православие в целом как демократическое, народное, стихийно-историческое начало, в то же время резко отмежевывался от русской «холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви», от «верований официальной церкви иже о Христе жандармствующих» (цитата из письма к Погодину от 26 августа 1859 года). Григорьева, видимо, особенно возмущало узаконенное социально-политическое доносительство среди священнослужителей, в том числе нарушение тайны исповеди.

Очень скрасил Григорьеву одиночество приезд во Флоренцию И.С. Тургенева, который провел в городе около десяти дней в марте 1858 года, и все эти дни раньше не очень знакомые друг с другом писатели вели многочасовые беседы. Григорьев рассказывал перипетии своей жизни и творческие планы, читал написанное во Флоренции, а Тургенев, очевидно, рассказывал о работе над романом «Дворянское гнездо», которая близилась к концу, но еще не была завершена. Я убежден, что по крайней мере два эпизода из романа навеяны беседами автора с Григорьевым: драматическая история женитьбы отца Лаврецкого на крестьянке и потрясение Лаврецкого, когда он узнал об измене жены, — уж очень совпадают эти эпизоды с тем, что мы знаем о нашем Аполлоне и о его родителях. Оба собеседника были очень довольны встречей и надолго ее запомнили. Тургенев стал отмечать сходство Григорьева-человека и критика с Белинским («неистовость», непоколебимая убежденность в излагаемых идеях), а Григорьев вскоре напишет большую-пребольшую (в четырех частях) статью о «Дворянском гнезде», а другую большую и принципиальную свою статью «После «Грозы» Островского» сопроводит подзаголовком «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу».

Из флорентийских постоянных жителей и нерусских иностранцев известен только один знакомый Григорьева — французский эмигрант, радикальный деятель, участник парижской революции 1848 года Демостен Оливье. Григорьев ценил его благородство и уважал наивную веру в социализм, но относился к нему как к старому ребенку, конечно же, ни в какой социализм уже не веря.

В семье Трубецких положение русского учителя было не очень гармоничным. Он привязался к детям (особенно, помимо князя Ивана, к его старшей сестре Анастасии, невесте на выданье), и они к нему привязались. С англичанином-гувернером Беллом был в добрых отношениях, ценил его честность и старательность, но считал весьма ограниченным, товарищем и другом тот никак не мог быть. А вот с еще одним наставником

князя Ивана, Иваном Егоровичем Бецким, находился в самых неприязненных отношениях. Бецкой был незаконнорожденным сыном или потомком незаконного сына кого-то из Трубецких (мне не удалось установить родственные связи между ним и екатерининским вельможей Иваном Ивановичем Бецким, по легенде — реальным отцом Екатерины II). Как было принято у русских именитых дворян, незаконному сыну присваивалась усеченная отцовская фамилия (Пнин — сын Репнина и т.д.), таково происхождение и фамилии Бецкой; так как она происходит от Трубецкого, то ошибочно именовать таких потомков «Бецкий» — именно «Бецкой», с ударением на последнем, а не на первом слоге.

Григорьев со свойственными ему крайностями считал Бецкого чуть ли не исчадием ада, «гнусной гнидой с неприличных мест грыжи Закревского» (из письма к Погодину от 18 сентября 1857 года; Закревский — московский генерал-губернатор, один из самых отвратительных вельмож николаевской поры; Александр II скоро его отправит в отставку). Бецкой, наверное, был туповатым, ограниченным, очень добропорядочным христианином и монархистом, Григорьева явно не любил за его вольные мысли и вольное поведение; юному князю Ивану он занудно втолковывал правила православного катехизиса. Но все-таки исчадием ада он не был. Его сокурсник по Московскому университету Ф.И. Буслаев, весьма объективный мемуарист, дает ему такую характеристику в «Моих воспоминаниях»: «Весною 1875 года провел я целый месяц во Флоренции и чуть не каждый день видался с Бецким, возобновляя и освежая в памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тем легче было мне молодеть и студенчествовать вместе с ним, что он, проведя почти полстолетия вдали от родины, как бы застыл и окаменел в тех наивных, юношеских взглядах и понятиях о русской литературе и науке, какие были у нас в ходу, когда в аудитории мы слушали лекции Давыдова, Шевырева и Погодина. Этот милый монументально-окаменелый студент у себя дома в громадном кабинете забавляется откармливанием певчих пташек, которых развел многое множество в глубокой амбразуре всего окна, завесивши его сеткою. А когда он прогуливается по улицам Флоренции, постоянно держит в памяти свою дорогую Москву, отыскивая и приобретая для нее у букинистов и антиквариев разные подарки и гостинцы, в виде старинных гравюр и курьезных для истории быта рисунков, и время от времени пересылает их в московский Публичный и Румянцевский музей». Добавим еще, что подобные же коллекции Бецкой посылал в петербургскую Публичную библиотеку и в Харьковский университет.

Центральной фигурой в доме была мать князя Ивана, княгиня Леопольдина Юлия Терезия Трубецкая, урожденная Морен (Григорьев ее принимал за итальянку, но она была француженкой). Житейски, видимо, очень неглупая, погруженная в семейные дела (выдача дочери замуж, решение судьбы сына — куда отдавать учиться, какие-то земельные споры об итальянских родовых имениях), деспотическая к слугам (Григорьев неоднократно говорил, что она целый день бранится, как кухарка) и к домочадцам: однажды Бецкого оставила без обеда за какой-то проступок! К Григорьеву отнеслась с уважением, видя его образованность и умение обучать ленивого сына, но тоже попыталась взять его в ежовы рукавицы. Делала несколько мелких замечаний — он стерпел, отшутился. Но когда она ему заметила, что у них не полагается возвращаться после десяти вечера, то он тут же — конечно, не имея гроша в кармане, — переехал в дом, где сдавались меблированные комнаты, и все оставшиеся месяцы 1858 года (а переехал в начале февраля) прожил отдельно, потеряв и кров, и пищу — и лишь приходя к Трубецким учить князя Ивана. Неизвестно, где он в чужом городе, в чужой стране находил традиционных для себя кредиторов, но, разумеется, одного учительского жалованья на широкие запросы и самостоятельное житье-бытье ему явно не хватало. Наверное, Григорьева очень выручил граф Г.А. Кушелев-Безбородко — об этом речь пойдет в следующей главе.

Поселился Григорьев на улице Святых Апостолов (Борго Санти Апостоли), первой улице центра города, параллельной реке Арно и располагавшейся между главными мостами через реку — Понте Веккио и Понте Тринита. Улица эта — одна из древнейших во Флоренции; она насыщена дворцами XIV—XV веков, но возникла, наверное, еще в первом тысячелетии после Р.Х., так как «Борго» по-итальянски означает не улицу, а «предместный поселок» — когда-то здесь была окраина города. Через маленькие переулочки между улицей и набережной Григорьев выходил гулять на Арно. Из нового жилья ему рукой было подать и до Уффици, и до Питти, да и дворец Трубецких был близко.

Любые «каникулы» (на рождественские, пасхальные и другие праздники) он использовал для поездок в другие города Италии. Первые дни января 1858 года он провел в Сиенне, где проследил всю историю сиенской школы живописи, посещая собор, церкви, Академию изящных искусств (картины и фрески Д. ди Буонисенья, А. и П. Лоренцетти, Б. Перуцци и др.). В апреле он взял у Трубецких отпуск и две недели наслаждался Римом; как он писал И.С. Тургеневу, «блаженствовал лихорадочно».

Великое искусство Италии, наверное, подталкивало Григорьева и на собственное творчество. Помимо не очень большого числа стихотворений, он собирался создать книгу очерков о своем пребывании за границей, книгу размышлений о родине, о мире — «К друзьям издалека». Эх, если бы он написал такую книгу! Замысел был огромный, книга состояла бы из пяти частей: «Море», «Дорога», «Жизнь в чужом краю», «Искусство», «Женщины». Как сообщил автор Фету 3 февраля 1858 года, он уже написал первую часть «Море» — целых восемь печатных листов! — и отправляет А.В. Дружинину для «Библиотеки для чтения». Но ни странички из этой рукописи не сохранилось. Потерялась в дороге? Пропала у Дружинина? А может быть, Григорьев, желая что-нибудь подправить, задержал рукопись у себя и потом по безалаберности оставил у Трубецких, когда переезжал на нанятую квартиру? Как раз ведь его уход из дома Трубецких приходится на те дни. Очень, очень обидна эта пропажа. Несколько лет спустя, находясь в Оренбурге, Григорьев опять задумал книгу очерков о своих поездках — и опять до нас ничего не дошло, может быть, тогда писатель и вообще еще не приступал к работе.

Вскоре после Рима Григорьев стал собираться вместе с Трубецкими в летний Париж; семейная кавалькада отправилась в конце мая через Ливорно—Геную—Марсель, то есть пароходами до французского берега. В Генуе была остановка, и наш путешественник смог осмотреть художественные галереи и церкви. По прибытии в Париж он опять пожелал жить самостоятельно и, имея всего червонец в кармане, начал слоняться по гостиницам. Еще только осваиваясь во Флоренции, он уже писал Е.С. Протопоповой 1 сентября 1857 года: «В Италии мне так же гадко, как будет в Париже через два дня по приезде, как было и будет в Москве». Воистину. Первые дни, конечно, ушли на многочасовые посещения художественных музеев. Лувр особенно притягивал Григорьева, а там — Венера Милосская. В Италии наш литератор впервые познал и прочувствовал живопись — она «запела», а Париж, Лувр, впервые показал ему, что такое настоящая скульптура, мрамор Венеры Милосской «запел» для него... Как в галерее Питти он подолгу разговаривал с «Мадонной» Мурильо, так в Лувре часами находился у Венеры Милосской и вел с ней беседы. И — богиня ведь! — молил ее послать ему женщину — жрицу любви, а не корыстного разврата.

Но богиня не снисходила до такого подарка. Зато судьба послала Григорьеву Максима Афанасьева, участника вечеринок «молодой редакции» «Москвитянина». Мы очень мало знаем об этом человеке, лишь из писем Григорьева к друзьям смутно вырисовывается образ талантливого молодого москвича, но проповедовавшего идеалы Разина и Пугачева. От этих идеалов наш Аполлон отшатывался с ужасом, но уважал «беспутство», а когда встретил Максима в парижской православной церкви, то полетели в пропасть все попытки вести добропорядочную жизнь, пустились Аполлон с Максимом во все тяжкие. Как назло, Григорьев еще уронил себя в глазах Трубецких и их аристократических знакомых: на одном званом обеде упился, как сапожник.

Но регулярные занятия с князем Иваном продолжались; ежедневно, по четыре часа, учитель преподавал ученику прежние предметы. В августе Трубецкие стали собираться в Италию, позвав Григорьева и на второй учебный год. Он согласился, уговорил скупую княгиню приобрести нужные для занятий книги по истории, политической экономии, древним литературам; готов был выехать во Флоренцию в начале сентября и заранее задумал жить все-таки на отдельной квартире. Трубецкие уже отправились в Италию. И вдруг... У Григорьева очень часто возникали эти «вдруг», как позднее у героев Достоевского. Проснулся он 30 августа «после страшной оргии» с компанией Максима Афанасьева, «с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской», и вспомнил — что это день именин Островского, когда все члены «молодой редакции» собирались вместе, были полны лучезарных планов и надежд. И это воспоминание стало последней каплей: «В Россию! раздалось у меня в ушах и в сердце!.. (...) А Трубецкие уж были на дороге к Турину и там должен я был найти их. В мгновение ока я написал к ним письмо, что по домашним обстоятельствам и проч.» (цитата из письма к Погодину от 30 сентября 1859 года). Но ему пришлось проторчать в Париже еще две недели, пока не раздобыл денег на дорогу. В связи с этим неожиданным решением рухнули давние планы Григорьева посетить Герцена в Лондоне.

Кто знает, может быть, поездка в Англию и изменила бы его дальнейшую судьбу. В последние месяцы заграничной жизни Григорьев находился в тяжелейшем идеологическом и нравственном кризисе. Впрочем, это потом продолжилось и в России. Уже в «Москвитянине», в связи с неуспехом журнала, глава «молодой редакции» стал терять ощущение своей нужности людям, своей правоты, а это — самое страшное для мыслителя и журналиста. После «Москвитянина», при отсутствии своего печатного органа, подобное мироощущение лишь усилилось. Даже когда Григорьев начинал участвовать в новом и перспективном журнале «Русское слово», оно, это мироощущение, не выветрилось из глубины его души. «Веры, веры нет в торжество своей мысли, да и чорт ее знает теперь, эту *мысль*», — откровен-

но признавался он в письме к Е.С. Протопоповой 26 января 1859 года. Тем более пессимизм нахлынул после провала надежд на «Русское слово». Из письма к Погодину от 29 сентября 1859 года: «Я дошел до глубокого основания своей бесполезности в настоящую минуту. Я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела». Григорьев верил в победу своих идей лишь в отдаленном будущем, а что тогда ему оставалось делать сейчас? Вот тут и возникала мысль о сотрудничестве с Герценом как об одном из вариантов жизненного выбора: «Афонская гора или виселица» (письмо к Е.С. Протопоповой от 19 марта 1858 года); «... либо в петлю, либо в Лондон...» (письмо к М.П. Погодину от 28 сентября 1860 года). Петля — это, конечно, самоубийство, мало вероятное для христианина. А виселица — не «личная» петля, это убийство со стороны государства. Видимо, здесь тоже брезжил лондонский ореол, сотрудничество с Герценом. Так что получалась дилемма: или идти в монахи на Афонскую гору, или ехать к Герцену в Лондон. Но в действительности Григорьев не принял ни тот, ни другой путь, а продолжил журнальную и творческую литературную работу в России.

В РОССИЮ!

Своих денег у Григорьева в Париже не оставалось ни гроша — как обычно. Но — опять вдруг! — еще весной 1858 года на его пути появился великий банкир. Не Господь Бог, на которого он так уповал, а земной человек — граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко (1832—1870). Потомок знаменитого екатерининского вельможи, бездетный, меценат, молодой еще человек (он был на 10 лет моложе Григорьева). Обладавший несметными богатствами предков, граф не хотел быть вельможным бездельником, а так как он сам баловался писательством (будучи в общем-то графоманом) и так как существовавшие журналы и газеты не очень его жаловали, то он еще в 1856 году решил издавать свой собственный журнал «Русское слово». Человеку с таким титулом и такой фамилией, конечно, было легко получить разрешение, и, когда Григорьев находился в Италии, граф как раз организовывал редакцию.

Надо сказать, что и в жизни, и мировоззренчески граф был достаточно демократичен. Он женился не на особе из придворных кругов, а на провинциальной дворянке, пусть и генеральской дочке (многие считали, что именно она, Л.И. Кроль, женила на себе графа и повелевала им потом; ср. мнение журналиста Г.Е. Благосветлова, высказанное в частном письме: «О

сиятельной бездарности нечего иначе думать. Это мальчишка, накрытый юбкой пройдохи женского рода»). Общался граф тоже в обществе невельможных литераторов. А брат жены Николай Иванович Кроль (1823—1871), поэт и публицист, вообще чувствовал себя разночинцем и помещал свою сатиру в радикальных журналах (например, в «Искре»), был под наблюдением полиции и т.д. Между прочим, ходили легенды, что его страсть к кутежам плохо повлияла на Григорьева и Мея, но эти поэты и без Кроля знали толк в выпивке. А через Кроля граф познакомился и подружился с Ап. Майковым, помогал ему материально. Кушелев-Безбородко пригласил своим помощником, по рекомендации Ап. Майкова, Я.П. Полонского, а тот в свою очередь рекомендовал в качестве ведущего сотрудника нашего литератора (Полонского же и Кушелева относительно Григорьева тоже горячо уговаривал Ап. Майков). Путешествуя по Италии, граф посетил и Флоренцию, где предложил Григорьеву отдел критики будущего журнала. Графа тогда сопровождал Полонский, оказавшийся за границей, подобно Григорьеву, учителем сына известной в литературных кругах А.О. Смирновой-Россет, но вскоре порвавший с ней.

Григорьев, все менее веря и надеясь на «Москвитянина», с удовольствием согласился на предложение. Наверное, еще в Италии он начал получать от графа какие-то суммы денег в виде аванса, а в Париже его ссудил деньгами на поездку в Россию Полонский — несомненно, это были тоже средства графа, сам Полонский был бедняк бедняком. Граф летом 1858-го тоже находился в Париже.

Конечно же, ни до какой России Григорьеву займа не хватило. Наверное, еще в Париже давал друзьям «отвальные» вечера, да и по дороге растратился. В Берлин он приехал в холодный сентябрьский вечер в коротеньком парижском пиджачке, без плаща или пальто, без гроша в кармане. Но берлинцы уже привыкли к «русским воронам», переживавшим полосы безденежья, но потом щедро расплачивавшимся, и путешественник смело взгромоздился на «дрожки» (немцы заимствовали это слово!) и велел везти себя в хорошую гостиницу «Ротэр Адлер», то есть «Красный орел», где, надеялся, с возницей расплатятся. Так и вышло, и через несколько минут он уже сидел в теплом и чистом номере, наслаждаясь папиросой и чаем. Перед ним стояла «Тэе-машинэ», чайная машинка, помесь чайника с самоваром.

Год с небольшим назад, по дороге в Италию, Григорьев остановился в этом же «Красном орле», вместе с замечательным радикальным деятелем П.А. Бахметевым, ехавшим в Лондон передавать Герцену большую сумму денег, а потом отправившим-

ся то ли в Америку, то ли на острова Тихого океана создавать социалистическую колонию — и бесследно исчезнувшим. Григорьев с Бахметевым сидели за такой же тэе-машинэ, за разговором не заметили, как выкипела вся вода и «машинэ» растопилась, и с них слупили 25 талеров, громадную сумму, на которую можно было купить несколько самоваров с чайными сервизами. Кажется, на этот раз Григорьев машинку не испортил, но все равно ему было не легче на душе и от невообразимой тоски и от отчаяния, от одиночества и неудач, от безденежья. Ящик с прекрасными книгами и гравюрами, любовно приобретенными в Италии, пошел у берлинского книгопродавца за бесценок (якобы под залог, но, конечно, без последующего выкупа).

Гостиница «Красный орел» помещалась на небольшой улице Курштрассе в самом центре Берлина, близ главной улицы Унтер ден Линден с университетом, театрами, королевской картинной галереей и т.д. Это были слабые, но отдушины для театрала и человека искусства. А чтобы не изнывать от одиночества, Григорьев завел мимолетный роман с «фрейлейн Линхен» (познакомился, прогуливаясь в Тиргартене, известном берлинском парке). Облик и характер фрейлейн с великолепным юмором описаны в его очерке «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (1860), где под Иваном Ивановичем подразумевался сам автор: «Fräulein Linchen (...) прибывала «на своих на двоих», как говорится, с аккуратностью немки, в три часа пополудни в общий стол отеля и разделяла с Иваном Ивановичем обычную трапезу общего стола, состоявшую из блюд, приправленных самыми неестественными украшениями (...) Fräulein Linchen пожирала с большим удовольствием все нарочно сочиненные блюда трапезы, а Иван Иванович ел, как волк, — скоро, порывисто и выбирая только куски пожирней и побольше. (...) Fräulein Linchen (...) как истая немка привязалась не к одним прусским талерам, а ко многим качествам Ивана Ивановича, соединяя с полезным приятное (...), она изливала свою душу в ласкательных прозвищах, как то: «meine schöne Puppe»* и других, расточаемых ею даже на отдельные части особы Ивана Ивановича вроде руки, носа и проч.».

Но этот юмор — сквозь слезы.

Пребывание в Берлине оказалось, пожалуй, кульминацией тогдашнего пессимизма Григорьева, его ощущения жизненного краха: «Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра»

---

* «Моя милая куколка» (*нем.*).

(письмо к М.П. Погодину от 6 октября 1859 года). Но все же впервые маячило в тумане «Русское слово». Чтобы не застрять надолго в Германии, наш путешественник срочно запросил у графа Кушелева-Безбородко денег на оставшуюся дорогу, и тот срочно же выслал. Через две-три недели берлинской жизни Григорьев отправился из Штеттина в Петербург на том же самом пароходе «Прусский орел», на котором он уезжал в 1857 году за границу. Последние дни берлинского времяпровождения нашему скитальцу скрасил тоже едущий в Россию В.П. Боткин. Кажется, они на одном корабле и вернулись домой (не исключено, что материально, помимо графа, Григорьеву помог и этот спутник).

Как ни презирал наш москвич «холодный и бесстрастный» Петербург, «град рабов, казарм, борделей и дворцов», но ему пришлось весь оставшийся отрезок жизни, за вычетом редких поездок в Москву и годового пребывания в Оренбурге, просуществовать в столице, ибо именно там кипела литературная и журнальная деятельность, да и там предстояла ему напряженная работа во вновь организованном графом журнале «Русское слово».

Первые петербургские недели Григорьев жил то ли в гостинице, то ли в меблированных комнатах (тоже фактически гостиница!) на Гончарной улице, близ Московского вокзала. Любопытно, что в это время у Григорьева неожиданно наметилась возможность снова сблизиться с покинутой семьей. В письме к Е.Н. Эдельсону от конца 1858 — начала 1859 года он просит друга сопроводить Лидию Федоровну в поезде из Москвы в Петербург: «Когда ты сам поедешь, то имей *галантерею* позаботиться в дороге о моей жене — ибо она тоже собирается ко мне в побывку». Но из семейного восстановления ничего не получилось, мы даже не знаем, состоялась ли поездка жены в Петербург. А вскоре какие-либо подобные намерения оказались совершенно невозможными, ибо к концу 1858 года (или в самом начале 1859-го) в личной жизни молодого петербуржца произошло очень важное событие. Хозяин дома, где он снимал номер, Алексей Арсеньев, поставлявший жильцам женщин легкого поведения, привел ему Марию Федоровну Дубровскую, ставшую горемычной спутницей, невенчанной женой Григорьева до его кончины.

Дочь бедного провинциального учителя (так она говорила), Мария Федоровна оказалась каким-то образом в Петербурге в весьма жалкой роли продажной «жрицы любви», как выражался Григорьев в Париже. А в Оренбурге в более позднем письме к Н.Н. Страхову (1862) он назвал Марию Федоровну «устюжской барышней». Исследователи поэтому считали ее родным городом

Великий Устюг. Но они не учли, что под Череповцом на Вологодчине есть городок Устюжна, от которого тоже можно произвести прилагательное «устюжская» (хотя точнее было бы «устюженская»). А среди опубликованных Якушкиным песен, данных ему Григорьевым, одна была записана «от череповецкой жительницы». Может быть, именно от М.Ф. Дубровской? Конечно, это только предположение. Среди учителей Великого Устюга и Устюжны по справочникам тех и предыдущих лет никакой Дубровский не числится. Но носила ли Мария Федоровна фамилию отца? И в самом ли деле он был учителем? Ведь Дубровская могла сочинить свою биографию для поднятия социального престижа. Ее прошлое, да и будущее покрыто туманной завесой, даже ее фамилия была неизвестна — ее открыл четверть века назад автор этих строк, найдя ее письма к Н.Н. Страхову.

Григорьев неожиданно привязался к «жрице» (тем более что она принадлежала, по его классификации, к группе «кошек»), она к нему тоже, возникла настоящая взаимная любовь, согревшая нашего неудачника впервые в его жизни. Возможно, что и Мария Федоровна впервые познала высокое чувство. Они сошлись, Григорьев переехал к ней на квартиру в доме каретника И.Л. Логинова на Невском проспекте. Здание не сохранилось, ныне это участок дома № 61, между Владимирским проспектом и улицей Марата (первоначально эта улица называлась Грязной, после смерти Николая I — Николаевской, а в советское время получила имя героя Французской революции).

Но совместное житье-бытье оказалось совсем не безоблачным. Да и что в григорьевской жизни было безоблачным?! Прежде всего выяснилось большое различие в духовных уровнях, в идеалах и вкусах. Малообразованной Марии Федоровне были совершенно чужды творческие интересы Аполлона Александровича, его свободному антимещанскому поведению противостояла ее оглядка «как у людей», ее запачканная прежней грязью душа была очень закомплексована, ей постоянно мерещились косые и пренебрежительные взгляды, она постоянно ревновала любимого ко всем женщинам; лишенная воспитания и сдерживающих начал, она устраивала дикие сцены, била посуду и оконные стекла, впадала в безумную истерику и проч., и проч. Познакомившийся с ней позднее Ф.М. Достоевский, наверное, использовал некоторые ее буйные черты, рисуя своих героинь с непредсказуемым поведением.

Вскоре, с осени 1859 года, наступили и материальные трудности. Пока Григорьев был в первом полугодии ведущим сотрудником кушелевского «Русского слова», он получал много денег и тратил их бездумно. Как он честно сообщал в поэме «Вверх по Волге»:



Ап. Григорьев. *Петербург. Фото начала 1860-х гг.*



Я. П. Полонский. *Литография 1850-х гг.*



А. Н. Майков. *Фото 1856 г.*



Т. И. Филиппов.



А. Н. Островский. *Фото 1856 г.*

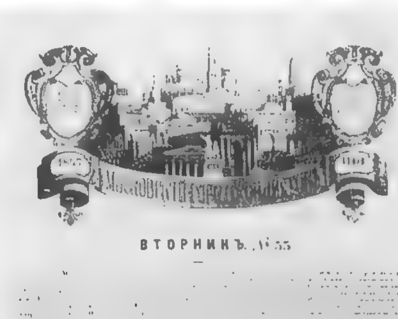


Б. Н. Алмазов. *Фото 1860-х гг.*



Е. Н. Эдельсон. *Фото 1850-х гг.*





ВТОРНИКЪ. № 33

Ежедневная газета «Московский городской листок», издававшаяся В. Н. Драшусовым. Ап. Григорьев — активный сотрудник газеты; в № 33 — его первая статья-рецензия.



Флоренция. Дворец Барджелло (XIII, XV вв.). Средневековая судебная палата и тюрьма. Ныне — музей.
Совр. фото.

Флоренция. Понте Веккио (Старый Мост) через реку Арно; его основы заложены еще этрусками. Григорьев почти ежедневно в 1857—1858 гг. ходил через него в галерею Питти. *Совр. фото.*





Б. Э. Мурильо. Мадонна с младенцем. *Около 1650 г.*
Любимая картина Григорьева в галерее Питти.



Флоренция. Дворец Уффици (XVI в.). Знаменитая картинная галерея. Здание с башней позади дворца — дворец Синьория, или «Старый» (XIII—XVI вв.). *Совр. фото.*



И. С. Тургенев. *Рисунок Полины Виардо. Около 1858 г.*

Флоренция. Дворец Питти (XV в.), самое грандиозное здание города. Знаменитая картинная галерея. *Совр. фото.*





Полина Виардо-Гарсиа. *Портрет Е. А. Плюшара. Около 1853 г.*



Цыганка. *С рисунка неизвестного художника.*



Цыганская пляска. *1830.*



Трактир в Перовой роще. *1847 г. С литографии Руднева.*



Цыганская пляска. *С литографии XIX в.*

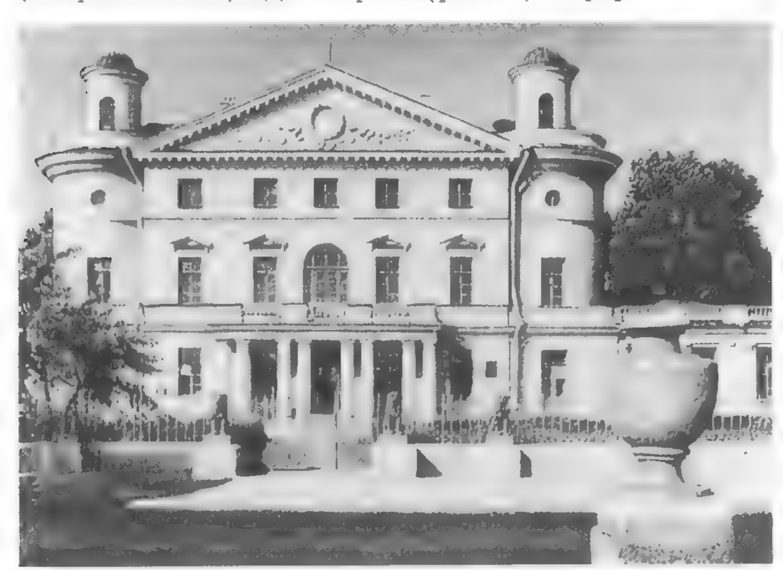




Граф Г. А. Кушелев-Безбородко. *Литография с фото середины 1850-х гг.*



М. Н. Катков. *Фото конца 1850-х — начала 1860-х гг.*



Загородный дворец графа Г. А. Кушелева-Безбородко в Полюстрове. Построен в 1773—1777 гг. по проекту В. Баженова (центральная часть) и Дж. Кваренги (флигели). *Совр. фото.*



А. А. Краевский. *Литография с фото 1862 г.*



А. П. Милюков.
Фото 1860-х гг.



Н. Н. Страхов.
Фото 1860-х гг.



Оренбург. Дом, бывший Тимашева (построен в конце XVIII в.), где (предположительно — в мезонине) снимал квартиру Григорьев. *Фото начала XX в.*

Николаевская улица в Оренбурге в 1850-х гг. *Рисунок-реставрация В. В. Дорофеева. 1998 г.* На переднем плане — здание 2-го эскадрона Кадетского корпуса, далее — манеж (театр).





Ф. М. Достоевский.



М. М. Достоевский.
Фото конца 1850-х гг.



ВРЕМЯ

ЖУРНАЛЪ

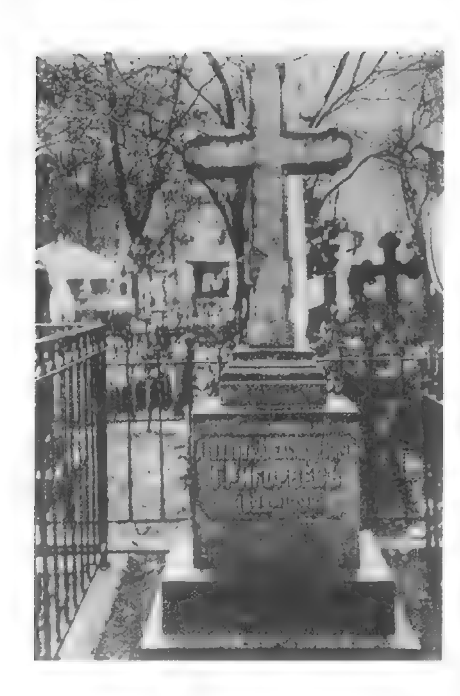
ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ТОМЪ I

ПЕТЕРБУРГЪ

«Время», ежемесячный петербургский журнал братьев М. М. и Ф. М. Достоевских (1861—1863).

Аполлон Григорьев.
Фото начала 1860-х гг.
Во второй половине XIX в. этот портрет висел в фойе Александринского театра.



Могила Григорьева на Митрофаньевском кладбище в Петербурге (не сохранилась, прах перенесен на Волково кладбище).

«Несанкционированный митинг» группы ленинградских литературоведов у могилы Григорьева на Волковом кладбище в 100-летнюю годовщину со дня смерти писателя (октябрь 1964 г.). Слева направо: Ю. Д. Левин, Б. О. Костелянец, А. В. Тамарченко, Л. А. Николаева, Б. Ф. Егоров, М. И. Дикман, Ю. К. Герасимов, И. З. Серман.
Фото С. А. Рейсера.



И впрямь, как купчик, в эту пору
Я жил... Я де́ньгами сорил,
Как миллионщик, и кутил
Без устали и без зазору...

А потом наступили черные дни. В конце 1859 года Мария Федоровна родила мальчика, и отцу ребенка пришлось переживать, как он говорил потом, «некрасовскую ночь», имея в виду похожий сюжет из известного стихотворения Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...». В квартире стоял адский зимний холод — не было дров. Мария Федоровна лежала больная после родов. Ребенок безнадежно плакал — у матери не было молока (вскоре мальчик умер). У взрослых не было денег на еду. И как раз в этот момент из Москвы приехал Эдельсон — стыдить и увещевать друга Аполлона за его беспутную жизнь и требовать, чтобы он помогал оставленной семье (помимо жены и детей был еще жив старый отец). Но сам Эдельсон ни копейкой не помог обедневшему другу, что тот помнил потом очень долго.

Неясно, постоянно ли жил Григорьев вместе с Дубровской в радужное время первой половины 1859 года, когда он интенсивнейше трудился у графа Кушелева-Безбородко в «Русском слове». Редакция журнала располагалась во дворцах графа, и помощнику главного редактора было сподручно пребывать в резиденции целый день, да и ночевать там было удобнее, чтобы утром сразу засесть за работу. Зимний дворец графа помещался на Гагаринской улице (нынешний адрес — ул. Фурманова, 3), это второй в Петербурге мраморный дворец после известного царского (точнее — великокняжеского) у Марсова поля (позднее Александр II купит кушелевский дворец для своей невенчанной жены княгини Юрьевской). Флигель его выходил на Гагаринскую набережную (нынешний адрес — наб. Кутузова, 24), напротив дома на Неве была пристань. А в двух верстах выше по течению Невы и на другой ее стороне был расположен летний дворец, тогда — загородный (ныне — Свердловская наб., 40) — оригинальное творение архитекторов В.И. Баженова (основной корпус) и Дж. Кваренги (флигели), с обилием чугунных львов вдоль всего фасада, держащих в зубах цепи; перед домом на Неве тоже была своя пристань, которая в переделанном виде сохранилась до наших дней. В летние месяцы граф вместе с домочадцами и с редакцией «Русского слова» перебазировался в этот дворец; между дворцами курсировали нанятые лодки.

Гостеприимный граф и зимой держал свой дом-дворец открытым для друзей и знакомых, а в теплые месяцы его летний дворец вообще превращался в своего рода санаторий для многих десятков любителей вольной (и бесплатной) жизни.

Когда появлялись именитые гости, то, возможно, «нахлебники» редели, но, может быть, именитые не очень замечали окружающих. Александр Дюма-отец, прибывший в Россию вместе с семьей Кушелевых и приглашенный пожить во дворце, ни слова не говорит о толпах. Он подробно описывает предоставленное ему во дворце помещение: «Мои апартаменты были на первом этаже и выходили в сад, полный цветов. Они примыкали к большому прекрасному залу, используемому как театр, и состояли из прихожей, маленького салона, бильярдной, спальни для Муане (спутник Дюма, художник. — *Б.Е.*) и спальни для меня». Затем Дюма сообщает, очевидно, со слов хозяев, что во дворце находится 80 слуг, а в парке — две тысячи (садовников? крестьян?), и ни слова о гостях. Зато зоркий завсегдатай Д.В. Григорович видел изнанку графского гостеприимства, он удивлялся в своих «Литературных воспоминаниях» дворцу, переполненному жильцами, то есть совсем не аристократическому, а скорее разночинному, плебейскому Вавилону: «Странный вид имел в то время этот дом, или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно придавало ему характер караван-сарая, или, скорее, большой гостиницы для приезжающих. Сюда по старой памяти являлись родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т.д. Все это размещалось по разным отделениям обширного когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, ни мало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно».

Насчет чужестранного сброда Григорович не совсем прав, гостили и почтенные люди: Александр Дюма-отец, известный американский магнетизер Даниэль (Дуглас) Юм; последний познакомился с графом в Италии и оказался не прочь породниться — женился на свояченице графа (сестре жены); свадьбу пышно отпраздновали уже в Петербурге, одним из шаферов был известный поэт граф А.К. Толстой, и Дюма на ней присутствовал; поэтому Юм жил у графа на правах родственника. Но в целом Григорович был прав насчет «сброда».

Добрую половину своих постояльцев граф и в лицо не знал! Если Григорьев живал у графа в зимнем или летнем дворце, то очень мало вероятно, чтобы он туда привозил Марию Федоровну. По имеющимся сведениям, во дворце у него была своя комната, но ночевать он обычно уезжал «домой». Его дядя Николай Иванович Григорьев на вопрос своей дочери Варвары о Юме описал ей интересный эпизод (письмо от начала сентября 1860 года): «Аполлон коротко его знает, потому что он жил при

нем у своего свояка г-фа Кушелева в доме, — с Аполлоном, или то есть Аполлону Юм раз проходя вечером из комнаты в другую, пожал подойдя к нему ни с того ни с сего его руку, сказав ему: «Вы сегодня будете видеть вашу мать» и ушел. Аполлон посмеялся мистификации, забыл предсказание, кончил свои журнальные занятия и уехал домой; но в эту ночь видел ясно свою мать — разумеется, не спавши — в саване, с закрытым лицом идущею к нему из другой комнаты, — когда он разбирал у стола литературные произведения чьи-то. — Он позвал бывших в другой комнате людей, и привидение исчезло».

Не любя «караван-сараи», Григорьев и летом 1859 года снимал в Полюстрове недалеко от дворца Кушелева-Безбородко отдельную дачу, где уже, наверное, жил вместе с М.Ф. Дубровской. Если это та самая дача, которую он снимет и в 1860 году, то, по воспоминаниям Н.Н. Страхова, это был «крошечный домик, стоящий в конце Полюстрова, посреди ровного зеленого болотца».

Сведения о дальнейшей совместной жизни Аполлона Александровича и Марии Федоровны тоже очень туманны. Мемуаристы сообщают, что в 1860 году Григорьев жил в доме Лопатина, длиннейшем двухэтажном каменном строении, простиравшемся по Невскому проспекту от угла Лиговки чуть ли не до Николаевской (ул. Марата). Дом не сохранился, в 1874 году он был разрушен, сквозь него проложена Новая улица, потом названная Пушкинской. Непонятно, покинул ли Григорьев Дубровскую или они переехали вместе из дома Логинова в дом Лопатина? Не знаем еще, вместе ли они уезжали из Петербурга в Оренбург в 1861 году или Мария Федоровна догоняла его уже в дороге? В поэме «Вверх по Волге» есть странные строки:

Скакала ты зимой холодной
В бурнусе легком, чтоб опять
С безумцем старым жизнь связать...

Речь — о пути в Оренбург? Но туда Григорьев уезжал не зимой, а в конце мая, да и ехали они, кажется, вдвоем, судя по письмам. А кроме Оренбурга самая большая его двухмесячная отлучка из столицы была в Москву в сентябре — ноябре 1860 года, туда он в самом деле уезжал один, а Мария Федоровна приехала вдогонку, но сентябрь — не «зима холодная» и при железной дороге не нужно было «скакать». Эпизод, если он не поэтическая вольность, остается загадочным. Много неясного относительно совместной жизни принесут и сведения последующих годов. Известно только, что умирал горемыка один, Мария Федоровна жила тогда, в сентябре 1864 года, отдельно и узнала о его кончине через неделю после похорон. Но в течение всех своих последних шести лет Григорьев не заведет ни одной новой пассии, М.Ф. Дубровская будет его единственной — невенчанной — женой.

В конце 1858 года редакция «Русского слова» приступила к напряженной работе, чтобы с января следующего года стали регулярно выходить ежемесячные книжки толстого журнала. Сам издатель граф Г.А. Кушелев-Безбородко не очень обременял себя редакторским трудом, потому-то он и искал себе помощников, чтобы быть вольной пташкой. Основной груз редакционной работы граф переложил на плечи Полонского и Григорьева. Первый ведал, главным образом, художественной литературой, второй — критикой и публицистикой. Но не очень была ясна «иерархия» этих двух сотрудников. Полонский был назначен графом заместителем главного редактора (вторым редактором), а Григорьев — помощником. Кто был «выше» — непонятно. Вот где всплывали григорьевские весы «выше — ниже». Как будто бы «заместитель» уже по смыслу чуть-чуть выше «помощника». Объявление о будущем выходе в свет журнала вообще было подписано лишь Кушелевым и Полонским. Затем, когда почти в каждом номере «Русского слова» стали публиковаться издательские объявления от имени редакции, появились уже три подписи, и они шли в такой последовательности: граф, Полонский, Григорьев. Значит, располагались не по алфавиту, а *по престижности, по иерархии.*

Когда уже в советское время Г.В. Прохоров обнародовал материалы редакции «Русского слова», то мы увидели, что Полонский и жалованья от графа получал в два раза больше, чем Григорьев (в месяц соответственно 200 и 100 рублей).

Полонскому, человеку в общем-то мягкому и покладистому, тем не менее очень хотелось единолично руководить журналом при частом отсутствии графа в Петербурге, о чем он недвусмысленно заявил Кушелеву, но тот в свою очередь сам желал быть единоличным «диктатором» и претензии своего заместителя отверг. Но Полонский при отсутствии графа все-таки вмешивался в статьи Григорьева, настаивал, чтобы тот изымал из текстов новые термины и трудные формулировки. С другой стороны, Григорьев первое время, видимо, пользовался большим уважением графа, который свою единственную критическую статью в «Русском слове» той поры — «О значении романа нравов в наше время, по поводу нового романа г. Гончарова «Обломов» (июль 1859 года) — сопроводил подзаголовком: «Посвящено Аполлону Александровичу Григорьеву», да и статья графа излагала идеи ведущего критика журнала. Потом еще такой факт. Полонский готовил для первого номера «Русского слова» программную статью «О значении нового поколения», которую, кстати сказать, сопроводил тоже как бы посвящением: подзаголовок был «Письмо к А.А. Г.». Но статья не появилась ни в первом, ни в последующих номерах. В чем дело? Сам автор не был удовлетворен и снял публикацию? Повлияло недовольство Григорьева? графа? Мы не знаем. Однако пока редакторы были полны энтузиазма и надежд на будущее, возникавшие противоречия сглаживались и руководители работали горячо и результативно.

Состав номеров «Русского слова» за первое полугодие 1859 года заметно характеризует вкусы и знакомства троих «вождей» журнала. Страсть графа к путешествиям и их описаниям сказалась на обилии дорожных очерков. Сам он из номера в номер публиковал свои «Воспоминания о путешествии за границей», а кроме того — очерки А.П. Милюкова, Р.В. Орбинского; сюда можно отнести и сибирские историко-географические очерки Д.И. Романова. Статьи о скачках и об охоте, наверное, тоже печатались по инициативе графа. Еще одна графская инициатива и приятное новшество в русском журнале — шахматный отдел; его толково вел в каждом номере В.М. Михайлов. А литературные связи Полонского и Григорьева обусловили замечательный спектр поэтических (стихотворения и поэмы) произведений в журнале: были привлечены А.Н. Майков, А.А. Фет, М.Л. Михайлов, Л.А. Мей, Ю.В. Жадовская, И.С. Никитин и другие; много печатался и сам Полонский. Специально переводческие интересы Григорьева преподнесли журналу обилие поэтов-переводчиков, знакомивших читателей с творчеством Гёте, Байрона, Мицкевича, Гейне, Беранже и других классиков. Фет перевел драму Шекспира «Антоний и Клеопатра». Друзья Григорьева *подарили ему ценные критические статьи:* Фет — «О стихотворениях Ф. Тютчева», Эдельсон — «Тысяча душ. Роман... Писемского». А если еще учесть, что в первых номерах за 1859 год были опубликованы повесть Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон», разные прозаические произведения М.Л. Михайлова, Н.А. Потехина, Е.Э. Дриянского, С.В. Максимова, научные статьи М.И. Семевского, Г.Е. Благосветлова, П.Л. Лаврова, В.И. Водовозова, Ф.Г. Толля, труд А.Н. Серова «Опера и ее новейшее направление в Германии», — то, несомненно, «Русское слово» имело шансы войти в группу самых популярных журналов той поры.

Несмотря на ценные поэтические переводы и замечательный очерк «Великий трагик», все-таки главное место Григорьева в журнале было в критическом отделе. Из двух десятков его статей и рецензий наиболее значительные — «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» (в двух частях), «И.С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо» (в четырех частях), «Несколько слов о законах и терминах органической критики».

Последняя статья развивает идеи более ранней программной работы «Критический взгляд...». Там Григорьев подробно объяснял *законы* органической критики, здесь — *термины*: «допотопный талант» (это «ихтиозавры», предшественники настоящих, «органических» творцов, например, Лажечников перед современными прозаиками или Марлинский и Полежаев перед Лермонтовым), «растительная поэзия» («народное, безличное, безыскусственное творчество в противоположность искусству, личному творчеству»), «местность» (территория, «с которою сжилось известное племя, известная раса», например, орловский и курский край, обусловивший характер южных россиян и повлиявший на творчество Тургенева, Полонского, Фета; сюда же причислены Л. Толстой и Тютчев), «веяние» («шеллингианское», идеалистическое представление о воздействии на душу человека ведущих духовных черт определенной эпохи, например, влияние русского романтизма на поколение автора).

А первая названная статья — «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» — на самом деле по содержанию значительно шире заглавия, она излагает сложившийся уже в послемосквитянинский период взгляд Григорьева на русскую литературу всей первой половины века, включая и творчество самого Пушкина, которому посвящена добрая треть большой статьи. Именно здесь содержится знаменитая григорьевская формула «Пушкин — наше всё». Она стала настолько широко употребительной, настолько «фольклорной», что часто уже забывается первоисточник.

Считаю, что Григорьев в свою очередь использовал одну фразу Белинского. Великий критик в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», как известно, оценивал книгу «Стихотворения Аполлона Григорьева», а перед этим говорил о творчестве Ю. Жадовской; Белинскому не нравилась тяга поэтессы к небу и звездам, он противопоставил романтическим высотам земные интересы, и всего несколькими строками выше перед переходом к другому поэту имеется такая фраза: «То ли дело земля! — на ней нам и светло, и тепло, на ней всё наше...»

Конечно же, Григорьев читал и эти строки о Жадовской, ему запало обобщение «всё наше», и он мог применить его к Пушкину. Белинский не уточнял, кого он подразумевал под местоимениями «нам», «наше», их можно применить и узко к личности критика, и к целому человечеству. Григорьев же подробно объяснил свое понимание: «наше» — это русское, народное, национальное, объединяющее допетровскую Русь и послепетровскую, объединяющее сословия. Пушкин, по Григорьеву, — «пока единственный полный очерк нашей народной личности», Пушкин представил «органическую целость» народа. Начиная с

этой статьи, идеалом и вершиной, с которыми соотносится все движение русской литературы, становится для Григорьева Пушкин. Как Гоголь был в свое время оттеснен Островским, так теперь Островский — Пушкиным. И недаром в этой статье и потом в большом цикле «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина» великий классик становится вехой, от которой ведется отсчет всех явлений последующей русской литературы. Сейчас нам трудно представить все историко-культурное значение этого превознесения Пушкина. Ведь даже Белинский далеко не все принимал у Пушкина, он недооценил, если не сказать «не понял», поздний его период, творчество тридцатых годов: прозу, сказки. А вторая половина 1850-х годов и затем шестидесятые годы оказались особенно неблагоприятны для пушкиноведения; в свете общественного подъема и радикальных идей Пушкин стал «устаревшим»: либеральные критики А.П. Милюков и С.С. Дудышкин «разоблачали» классика за недостаточную «образованность» и за «непонятность» для народа; радикалы (Н.А. Добролюбов и особенно Д.И. Писарев) вообще унижали поэта; А.В. Дружинин ценил Пушкина, но рассматривал его очень узко — как знаменосца «чистого искусства». Григорьев, один из немногих, плыл против течения, разносторонне рассматривая его творчество, объясняя великое значение пушкинской прозы, обобщенно декларируя формулу «Пушкин — наше всё».

«Наше всё» на первый взгляд аналогично прежним символам цельности, «соборности», понятиям, идущим от принципов «молодой редакции». Но в послемосквитянинский период, в свете общего оживления русской жизни при начале царствования Александра II, у Григорьева зреет переоценка соотношения общего и частного, человеческая личность постепенно приобретает у него всё бóльшие права. Поэтому он мог в письме к Ап. Майкову от 9 января 1858 года четко заявить: «Мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе есть именно *слабая* сторона славянофильства». Восстанавливая юношеские увлечения романтизмом и активными и страстными героями романтизма, Григорьев теперь начинает реабилитировать «тревожные» черты западноевропейского и русского романтизма. С одной стороны, критик корректирует пушкиниану Белинского, который не понял всего значения пушкинской прозы 1830-х годов, особенно «Капитанской дочки» и «Повестей Белкина»; Григорьев, наоборот, чрезвычайно высоко оценивает художественное и историческое значение этих произведений; образ Белкина (как, в параллель ему, и образ Максима Максимыча из «Героя нашего времени») рассматривает как контраст романтическим крайностям, кроткое, смиренное, здравое начало,

но именно как контраст, как другую крайность: «...предоставьте его самому себе — оно перейдет в застой, мертвящую лень». Вскоре Григорьев будет говорить о двух противоположных началах в русском национальном характере, о раздвоении; а «наше всё» останется синтезом, объединением в творчестве (да и в натуре!) Пушкина самых различных, в том числе и противоположных черт. Цельность и «соборность» по-прежнему важны для нашего мыслителя, но в них должны включаться самые различные «стихии», в том числе — и личностные.

В письме к Ап. Майкову от 24 октября 1860 года Григорьев особенно колоритно изложил итоги своих раздумий конца пятидесятых годов: «Любезные друзья! «Антихрист народился» в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, веры в человечество как в genus (род. — *Б.Е.*) — поймите это вы все, ознаменованные печатью Христовой, печатью веры в душу, в безграничность жизни, в красоту, в типы — поймите, что даже (о ужас!!!) к Церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество. Поймите, что испокон века было два знамени. На одном написано: «Личность, стремление, свобода, искусство, бесконечность». На другом: «человечество (...), материальное благосостояние, однообразие, централизация и т. д.».

Григорьев никогда не был точен в классификациях; он мог, например, выделять в ученой статье Н.И. Крылова два элемента: «гениальный» и «хамский», а хамский в свою очередь делится на «хамский демократический» и «хамский — совсем» (из письма к Эдельсону от 5 декабря 1857 года). Так и здесь: границы и антиномии понятий очень размыты; но, зная комплекс воззрений мыслителя той поры, можно уточнить ряды и добавить недостающие элементы. Абстрактное человечество противоположно личностям (и национальностям). Романтическим «стремлению» и «бесконечности» должна противостоять социалистическая утопия «конечной цели», быстрого построения для всех счастливого общества на земле; «свободе» — угнетение и зашоренный фанатизм в борьбе за эту конечную цель; «искусству», художественному отношению к миру — рационалистическое, рассудочное мышление. Соответственно понятиям враждебного лагеря должны быть противопоставлены другие: «материальному благосостоянию» — духовные интересы (а отнюдь, разумеется, не бедность), «однообразию» — богатство и многоцветие жизни, «централизации» — автономность личностей и географических регионов.

Личностное начало растет и в стиле статей самого Григорьева. Он теперь пишет их от имени не группового «мы», а собственного «я», от имени Аполлона Григорьева. Характерно, что он очень полюбил жанр статьи-письма: «О правде и искренности в искусстве» — письмо к А.С. Хомякову, цикл статей о Тургеневе адресован «Г.Г.А.К.Б.», то есть графу Г.А. Кушелеву-Безбородко, «После «Грозы» Островского» — И.С. Тургеневу, «Парадоксы органической критики» — письма к Ф.М. Достоевскому. Более подробно анализируются и отдельные образы. В цикле статей о Тургеневе главному герою «Дворянского гнезда» Лаврецкому посвящено много печатных листов, фактически — целых две статьи из четырех. Никогда раньше такого подробного разбора у него не было.

И усиливается черта, которая никогда не исчезала, но которая могла затухать и чахнуть в прежних статьях, — анализ не только историко-общественной сущности анализируемых персонажей и сюжетных ходов, но и *отношения* писателя к своим творениям. Но при этом не забывается и целостное, синтетическое, «соборное» начало. Главная идея цикла статей о Тургеневе — истолкование Лаврецкого как отказывающегося от «света», от «цивилизации», приезжающего в свое имение, чтобы сблизиться с народной, естественной средой, от которой прежде оторвался; но у Лаврецкого еще сохранились «физиологические» связи с «почвой». В этом тургеневском цикле появляется зародыш будущего «почвенничества», идеологии, которую Григорьев станет подробнее развивать вместе с Достоевским два года спустя: идея о слиянии жизни образованных людей и народной массы.

Но построение критических статей Григорьева было далеко от «пушкинской» гармоничности и цельности. Страстный романтик, он увлекался данной минутой и, полный мыслей и переживаний, стремился немедленно, горячо и живо изложить свои взгляды, не задумываясь над формой, над соразмерностью частей, над стилем. Сам понимал перекосы и называл свои статьи эмбрионами, в которых голова разрослась за счет туловища. Захлебывающийся, страстный поток мыслей и чувств причудливо двигался, часто вне обычной причинно-следственной связи, а когда спадало вдохновение — автор мог оборвать большую статью чуть ли не на полуслове. Когда читаешь григорьевскую статью, обычно подспудно возникает текст и мелодия его «Цыганской венгерки» с ее хаотичностью и интуитивными переходами из одной сферы в другую.

Поэт-критик никогда не писал и не держал в голове никаких планов — излагал, что сейчас творилось в душе. Вторая часть статьи «О комедиях Островского...» неожиданно посвящена подробному разбору трактата И.Т. Посошкова, не имеющего отношения к драматургу, но увлекшего в тот момент

Григорьева (цензура решила запретить этот раздел статьи!), а во втором письме «Парадоксов органической критики» «коньком» становится книга В. Гюго о Шекспире, вытеснившая все другие вопросы.

Даже приблизительного объема будущей статьи Григорьев не знал. Например, тургеневский цикл он сперва, очевидно, задумал в двух частях, ибо в конце «Статьи первой» стояло: «Окончание в следующей книжке» (журнала). Но когда в этой книжке появилась «Статья вторая», то в ее конце оказалось примечание, повторяющее концовку первой статьи, то есть теперь статья уже мыслилась в трех частях. После третьей статьи вообще нет никакого указания на продолжение, а затем уже опубликована «Статья четвертая и последняя».

Стихийность и бесплановость были причиной еще одной особенности григорьевской критики: он смело переносил в подготовляемую статью целые куски — иногда по нескольку страниц! — из своих старых публикаций. Оно и понятно: если бы каждая новая статья строилась по своему особому плану, то невозможно было бы представить подобное нецитатное вписывание больших отрезков из более ранних работ. И наоборот, если мысль причудливо вьется и перескакивает с одной темы на другую, то «чужие» вкрапления не выглядят в статье инородным телом. Тем более, если данная тема не получила у критика нового истолкования, отменяющего старое. Поэтому у Григорьева так много вставок. Из статьи «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» (1855) в «После «Грозы» Островского» (1860) перенесены обзор творчества драматурга и рассуждение о соотношении национального и народного; критика Гегеля и исторической школы в статье «Развитие идеи народности в нашей литературе после смерти Пушкина» (1861) оказывается почти целиком переписанной из «Взгляда на современную критику искусства» (1858). Более того, обширная статья, растянутая на три книжки «Времени», — «Лермонтов и его направление» (1862) — вся, как лоскутное одеяло, сшита из различных отрывков предшествующих статей. Иногда встречались и тройные переносы. Противники замечали эти перепечатки, издевались над Григорьевым, но он не обращал внимания на глумление и продолжал заниматься, если так можно выразиться, автоплагиатом.

Принципиальная бесплановость и даже хаотичность была еще связана с важным аспектом григорьевского метода, декларируемым в программной статье «Критический взгляд...» так: «Критика пишется не о произведениях, а по поводу произведений». Может показаться, что тем самым Григорьев сближал свой метод с добролюбовским, ибо этот радикальный критик

тоже говорил, что он пишет статьи «по поводу». Но сближение обнаруживалось только по пути до очень важного угла, после чего критики расходились в разные стороны. Общее было во внимании к историческому и общественному фону, к нравственному анализу характеров и коллизий, однако Добролюбову этого было мало, он желал произнести социально-политический приговор, его статья была как листовка, как лозунг с призывом, что нужно делать, как изменить жизнь к лучшему; Григорьев же был убежденным противником приговоров, он считал, что всякие попытки изменить жизнь приведут к искусственному втискиванию живых, органических явлений в прокрустово ложе теории. Поэтому он требовал бережного и как бы объективистского отношения к искусству, к художественным образам: «Берите нас, каковы мы родились», — писал он в одной статье в «Москвитянине» («Обозрение наличных литературных деятелей», 1855). Конечно, в реальности страстная натура критика, его живая заинтересованность в искусстве заставляла его ломать такие установки и активно защищать или отрицать соответствующие явления, вторгаться и в жизнь, и в искусство. Но без политических приговоров и без общественно-политических перемен!

А применительно к статьям самого Григорьева тоже можно бы сказать: «Берите нас, каковы мы родились». Их первозданная непричесанность, уходы в сторону, обилие противоречий компенсируются яркой талантливостью, самобытностью, широтой познаний и кругозора, глубиной анализа. Это понимали почти все его близкие, но далеко не все из них хотели объективистского приятия, а некоторые из них даже вмешивались, желая «причесать» то или другое в статье Григорьева, выбросить непонятные термины. Таковым был в «Москвитянине» Погодин (а иногда и друзья по «молодой редакции», даже любимый Островский), а в «Русском слове» — Полонский, который упрекал товарища за обильное употребление иностранных слов, за стилистические шероховатости. Однажды он придрался к фразе «Русский народ переживает двойную формулу». В самом деле, «формула» употреблена в довольно метафорическом смысле. Однако я считаю, что Григорьев мог ее заимствовать у Пушкина, почему-то любившего этот термин; см., например, в его рецензии на 2-й том «Истории русского народа» Н.А. Полевого (1830) рассуждение о своеобразии России, по сравнению с Западной Европой: «...история ее требует другой мысли, другой формулы».

Григорьев ярился по поводу замечаний коллеги, отбивался, привлекал графа как арбитра. В большинстве случаев это ему удавалось. А озлобление на Полонского росло. Григорьев, не

без основания, считал Полонского и по широте образованности, и по уму ниже себя и никак не хотел ему подчиняться. Два не очень практичных и совсем уж не «хищных» литератора оказались в одной берлоге, повели себя как медведи и стали атаковать графа ультиматумами «или — или», Кушелев-Безбородко предпочел Григорьева, к лету 1859 года Полонский вынужден был уйти из редакции «Русского слова».

А его соперник как бы стал в июле единоличным заместителем графа. Но до поры до времени! Весной еще, для противовеса Полонскому и в свою поддержку, он уговорил графа взять в качестве заведующего редакцией, то есть по сути технического работника, своего давнего однокурсника А.И. Хмельницкого, того самого, который вместе с Фетом занимался закладом григорьевских вещей перед его побегом из родительского дома в Петербург. Григорьев, считая его порядочным человеком и добрым товарищем, понадеялся на его поддержку. Как бы не так! Граф поверил рекомендации своего помощника и утвердил Хмельницкого заведующим редакцией. А тот оказался проходимцем, авантюристом, возмечтавшим поживиться за счет богатейшего графа. Заведующему было очень выгодно, что граф многомесячно путешествует за границей, хорошо было остаться без присмотра, Григорьев же мешал ему как свидетель и своего рода надсмотрщик, способный раскусить махинации.

Поэтому Хмельницкий начал планомерно выживать свидетеля. Он не гнушался настраивать против Григорьева кредиторов, уповая, что хотя бы временная отсидка должника в тюрьме развяжет руки ему, стервецу. Но главное — он стал постоянно жаловаться графу на помощника главного редактора. Наверное, технических поводов было сколько угодно: Григорьев по своей рассеянности, забывчивости и погруженности в творчество, а не в практические дела, конечно, не годился в редакторы. Ходил анекдот, что однажды он послал в типографию вместо одобренной им статьи какой-то отвратительный пасквиль на самого себя, полученный от «доброхотов» и случайно залежавшийся на столе. Но Хмельницкий нажимал и на идеологию, на содержание григорьевских статей: дескать, он придерживается устарелых славянофильских концепций, прославляет забытых всеми консерваторов; позорно, что прогрессивный журнал «Русское слово» печатает такие труды и т. д. Капля камень точит, подобные жалобы западали в душу графа. Хмельницкий начал, продолжая линию Полонского, исправлять и сокращать статьи Григорьева, тот, естественно, еще более взъярился, чем при прежних ситуациях: уж от своего протеже он такого совсем не ожидал. И когда графу был снова представлен альтернативный ультиматум, хозяин предпочел лицемерного проходимца!

Григорьев в августе, вослед Полонскому, ушел из «Русского слова», Хмельницкий ликовал, в течение нескольких месяцев он безнаказанно жулил, огрел графа на кругленькую сумму, которую, наверное, никто и подсчитать не мог — сколько он утаил себе от гонораров и от расходных сумм.

Хмельницкий умел воровать, но не умел «на уровне» держать петербургский толстый журнал. Сразу же стала падать подписка. Это-то граф разглядел даже издалека; в 1860 году он решил не только уволить Хмельницкого, но и самому отказаться от редактирования. Он с середины этого года передал журнал одному из активных сотрудников — Г.Е. Благосветлову, который тоже был немного проходимистый, но зато умный, цепкий, энергичный, демократичный в самом радикальном духе; вскоре благодаря приглашенному Д.И. Писареву он сделал «Русское слово» одним из самых популярных и «левацких» журналов шестидесятых годов.

В ПОИСКАХ СВОЕГО ЖУРНАЛА

Опять Григорьев оказался на мели. Наступила полоса мимолетных участий в разных периодических изданиях. Известный педагог и публицист В.Я. Стоюнин редактировал тогда полугазету-полужурнал «Русский мир» (выходил два раза в неделю); Григорьев напечатал у него в четырех номерах (январь 1860 года) замечательную статью «После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». Она не столько о «Грозе», сколько вообще о драматургии Островского; недаром автор перенес сюда немало страниц из своей москвитянинской статьи «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене». И здесь наиболее подробно критик сформулировал свое понимание народности и критериев оценок — этических и эстетических: «Для меня лично, человека в народ верующего и давно, прежде вашего Лаврецкого, воспитавшего в себе смирение перед народною правдою, понимание и чувство народа составляют высший критериум, допускающий над собою в нужных случаях поверку одним, уже только последним, самым общим критериумом христианства».

Развивая идеи Пушкина и Белинского, Григорьев говорит о двух значениях слова «народ»: народ «в обширном смысле» («...слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных»), то есть национальность, и — «в тесном смысле» («неразвитая масса»). Литература народна, когда она отражает «взгляд на жизнь, свойственный *всему* народу», определившийся в «передовых его

слоях»; а передовые слои — это «верхи самосущного», органического развития народа. Островский народен именно в этом смысле.

Почему-то на этом и закончилось сотрудничество Григорьева в «Русском мире». Не сошлись! Случайным было и участие в «Сыне отечества» Старчевского, где около трех лет назад был опубликован цикл стихотворений «Борьба». Здесь Григорьев напечатал интересный полукритический, полумемуарный очерк «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (март 1860 года). Любил он старомодные длинные названия! Также случайным оказалось и сотрудничество с «Отечественными записками» А.А. Краевского; оно возникло, вероятно, потому, что там публиковал свое песенное фольклорное собрание П.И. Якушкин, а Григорьев как бы в разъяснение этой публикации дал в журнал переделанную и расширенную фольклористическую статью из «Москвитянина»: «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны» (апрель и май 1860 года).

Более прочной оказалась связь Григорьева с ловким (и прижимистым!) издателем Ф.Т. Стелловским, специализировавшимся на выпуске музыкальной литературы; он издал, например, 12-томное «Полное собрание сочинений» А.Е. Варламова (Григорьев должен был написать к этому собранию биографию хорошо ему знакомого композитора, но, видно, не успел). Позднее, в 1862—1864 годах, наш поэт с помощью Ф.Т. Стелловского издаст свои переводы либретто около 20 опер западных композиторов (Бетховен, Россини, Мейербер, Доницетти, Верди и др.).

Ф.Т. Стелловский издавал еще журнал «Театральный и музыкальный вестник», при котором было приложение «Драматический сборник» — ежемесячные публикации драматических произведений, отечественных и переводных. И Стелловский пригласил Григорьева возглавить это приложение; в мае 1860 года Главное управление цензуры официально утвердило его редактором; впервые наш литератор стал во главе журнала, тем более что в августе Стелловский объявил о прекращении нерентабельного «Театрального и музыкального вестника», поэтому «Драматический сборник» стал самостоятельным журналом. Впрочем Григорьев не очень серьезно занимался своим новым детищем, опубликовал там несколько статей и перепечатал из дружининской «Библиотеки для чтения» когда-то проданный туда свой перевод комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Но еще до своего редакторства он опубликовал в «Драматическом сборнике» — на этот раз впервые — свой перевод (точнее — переработку) драмы Шекспира «Шейлок, венецианский жид» (январь 1860 года).

И вдруг летом 1860 года замаячило постоянное сотрудничество в журнале М.Н. Каткова «Русский вестник» — издатель-редактор пригласил Григорьева стать чуть ли не помощником. Умный Катков, очевидно, понимал, что талантливый критик может оживить журнал, в котором как раз критический отдел был слабоват. Сам издатель в то время переходил от предшествующих либерально-западнических настроений к державному консерватизму, и некоторые консервативные элементы в статьях Григорьева могли ему казаться созвучными, да еще он был одним из тех, кто безоговорочно понимал значение Пушкина для истории русской культуры, и ему нравились пушкинистские штудии нашего критика. Последний же не очень, видимо, разбирался в сущности мировоззрения Каткова, национальный консерватизм ему тогда не был чужд, тем более он не знал о невероятном деспотизме, идеологическом и просто человеческом, издателя-редактора. Главное для него было получить постоянную работу в приличном журнале, да еще в Москве, куда так хотелось переехать из чужого Петербурга.

Переехал. Привез Каткову новую свою работу о Пушкине и начал писать по заданию Каткова полемическую статью в защиту «Русского вестника». История была такая. Группа либеральных ученых и писателей (Евгения Тур, Н.М. Благовещенский, Б.И. Утин), недовольная произвольными сокращениями их статей и полемическими примечаниями Каткова, опубликовала в «Московских ведомостях» протесты и разъяснения, «Русский вестник» поместил оправдания и полемику со стороны редактора и его приближенных, «Московские ведомости» со своей стороны опять поместили опровержения, полемика затянулась более чем на полгода. В нее и включился Григорьев, написав в июле-августе 1860 года статью «Дело о «Русском вестнике» и его антагонистах. Письмо к редактору «Московских ведомостей». Наверное, он и буквально предполагал послать статью-письмо в газету, хотя полемическая против «Московских ведомостей» статья вряд ли там была бы опубликована. А может быть, статья и была послана? Григорьев мало годился в качестве оценщика журнальных дрязг, текущая полемика была совершенно не его жанром, статья получилась вымученная и какая-то объективно неискренняя, реально ведь было трудно оспаривать претензии литераторов по поводу произвола, творимого над их трудами; попробуй Катков сотворить подобное над статьей самого Григорьева — ох, как он взорвался бы! Единственное, что было в душе Григорьева близким ему при создании письма, — это нелюбовь к либералам-западникам, в том числе

и к редактору «Московских ведомостей», своему шурину Валентину Коршу.

Помимо творческого участия, Катков решил еще использовать Григорьева как хорошего знатока петербургских писателей, критиков, журналистов и поручил ему отправиться в Петербург и навербовать для сотрудничества в «Русском вестнике» талантливых литераторов. При этом редактор выдал «агенту» 400 рублей для авансовых подношений. Удивительное легковерие проявил Катков, видимо, не знавший слабостей нового помощника.

Григорьев, конечно, получив большую сумму, быстро ее растратил, не задумываясь, как будет расплачиваться. Разразился скандал, плакали катковские денежки, Григорьев вернулся в Петербург, статьи его, естественно, были отставлены. Катков, не понимая характера растратчика, принял его за сознательного афериста и потому полностью разорвал с ним отношения и даже не признавал подлинным свое раннее письменное разрешение Григорьеву перепечатать в «Драматическом сборнике» уже опубликованную драму Шекспира «Ромео и Юлия» в своем переводе. В апрельском номере журнала за 1861 год Григорьев извинялся перед подписчиками, что обещанная драма не может быть опубликована из-за запрещения Каткова: «...так как он в настоящее время не признает законным выданного им на мое имя документа на печатание его перевода и сомневается в подлинности этого документа, то, до решения спора судебным порядком по этому делу, помещение «Ромео и Юлии» в этом переводе приостановлено». Никакого суда не было, вскоре Григорьев уедет в Оренбург.

В конце 1860 года наш литератор вернулся из Москвы в столицу. В эти месяцы — последние уходящего года и первые наступающего — он сблизился с редакцией нового петербургского ежемесячного журнала «Светоч». Издавал его мало заметный деятель — Д.И. Калиновский, но заведовал редакцией довольно известный литератор и педагог А.П. Милюков, в сороковых годах близкий к петрашевцам; с ним и сошелся Григорьев. Он поместил в этом журнале в начале 1861 года перевод стихотворения Байрона «Прометей» и две ценные статьи: «Искусство и нравственность» и «Реализм и идеализм в нашей литературе. (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева.)».

В этих статьях решались важные литературоведческие вопросы. Подробнее, чем где бы то ни было раньше, критик рассматривает соотношение художественного и нравственного, развивая идеи Белинского и Т. Карлейля, который в книге «Герои и героическое в истории» фактически отождествлял этическое и эстетическое: «поэт и пророк (...) представляют собою одно и то же; правда, «пророк схватывает священную тайну скорее с ее моральной стороны», «поэт — с ее эстетической стороны»; однако «в действительности эти две сферы входят одна в другую и не могут быть разъединены». Григорьев тоже соединяет эти две сферы, противопоставляя, впрочем, истинную нравственность христианских заветов и мещанские лицемерные правила быта; настоящие писатели своим творчеством противостоят этим правилам.

Своеобразно решает наш эстетик вопрос о реализме. В начале своей деятельности он не употреблял этого термина, да его тогда и не было в русском литературном быту, даже Белинский еще не употреблял данного понятия, оно медленно входило в обиход лишь с конца 1840-х годов. Но во второй половине пятидесятых годов «реализм» занял уже прочное место в критике и публицистике русских журналов. Человек идеалов, Григорьев не мог бездумно применять термин к творчеству всех современных писателей, он отождествил «реализм» с «натурализмом», помня о прежнем новаторстве «натуральной школы», а метод, который вносит в искусство поэзию и идеалы, назвал «идеализмом». Но если идеализм сочетается с «реализмом формы», то возникают настоящие художественные произведения, например тургеневские. А Писемский остается как бы «голым» реалистом. Два года спустя в статьях своего журнала «Якорь» Григорьев противопоставит такому «голому реализму» «реализм истинный», «в котором при полнейшей жизненности и натурализме формы — идеал сквозит как подкладка создания или парит над ним».

Но особенно интересна общая тональность его статей начала 1861 года, характеризующая дальнейшее смещение акцентов, даже по сравнению со статьями «Русского слова» двухлетней давности. Все большее оживление страны перед крестьянской реформой, чрезвычайное усиление общественной активности не могло не повлиять на мировоззрение критика. Впервые многократно стали у него повторяться слова «протест» и «тина», как символ застоя, «болота» — мещанского, чиновничьего, помещичьего: «Тина, тина — в которой все глохнет без развития или развивается нескладно и дико!» — пишет он в статье «Искусство и нравственность». Григорьев пересматривает теперь свое любовное отношение к патриархальному миру купцов Островского, к дворянской старине мемуарных очерков С.Т. Аксакова: «...от этого, самого по себе типического и, стало быть, поэтического мира надобно же идти дальше. Вечно остаться при нем нельзя... иначе погрязнешь в тине»; «И едва ли не тина поднимала в последнее время вопли за оскорбления нравствен-

ности. Всякий протест страшен приверженцам существующего, но в особенности страшен он, когда облекается в художественные формы. Протест свидетельствует всегда о застарелости какого-либо факта и о существовании для сознания иного Бога...».

Тем самым Григорьев устроил явную ревизию своих «москвитянинских» суждений; требуя идти «дальше», он осуждал прежнюю идеализацию патриархального мира и честно признавался в своих заблуждениях: «Это засвидетельствование, конечно, обошлось многим из нас довольно недешево, потому что нелегко вообще расставаться со служением каким бы то ни было идолам, но тем не менее совершилось во всех добросовестно и здраво мыслящих людях». Позднее в журнале «Время» он скажет еще более решительно: «Она (критика Григорьева. — *Б.Е.*) долго и упорно сидела сиднем на одном месте: верующая в откровения жизни и потому самому жарко привязанная к откровениям, ею уже воспринятым, она была несколько непоследовательна в своей вере. Она как будто недоверчиво чуждалась новых жизненных откровений и бессознательно впала на время в односторонность». «Протестом» он разрушал эту односторонность.

Конечно, не нужно думать, что Григорьев трактовал протест в революционно-демократическом духе, в смысле требований радикальных перемен в общественно-политическом строе страны. Нет, наш мыслитель оставался до конца решительным противником всяких насильственных изменений жизни. Протест он воспринимал лишь в художественной и нравственной сферах, протест в борьбе «за новое начало народной жизни, за свободу ума, воли и чувства». Наиболее ярким воплощением такого протеста он считал «Грозу» Островского.

Не очень далекий Милюков вряд ли понимал всю ценность статей Григорьева; оба деятеля оказались идейно и психологически не слишком близки друг к другу, союз как-то быстро распался. Но зато в редакционном кружке Милюкова Григорьев сблизился с братьями Михаилом и Федором Достоевскими, которых он, возможно, знал еще по сороковым годам, по кружку Петрашевского и по редакциям журналов, но именно на грани 1860—1861 годов знакомство оказалось прочно закрепленным. Братья начинали с января 1861 года издавать свой журнал «Время», и Григорьев, естественно, был приглашен к сотрудничеству.

Это знакомство, да и вообще вольная жизнь нашего литератора неожиданно были прерваны его заключением в тюрьму, правда, не очень страшную — в долговую. Григорьев продолжал вести бесшабашную жизнь. Он, казалось бы, довольно регулярно получал гонорары из редакций журналов. В Литературном фонде (фонде помощи нуждающимся литераторам и ученым) он, запросив 800 рублей, получил в мае 1860 года 300 рублей. Расчетливому и скромному в потребностях человеку полученного вполне бы хватило на безбедное существование. Но от Григорьева трудно было ждать расчетливости. Растратив деньги Каткова, он, вернувшись в Петербург, занял у ростовщика К.А. Лаздовского еще 400 рублей и, разумеется, в срок не вернул ни проценты, ни сумму. Лаздовский и посадил его в январе 1861 года в тюрьму, так называемую «яму».

«Яма», то есть долговая тюрьма, представляла собой действительно закрытое заведение, куда кредиторы с помощью полиции могли заключать неисправных должников, но кредиторы обязаны были провинившихся содержать за свой счет, правда, за мизерную сумму в 3 рубля 72 копейки в месяц, то есть 12 копеек в сутки! Ясно, что на такую сумму должнику было несладко, но если он выдерживал или если у него не было никакой надежды расплатиться, то он мог мечтать взять кредитора своего рода измором — пока тому не надоест платить «кормовые» деньги, и тогда заключенный получал свободу. Максимальный срок нахождения в тюрьме для купцов составлял три года, для других граждан — пять лет. Запрещалось курить, пить, играть в карты, но практически за этим никто не следил.

В 1860-х годах долговая тюрьма в Петербурге помещалась в доме купчихи Т.В. Тарасовой (отсюда просторечное название «Тарасовка»), в начале 1-й роты Измайловского полка, сразу же после Павловского кадетского корпуса, расположенного на углу Царскосельского проспекта (ныне — Московского) и 1-й роты (ныне — 1-й Красноармейской). Дом не сохранился, находился он на участке дома № 3/5 по 1-й Красноармейской улице.

К счастью, смотритель тюрьмы был любителем русской литературы. А.П. Милюков оставил колоритные воспоминания о заключении Григорьева и о надзирателе: «Это был добрый старичок, большой почитатель пишущей литературной братии. Он смотрел на своего талантливого заключенника с нескрываемым уважением, оказывал ему возможное снисхождение и давал разные льготы, даже отпускал иногда в город, на честное слово воротиться ночевать. Если нашего узника навещал кто-нибудь из литераторов, то старик позволял видеться с ним, вместо общей залы, в своей собственной квартире и только просил позволения самому присутствовать, как он выражался, «при умной беседе господ сочинителей». Когда мы с М.М. Достоевским пришли в первый раз навестить Аполлона Александровича в заточении, его вызвали в приемную, где было в то время несколь-

ко других узников с своими гостями: грузинская царевна в золотой повязке с камнями, купец в длиннополом сюртуке и высоких сапогах, франт с предлинными усами в бархатном пиджаке и еще кое-какие долговые личности с сосредоточенными физиономиями. Мы едва успели оглядеться, как смотритель, узнав наши фамилии, немедленно разрешил идти в номер нашего приятеля, а потом пригласил всех на чай в свою квартиру». Как видно, и номера были отдельные, «персональные»!

Нет худа без добра. Лишенный отвлечений и развлечений, Григорьев очень продуктивно работал в тюрьме! Он написал здесь вторую статью для «Светоча» («Реализм и идеализм...») и целую серию статей для журнала братьев Достоевских «Время», куда они его пригласили незадолго до заключения; в том числе почти весь большой цикл из четырех статей, названный им «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина до настоящей минуты». Будь он на свободе, еще неизвестно, смог ли бы он создать так много трудов. Позднее, когда Григорьев не выполнял работ, обещанных братьям к определенному сроку, М.М. Достоевский полушутя-полусерьезно предлагал выдать ему краткосрочный заём, который, конечно, не будет возвращен вовремя, и на этом основании посадить в «яму», где узник станет очень результативно трудиться...

Но хорошо было шутить со стороны, сам узник чувствовал себя в «яме» отвратительно. По выходе в феврале 1861 года он написал редкую в его репертуаре публицистическую статью — «Несколько замечаний о значении и устройстве долговых отделений», где резко критиковал «устройство» «ямы» и требовал сделать ее «на основаниях европейских», то есть не смешивать ее ни с острогом, ни со смирительным домом. В апреле статья была опубликована в газете «Северная пчела», тогда уже не булгаринской, а вполне приличной. Сам же Григорьев в эти месяцы уже вовсю трудился для журнала братьев Достоевских «Время».

Казалось бы, во «Времени» он, наконец, найдет себе постоянное пристанище. Он был приглашен не рядовым сотрудником, а главным критиком. Вместе с Федором Михайловичем Достоевским создавал теорию «почвенничества». Было глубокое взаимное уважение. Но крупные индивидуальности редко бывают гармонично слажены. Сразу же, еще когда наш безнадежный должник сидел в «Тарасовке», стали назревать расхождения.

Братья Достоевские, особенно Михаил Михайлович, очень прохладно, если не сказать сильнее, относились к славянофильскому кругу: и к вождям славянофильства Хомякову и Ивану Киреевскому, и к Аксакову, и к близким к ним Погодину с Шевыревым. Григорьев же, как бы ни менялись его взгляды, продолжал весьма уважительно относиться к названному кругу и не скрывал этого в своих статьях, переданных для журнала «Время». А М.М. Достоевский удивлялся: какие же глубокие мыслители Хомяков, Киреевский и отец Феодор[1]?! Григорьев возмущался, доказывал и требовал сохранения своего текста, что в общем-то ему удавалось. После его кончины слова Михаила Михайловича, зафиксированные в письмах Григорьева к Н.Н. Страхову, стали достоянием читателей (Страхов опубликовал часть из них в журнале «Эпоха»). Ф.М. Достоевский пытался защищать брата, тоже, как и Григорьев, уже покойного, и доказывал, что Михаил Михайлович имел в виду нечто другое — дескать, современные читатели уже не знают, кто такие Хомяков, Киреевский, о. Феодор, и могут спросить: какие же они глубокие мыслители? Но в это верится с трудом: вряд ли Григорьев не понял смысла фразы, да и вне Григорьева мировоззрение братьев Достоевских в начале шестидесятых годов было очень далеко от концепций славянофилов.

Разногласия колебали надежды нашего литератора на нормальное сосуществование с руководителями журнала «Время», а вокруг он не видел других приемлемых органов печати. Выходить из тюрьмы в феврале 1861 года было тревожно и неуютно.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОРЕНБУРГСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

К февралю-марту 1861 года количество бед и конфликтов у Григорьева опять перешло критический уровень и потребовало радикальных решений: запутался в долгах, запутался в семейных делах, начались ссоры с Достоевскими, хозяевами журнала «Время». И, как всегда, Григорьев обратился к перемене мест. На этот раз он отправился в Оренбург.

Очевидно во время отсидки в январе в долговой тюрьме он уже принял такое решение. В Оренбургском кадетском корпусе скончался учитель русской словесности, и Григорьев узнал о

[1] О. Феодор (в миру А.М. Бухарев, 1822—1871) был не славянофилом, а православным мыслителем и публицистом, но Григорьев соединял его со славянофилами по принципу полного непонимания русскими литераторами и журналистами глубины и перспективности взглядов этих консервативных деятелей.

О. Феодор — одна из самых интересных и трагических фигур в истории русской культуры, еще более трагическая и не понятая при жизни, чем славянофилы; а Григорьев — один из немногих современников мыслителя, который понял все значение его деятельности и всячески пропагандировал его имя в своих статьях.

вакансии, подал документы; 29 марта вышел высочайший приказ по военно-учебным заведениям об определении его учителем в корпус. Последует год оренбургской жизни, бурной, драматичной, творческой...

О подробностях этого оренбургского года мы знаем благодаря архивным разысканиям и публикациям дореволюционного историка П. Юдина и помощи замечательного современного краеведа В.В. Дорофеева.

Григорьеву было приятно внимание, которое проявило к нему начальство корпуса: оно, заинтересованное в хорошем преподавателе, фактически и выкупило бедолагу из тюрьмы, заплатив за него 400 рублей долгов (наверное, в счет будущих жалований?) Но он не спешил уехать из столицы, после государева приказа он еще два месяца прособирался и выехал лишь 20 мая, да еще совсем забыл, что он должен был рапортовать Штабу военно-учебных заведений о своем отъезде — ведь он теперь был как бы военнослужащий! В штабе волновались несколько месяцев, 23 августа наконец сделали запрос в Оренбург: прибыл ли учитель Григорьев? и если прибыл, то почему не «донес» о дне выезда в штаб?

Директор корпуса генерал-майор М.С. Шилов потребовал от нерадивого учителя рапорт и получил следующий текст: «... в самый день отъезда моего из Санкт-Петербурга, мая 20-го дня, я написал рапорт об отъезде моем в Штаб военно-учебных заведений и опустил оный в ящик городовой почты, не считая обязательным привозить его лично». Так что сваливать вину на почту и тогда можно было!

Оренбургский кадетский корпус имел недолгую историю. Местное дворянство, не имея у себя гимназий, в начале XIX века стало добиваться открытия среднего учебного заведения. А так как создатель города адмирал и тайный советник И.И. Неплюев оставил некоторые средства, да еще были пожертвования оренбуржцев, то в январе 1825 года удалось при монаршем благоволении открыть военное училище, которое в 1844 году было преобразовано в неплюевский кадетский корпус.

Благодаря привилегиям, дарованным Александром I училищу (они потом перешли и к кадетскому корпусу), поступающим в него на службу выдавались двойные прогоны и не в зачет целое годовое жалованье учителя — в 1862 году оно составляло 810 рублей серебром, — чтобы по прибытии человек мог обзавестись квартирой и домашним скарбом. Правда, Григорьеву в Петербурге выдали не двойные, а одинарные прогоны, и пока не годовую, а полугодовую сумму, но он еще умудрился одолжить у петербургского купца Насовского 63 рубля, поэтому поехал с громадной тогда суммой, более 500 рублей серебром, их

бы с избытком достало нормальному человеку доехать до Владивостока; но не Григорьеву, которому их еле-еле хватило дотянуть до Оренбурга.

Еще, слава Богу, с ним ехала М.Ф. Дубровская, без нее Григорьеву и до Оренбурга денег бы не осталось. Ехали медленно, почти месяц: до Твери на «чугунке» на поезде; от Твери до Самары на пароходе, но с остановками во всех крупных городах; от Самары до Оренбурга — на перекладных; учителю корпуса полагались две лошади. Тверь показалась Григорьеву мертвенной, лишь иконостас в соборе восхитил его, зато Ярославль очаровал. Четыре дня православный литератор обходил старинные церкви и монастыри, лицезрел чудотворную икону Толгской Божией Матери, которая особенно ему была близка: ее образком Аполлона благословила в свое время покойная мать. Нижний Новгород он оценил и как современный город (позднее в поэме «Вверх по Волге» писал:

> Вот Нижний под моим окном
> В великолепии немом
> В своих садах зеленых тонет...),

и как историческую святыню, когда у гроба Минина в душе поэта всходила рассветная заря:

> Хотелось снова у судьбы
> Просить и жизни, и борьбы,
> И помыслов, и дел высоких...

«Казань мне не понравилась, — писал Григорьев Н.Н. Страхову 18 июня 1861 года. — Татарская грязь с претензиями на Невский проспект». В районе Жигулей неисправимый романтик сожалел, что нет теперь разбойников, вместо «Сарынь на кичку!» слышишь «на водку!». Все дальнейшие города (Самара, Бузулук, Оренбург) он характеризовал очень нелестно как «*сочиненные* правительственные притоны», а для Григорьева «сочиненное» в противовес «естественно рожденному» был худший эпитет.

В том же письме к Н.Н. Страхову он обрисовал Оренбург как «смесь скверной деревни с казармою». Главное, не увидел здесь старины: «Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ничего, ничего...» В этих последних сетованиях он был глубоко неправ: многовековых соборов в самом деле в Оренбурге не было, город основан в 1743 году, но сразу же стараниями губернатора И.И. Неплюева построены две церкви: Преображенская (1750) и Введенская (1752), бывшие потом полтора столетия кафедральными соборами города (первая — летним собором, вторая — зимним). Преображенскую церковь, увы, взорвали в советское время; она находилась, как и Введенская,

на набережной реки Урал, рядом с гауптвахтой (ныне на ее месте — большая трансформаторная будка). Да и в Неплюевском кадетском корпусе, где служил Григорьев, находилась историческая реликвия — походная церковь Воскресения Христова, пожалованная Петром I своему крестнику калмыку Баксадай-Дорджи (в крещении Петру Петровичу Тайшину); церковь была богата иконостасом и дорогими предметами крещения. А чудотворные иконы были если не в Оренбурге, то в Оренбургском крае. В городе Табынске Уфимской губернии (она входила в Оренбургское военное губернаторство до 1865 года) находилась чудотворная Казанская икона, которую ежегодно привозили в Оренбург.

Глубоко неправ также был Григорьев, не находя в Оренбурге «следов истории». Уж Оренбургский-то край никак не заслуживал такой оценки: а история казачества? а сложные взаимоотношения с южными соседями России? а Пугачевский бунт? Странно, что хорошо знавший русскую историю мыслитель игнорировал *местную* историю...

Во время пребывания Григорьева в Оренбурге там, конечно, что-то было от «деревни» и «казармы»: ведь город был пограничный, в нем было много войск. Но столичный литератор преувеличивал убогость города. Оренбург тогда был центром генерал-губернаторства, включавшего две губернии — Оренбургскую и Самарскую (не забудем еще, что в оренбургскую губернию тогда входили и Башкирия, и северные районы Казахстана). В 1861 году в Оренбургской губернии жителей было около двух миллионов человек, да еще 35 тысяч человек войсковых (казаки и солдаты). Население Оренбурга — 25 тысяч человек. Город был насыщен и окружен мусульманами (башкиры, татары, казахи, именовавшиеся тогда «киргизами»). Показательна таблица «инородцев» Оренбургского уезда 1861 года, составленная не по национальностям, а по вероисповеданию: католиков — 300 человек, лютеран — 280, мусульман — 120 тысяч.

С 1860 года генерал-губернатором края стал генерал-адъютант А.П. Безак. Местный летописец не очень высоко оценил его человеческие качества: «Был мелочен, подозрителен и придирчив, оказывал потворство кляузничеству и ябедничеству»; но в то же время он был активным и толковым администратором: способствовал развитию торговли, почему пользовался авторитетом у местных купцов, много сделал для превращения кочевых казахов в оседлых землепашцев, организовал Комитет вспомоществования бедным; при Безаке по ходатайству епископа Антония в Оренбурге открыли духовное училище.

Но, как и во всей России, в городе царствовало бюрократическое чиновничество, процветало не только ябедничество, но

и взяточничество. Незыблемо соблюдалась служебная иерархия. Безак мог продержать просителей в своей приемной несколько часов, не удосужившись выйти к ним. Григорьев, однажды оказавшись в числе таких унылых просителей, сочинил сатирическое стихотворение и на «хозяев», и на «рабов», ходившее по городу в виде песни; припевом было двустишие:

Эх-ма, спину гнут:
Кабы им хороший кнут!

Неожиданный всплеск сатирического таланта поэта принес ему большую популярность среди оренбуржцев, которые запомнили его обобщающую эпиграмму:

Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан.
У ворот острог да цепи,
А внутри иль хам, иль хан.

Ходила также легенда, что когда вышел приказ по Неплюевскому корпусу: учителя должны вместе с кадетами говеть на четвертой неделе Великого Поста — и каждый преподаватель обязан был расписаться под приказом, то Григорьев вместо имени вписал четверостишие:

Хоть много я грехов имею,
В них каюсь, их стыжусь, —
По приказанью не говею,
По барабану не молюсь.

Поселился Григорьев в доме купца Лодыгина на главной улице города — Николаевской, в советское время переименованной в Советскую (дом по нынешней нумерации — 32). Занимал он скромную квартиру в две комнаты (возможно, в мезонине), помещение было удобно центральным расположением — напротив Гостиного двора, недалеко от учебных зданий корпуса. Дом этот был одним из самых знаменитых в Оренбурге: его снимали военные губернаторы края (П.П. Сухтелен, В.А. Перовский), в нем останавливался будущий император Александр II, когда он еще наследником престола путешествовал по России; в доме бывали Пушкин (вероятно), Жуковский, Даль... Увы, Григорьев ничего этого не знал.

Безденежный новосел сразу же попросил генерал-майора Шилова выдать ему на обзаведение 200 рублей — в счет второй половины «премиального» годового жалованья. Получил. Разумеется, вскоре и их потратил. Сколько бы ни имел он денег, они у него очень быстро уплывали. Казалось бы, в дешевом Оренбурге-то, где ведро картошки стоило 10 копеек, а фунт хорошей пшеничной муки — 2 копейки (копейки, увы, стоила и водка), мог и транжирщик при приличном жалованье не нуж-

даться. Нет, Григорьев не мог. Он не мог не быть в долгах и безденежье... Конечно, ему еще помогала и Мария Федоровна: ее мещанский престиж не позволял самой убирать квартиру и кухарничать, значит, нужно было нанимать слуг. Нужно было одеваться «как люди». Григорьев любил угощать сослуживцев... В общем, деньги уходили браво.

Зато новосел, как всегда, вначале очень энергично взялся за свои преподавательские обязанности. Кадетский корпус состоял из двух эскадронов: в первом учились дворянские дети, во втором — дети казачьих офицеров и «туземцы», то есть казахи, которых тогда именовали «киргизами», «киргиз-кайсаками». Сословное разделение приводило Григорьева в ярость, но что он мог сделать?! Первый эскадрон помещался на Неплюевской улице (нынешний адрес — Ленинская, 25; здесь помещается ныне медицинское училище), второй — на центральной Николаевской (ныне Советская, 24; теперь это средняя школа № 30). Корпусный манеж был рядом, через Неплюевскую улицу. Ныне здесь драматический театр, но уже при Григорьеве манеж переделывался в театр для гастролей бродячих трупп. Наш театрал был приятно удивлен, когда стал посещать спектакли актеров, собранных известным провинциальным антрепренером Н.И. Ивановым. Позднее Григорьев в статье «Наша драматическая труппа» (1863) весьма положительно отозвался о гастролях этой труппы, в репертуаре которой был «почти весь» Островский и пьесы Гоголя.

Значительно позже оренбургской жизни Григорьева, в 1872 году, было на Караван-Сарайской площади построено единое здание Неплюевского кадетского корпуса (в 1865—1886 годах он назывался военной гимназией). Ныне это 3-й корпус Медицинской академии на Парковом проспекте, 7.

Григорьеву выпала доля преподавать во втором эскадроне. Может быть, это и к лучшему. По отзывам современников, дети местных помещиков были ленивы, равнодушны, а «туземцы», не получившие предварительного домашнего образования и жадно впитывающие знания, были благодарным объектом для желающего просвещать юношество учителя-романтика.

Учитель прежде всего отставил книгу А.Е. Разина «Мир Божий» — пособие для военно-учебных заведений, пропитанное вульгарным материализмом шестидесятых годов, и заменил учебник классным чтением исторических трудов и собственными лекциями; пытался расширять познания своих учеников и в дополнение к обычной грамматике русского языка ввел еще сравнительную грамматику славянских языков.

Такая самодеятельность при строгой регламентации в военно-учебных заведениях могла быть наказуема, но Григорьеву повезло: инспектор корпуса (говоря по-современному, замести-

тель директора по учебной части, завуч) полковник П.В. Митурич преклонялся перед талантами и познаниями столичного литератора, ходил почти на все его занятия, не столько контролируя, сколько просвещаясь, да еще часто приводил и директора, генерал-майора Шилова, которому расхваливал уроки нового словесника, и директор тоже оценил такие уроки.

А ученики сидели не шелохнувшись, они млели от восторга: новый преподаватель читал свои лекции без учебников и шпаргалок, экспромтом, вдохновенно, широко используя свои мысли, память, познания, уводил молодые умы и души в романтические выси, проповедовал, наряду с сообщением предметных фактов, идеи гуманизма, патриотизма, нравственности. Учащиеся липли к учителю, провожали его, многих он приглашал к себе домой, в тесную квартиру, и продолжал вечером свои экспромтные лекции...

Вдохновленный своими успехами, Григорьев решил прочитать для местной интеллигенции цикл лекций «О современном образовании и об улучшении воспитания юношества», но уже первая лекция охладила его пыл: почти все слушатели смотрели на лектора как на оторванного от практической жизни Дон Кихота, благородные идеалы и повышенные интеллектуальные требования которого невозможно осуществлять в российской действительности. Григорьев это сразу понял (возможно, ему и прямо говорили об этом) и прекратил чтение.

Но все-таки его тянуло к публичной пропаганде своих воззрений, и на рождественских каникулах он прочитал в Дворянском собрании (здание сохранилось: Советская, 17) цикл из четырех лекций «О Пушкине и его значении в нашей литературе и жизни». Лекции состоялись 27 и 30 декабря, 2 и 7 января. Первая называлась «Значение Пушкина вообще и причины разнородных толков о нем в настоящую минуту», вторая — «Пушкин как наш эстетический и нравственный воспитатель», третья — «Пушкин — народный поэт», четвертая — «Пушкин и современная литература».

Григорьев хотел читать эти лекции в пользу Литературного фонда. Вспомним, что в мае 1860 года фонд заимообразно выдал ему 300 рублей, и этот долг висел над Григорьевым, он надеялся с помощью публичных лекций не только рассчитаться, но и «подарить» фонду какую-то сумму денег. Однако генерал-губернатор А.П. Безак пожелал, чтобы лекции читались в пользу бедных города Оренбурга и лектор не мог ослушаться. Билеты на одну лекцию стоили по рублю, а на весь цикл — по три рубля. Всего собрали 320 рублей, так что слушателей было приблизительно по 100 человек на каждой лекции. Для отдаленного от центров России губернского города это было немало.

В письме к Страхову от 19 января 1862 года Григорьев относительно подробно рассказал о своих идеях и о своих впечатлениях от прочитанного цикла: «Первая лекция — направленная преимущественно против теоретиков — а здесь, как и везде, все, кто читают — их последователи, привела в немалое недоумение. Вторая кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В третьей защитою Пушкина как гражданина и народного поэта я озлобил всех понимавших до мрачного молчания. В четвертой я спокойно ругался над поэзией «О Ваньке Ражем» и о «купце, у коего украден был калач», обращаясь *прямо* к поколению, «которое ничего, кроме Некрасова, не читало», а кончил насмешками над учением о соединении луны с землею и пророчеством о победе Галилеянина, о торжестве царства духа — опять при сильных рукоплесканиях. Что ни одной своей лекции я заранее не обдумывал — в этом едва ли ты усумнишься. Одно только и было мною заранее обдумано — заключение». Вспомним, что издевка над «соединением луны с землею» — это по поводу утопического учения Ш. Фурье; Галилеянин — Иисус Христос.

Григорьев, как всегда, плыл против течения. Он понимал, что молодое поколение воспитывалось на статьях «теоретиков», то есть радикальных публицистов «Современника» и «Русского слова», что Некрасов — их поэтический кумир (а Пушкина они все больше и больше оттесняли на периферию, пока Д. Писарев и В. Зайцев вообще не низвели его до уровня «легкомысленного версификатора» и «мелкой и жалкой личности»). Григорьев, наоборот, восстанавливал величие Пушкина, но попутно принижал, увы, Некрасова, останавливаясь отнюдь не на лучших его стихотворениях (о «Ваньке Ражем» — «Извозчик», о калаче — «Вор»), хотя отношение Григорьева к Некрасову не укладывается в иронические рамки, он ценил его творчество, в большой статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) честно сказал и о неприятии некоторых черт («рутинность» и «водевильность» тона целого ряда произведений, слишком большая отдача себя «музе мести и печали» и «миражной цивилизации»), и о своей любви к поэту, к «человеку с народным сердцем, с таким же народным сердцем, как Кольцов и Островский». Эту статью, опубликованную в июльском номере журнала «Время», Григорьев, наверное, написал еще в Оренбурге, иначе она не поспела бы к летнему номеру.

Несмотря на обиду на Достоевских, отходчивый Григорьев, будучи в Оренбурге, постепенно восстанавливал связь с журналом «Время»: еще в январе он отправил Страхову для передачи Достоевским первую часть статьи о Льве Толстом, названной «Граф Л. Толстой и его сочинения», которая тут же, в январском номере журнала, несколько запоздавшем, была напечатана. Она была лишь вводной частью, фактически посвященной подробной характеристике современных русских журналов. А вторая, основная часть статьи, опубликованная в сентябрьском номере «Времени» и посвященная уже непосредственно творчеству Толстого, высоко ценимого критиком (не забудем, что речь идет еще о раннем Толстом, до «Казаков» и «Войны и мира»!), создавалась уже в Петербурге.

В оренбургский период Григорьев еще усердно переводил байроновское «Паломничество Чайльд-Гарольда», за год успел перевести первую главу (песнь) и тоже опубликовал ее во «Времени» в июле.

В голове творческого человека зрели интересные замыслы, из которых особенно ценным представляется мечта о книге очерков в духе Reisebilder («Путевых картин») Г. Гейне; об этом замысле писатель подробно рассказал в письме к Н.Н. Страхову от 19 января 1862 года: «Провинциальная жизнь, которую, наконец, я стал понимать, внушит мне кажется книгу в роде Reisebilder под названием «Глушь». Подожду только до весны, чтобы пережить годовой цикл этой жизни. Сюда войдут и заграничные мои странствия, и первое мое странствие по России, и жажда старых городов, и Волга, как она мне рисовалась, и Петербург издали, и любовь-ненависть к Москве, подавившей собою вольное развитие местностей, семихолмной, на крови выстроившейся Москве, — вся моя нравственная жизнь, может быть... В самом деле — хоть бы одну путную книгу написать, а то все начатые и неоконченные курсы!»

Увы, читатели не дождались этой книги. С каждым оренбургским месяцем, особенно после перевала на 1862 год, состояние Григорьева становилось все более тревожным и раздерганным. Он страдал от успехов радикальных, ставших почти революционными, несмотря на репрессии, журналов «Современник» и «Русское слово». «Донкихотские» идеи самого мыслителя и литератора оказывались невостребованными широкой публикой.

Донимала бюрократическая обстановка военного корпуса. Как обмолвился Григорьев в письме к Страхову от 20 марта 1862 года: «Прибавь к этому ненависть ко мне барабанного начальства, интриги подлецов товарищей, из которых только татары — истинно порядочные люди». К сожалению, он не назвал имен. Известно только по его письмам и по воспоминаниям современников, что он подружился с обер-офицером С.Н. Федоровым, писавшим неплохие сатирические очерки (печатались в «Искре», а при ходатайстве Григорьева — и во «Времени»). Живой и остроумный, Федоров, однако, был выпивохой, и ему нетрудно было приобщить к своим кутежам и слабого Григорьева.

А в быту Григорьева очень мучила Мария Федоровна. Он пренебрегал мещанскими представлениями о нравственности, считал, что не юридическая по официальным бумагам супруга, а реальная жена, близкий сердцу человек, имеет моральные права быть его «половиной», и он принципиально в Дворянском собрании ходил под руку с Марией Федоровной. А на письменные жалобы Лидии Федоровны к генерал-губернатору Безаку «муж» давал откровенные разъяснения (впрочем, ему пришлось по требованию начальства посылать «жене» и отцу какие-то доли жалованья — нечто вроде нынешних алиментов). Но Марии Федоровне этого было мало. Она не могла не видеть косых взглядов обывателей, не могла не страдать оттого, что на вечера к сослуживцам, на званый обед к губернатору приглашали *одного* Аполлона Александровича... Несчастная женщина, терявшая детей, истерически страдала от одиночества, бешеную любовь перенесла на собачонку, при этом дико ревновала Григорьева к женам сослуживцев, к частным ученицам...

Жизнь же главы этого неудачного семейства была тяжелейшей. Помимо напряженной работы в корпусе (почти ежедневно по 6 часов) он еще набрал частных уроков, в свободные минуты страстно отдавался критической прозе и переводной поэзии, был весь измочаленный от усталости — а тут еще истерики и брань Марии Федоровны... Снова зрело желание перемены мест.

В отчаянии от запоев и «невнимания» Григорьева Мария Федоровна умышленной инсценировкой его «безобразий» наивно пыталась привлечь на свою сторону начальство корпуса. Из письма Григорьева Страхову от 20 марта 1862 года: «Человек отдает все, что может, готов испродаться до последних штанов, женщина буйствует, безумствует, бьет стекла в квартире и зовет полицию, обвиняя меня в буйстве, бегает к властям, и все смотрят на меня как на какого-то злодея. Женщина лжет, что ее оставляют без копейки, лжет, что я увез ее от родителей... Все это, разумеется, до первого призыва к властям. Власти видят, что я отдаю все, что имею, и все-таки не понимают, в чем дело. А оно очень просто. Когда эта несчастная убедилась, что нет поворота — она со всей дикостью своей натуры захотела мстить (...). Вот я нынче услыхал, что перед отъездом три часа она выла, бедная, — и пошел на урок. Хожу по классу и диктую грамматические примеры, — а что-то давит грудь, подступает к горлу и, того гляди, прорвется истерическими рыданиями!»

В этом письме непонятны слова «перед отъездом». Может быть, Мария Федоровна, не выдержав семейных скандалов, вознамерилась вернуться в Петербург? Ведь Григорьев не мог отъезжать в марте, он должен был закончить учебный год. Как бы там ни было, но разрыв созрел, и уезжал Григорьев из Оренбурга один. Он попросил отпуск на два месяца, указав совершенно фантастическую причину: «в города Москву и Петербург для устройства домашних дел и перевозки семейства в Оренбург». Какие в Петербурге у него могли быть домашние дела? и какое семейство перевозить? неужели Лидию Федоровну с детьми?! Начальство отпуск разрешило, и в конце мая 1862 года Григорьев выехал в Петербург (по официальным документам он выехал 5 июня, но имеется его письмо к А.А. Краевскому от 2 июня, из которого явствует, что он уже в столице). Всю боль нравственных мучений от разрыва с Марией Федоровной он передал в яркой поэме «Вверх по Волге» (1862):

> ... Иль совсем до дна,
> До самой горечи остатка
> Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
> Меня трясет... Вина, вина!
> Эх! жить порою больно, гадко!

В восьми главах поэмы автор перемежает воспоминания о трудных годах любви, страсти, конфликтов, примирений с современной тоской по пути на пароходе по великой реке.

Каждая глава заканчивалась кульминацией страданий и обращением к вину: «Хоть яд оно, Лиэя древний дар — вино!..» Включение греческого бога Лиэя (Диониса) возвышает картину, а на самом-то деле поэт искал утешения не в благородных винах, а в самой банальной водке — и лишь в заключении поэмы сказано прямо:

> Однако знобко... Сердца боли
> Как будто стихли... Водки, что ли?

А путь обратный Григорьев совершал в самом деле вверх по Волге, то есть проделал прежний путь из столицы в Оренбург в обратном порядке.

В Петербурге он с головой ушел в журнальную работу, главным образом в журнале Достоевских, и возвращаться в Оренбург и не думал ни с семейством, ни без оного. Очевидно, уже уезжая, он не собирался продолжать преподавание. Начальство кадетского корпуса, прождав до ноября 1862 года, обратилось в Штаб с представлением — уволить учителя Григорьева. Возможно, желая узаконить увольнение, а особенно — опасаясь денежных претензий, тот начал представлять в Штаб медицинские справки о болезнях (и воспаление печени, и легочный катар, и расстройство пищеварения). Конечно, со справками получить приказ об увольнении было легче, но таковой вышел лишь 5 мая 1863 года. После этого корпусное начальство предъявило Григорьеву претензию на возврат 810 рублей: годовое пособие выдавалось лишь при условии трехгодичной службы в корпусе.

Сам учитель, конечно, никаких денег не вернул, а когда на его квартиру в Петербурге явилась полиция для описи имущества, то она убедилась, что описывать нечего. На таком печальном эпизоде закончилась оренбургская история Григорьева.

ЖУРНАЛЫ БРАТЬЕВ ДОСТОЕВСКИХ. «ПОЧВЕННИЧЕСТВО»

Еще до отъезда в Оренбург и до журналов Достоевских Григорьев сдружился в Петербурге с младшим коллегой по журнальной работе Н.Н. Страховым. Николай Николаевич Страхов (1828—1896) был по образованию естественник, зоолог, написал и защитил магистерскую диссертацию «О костях запястья у млекопитающих» (далекий от биологии Григорьев иронизировал: «о костях запястья каких-то там инфузорий»). Но очень быстро ушел в гуманитарные сферы. Хорошо знал немецкую классическую философию и идеалистическую эстетику, ненавидел Чернышевского, да и вообще всех представителей политического радикализма и материализма, защищал идеалистические принципы в эстетике и в литературе. Больше всего Страхов занимался литературной критикой; воспитавшись на статьях Григорьева, он справедиво считал себя его верным учеником и в самом деле за небольшими исключениями продолжал григорьевскую линию в литературной критике и литературоведении вообще, оставив нам серьезные работы о Пушкине, Л. Толстом, Тургеневе.

Григорьеву было очень лестно видеть около себя талантливого ученика и продолжателя, он к нему очень привязался и по-человечески. Страхов оказался несравненно более близким другом, чем бывшие товарищи по «молодой редакции»; находясь в Оренбурге, Григорьев именно ему писал подробные и откровенные письма. Оба они были приглашены Достоевскими в журнал «Время», начавший выходить с января 1861 года. Страхов был посредником в конфликтных историях между Григорьевым и издателями журнала, он защищал учителя перед Достоевскими, а с другой стороны, уговаривал его, невзирая на разногласия, все-таки вернуться в стан «Времени». Страхову, видимо, принадлежит немалая заслуга в том, что наш литератор, возвратившись в Петербург, опять стал главным литературным критиком журнала Достоевских.

Тогда основные сотрудники «Времени» и поселились рядом, чтобы было сподручнее работать вместе. Квартира М.М. Достоевского находилась на втором этаже доходного дома на углу Екатерининского канала и Малой Мещанской (ныне — угол канала Грибоедова и Казначейской); современный адрес до-

ма — Казначейская, 1. В 1861—1863 годах совместно с братом проживал и Федор Михайлович. Здесь же находилась редакция «Времени». Григорьев поселился в двух кварталах от редакции — в тогда «огромном доме Фридерикса» по Вознесенскому проспекту, на углу того же Екатерининского канала, современный адрес — Вознесенский, 23. В доме сдавались меблированные комнаты. А Страхов жил тоже в двух кварталах от редакции на Большой Мещанской (ныне ул. Плеханова, 39). Это тот дом, в который упирается Столярный переулок (ныне ул. Пржевальского) и на котором висит мемориальная доска, где сообщается, что в 1820-х годах здесь жил Адам Мицкевич. Когда в апреле 1864 года Ф.М. Достоевский вернулся из-за границы, он поселился уже не у брата, но рядом, на углу Малой Мещанской и Столярного переулка (ныне — Казначейская, 9), а несколько недель спустя довольно прочно, на несколько лет, обосновался в соседнем доме — Казначейская, 7.

Еще до Оренбурга Григорьев опубликовал во «Времени» много значительных статей (большинство из них было создано в долговой тюрьме), из которых особенно выделяется уже названный цикл из четырех статей, который автор озаглавил потом «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». Эти четыре статьи содержали и общие методологические установки, и анализ русской литературы и общественной мысли 1830—1840-х годов: «Народность и литература», «Западничество в русской литературе», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия». Из Оренбурга Григорьев прислал всего одну статью, вернее первую (из двух) часть ее — «Граф Л. Толстой и его сочинения»; окончание писал уже возвратившись в столицу. А затем пошли фундаментальные статьи «Стихотворения Н. Некрасова», «По поводу нового издания старой вещи. «Горе от ума», СПб., 1862», цикл из трех статей «Лермонтов и его направление». Григорьев возродился и как театральный критик, в журнале регулярно стали появляться его рецензии. С конца 1862 года он начал публиковать интереснейшие воспоминания — «Мои литературные и нравственные скитальчества». В общем, ему грех было жаловаться на руководителей нового «своего» журнала. Но все-таки разногласия возникали постоянно.

Казалось бы, схождений было значительно больше, чем расхождений. Основные мировоззренческие стержни издателей, особенно идеологического вождя Ф.М. Достоевского, были продолжением григорьевских принципов. «Почвенничество» Достоевского прямо вытекало из григорьевских статей из «Русского слова» — о Пушкине и о Тургеневе. Программой Ф.М. Достоевского явилось предисловие к циклу: «Ряд статей о

русской литературе. Введение», опубликованное в самом первом номере «Времени». Основные идеи этого введения таковы: Россия отличается от европейских стран меньшими сословными и личными раздорами, большей национальной цельностью, «всепримиримостью, всечеловечностью»; наиболее гармонично это выражено в явлении Пушкина; но мы, цивилизованное общество, еще плохо знаем народ, хотя и осознали необходимость проникнуться народным началом; главная задача современности — дальнейшее единение образованных сословий с «почвой»; прежде всего необходимо просвещение народа.

У Григорьева, правда, в тургеневском цикле больший акцент был на «опускании» образованной личности до уровня народного, патриархального сознания, а Достоевский желает «поднимать» народ. Но Григорьев вскоре, в статье о Некрасове, присоединится к Достоевскому и даже усилит тот аспект: «Из того, что народ доселе еще может понимать чувством только мир своих поэтических сказаний, любоваться только суздальскими литографиями и петь только свои растительные песни, следует ли похерение в его развитии и для его последующего развития Пушкина, Брюллова, Глинки?.. Ведь до понимания искусства человек, при всей даровитости, — дорастает».

Глубокое уважение к народу выливалось у обоих литераторов в нелюбовь к сатирическому его изображению. Григорьев допускал иронию, насмешку над «миражным» Петербургом, над светской мишурой, но не над народом; «кряжевые» баре вроде Троекурова («Дубровский») тоже как бы оказывались народом, «почвой»: Пушкин, отметил критик, не смеется над Троекуровым.

Достоевский, как и Григорьев, боролся в своих критических и публицистических статьях на два фронта: показывал узость защитников «чистого искусства», но еще более протестовал против «утилитаризма» радикалов, настаивая на великом культурном значении художественного творчества. Можно было бы найти еще целый ряд схождений, параллелей.

И все же разногласия прорезывались. Ф.М. Достоевский вначале, в 1861 году, более трезво понимал общественно-политическую ситуацию в стране; в общей борьбе за реформы, за освобождение крестьян от ига крепостного рабства готов был снисходительнее относиться к крайностям радикалов из «Современника»; и в свой журнал приглашал некоторых «крайних», например, А.Е. Разина, публициста, ценившего искусство, но еще больше — естественные науки. А Григорьев чуть ли не на стену лез, возмущаясь и уступками «Современнику», и приглашением Разина. Конечно, он тоже всячески ратовал за освобождение крестьян, но еще больше его волновали проблемы

русской культуры и литературы. В письме к Н.Н. Страхову от 18 июля 1861 года он честно признавался: «Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов — и вопроса (каков цинизм!) о крепостном состоянии, и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это — вопрос о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*». И тут же с грустью цитировал полюбившееся ему рассуждение Э. Ренана, что только узкие мысли правят миром.

А с другой стороны, Ф.М. Достоевский, как говорилось, несочувственно относился к славянофильскому учению, еще более антиславянофильски был настроен старший брат, Михаил Михайлович. Тоже серьезный повод для конфликтов.

Парадоксально, что вначале Ф.М. Достоевский был в целом более радикален в общем социально-политическом смысле, но Григорьев с его быстро усиливающимся пафосом личностного начала, с его романтически-бунтарным «протестом» объективно все более и более оказывался часто «левее» и радикальнее руководителей «Времени», тем более что Ф.М. Достоевский под влиянием обострения общественной борьбы, накала революционных страстей после крестьянской реформы (особенно его потрясли приписанные студентам и полякам петербургские пожары весной 1862 года и безумно революционные листовки осенью) стал заметно «праветь», погружаться в консервативные принципы.

Разногласия были не настолько крупными, чтобы привести к разрыву, Григорьев продолжал сотрудничество. «Время» приобретало все бóльшую популярность, конечно, в первую очередь благодаря Достоевскому, но и Григорьев как главный литературный критик придавал журналу вес. Уже в 1862 году «Время» догнало «Отечественные записки» и «Русское слово», имея около 4000 подписчиков, и уступало лишь «Современнику» (7000) и московскому «Русскому вестнику» (5700). Над журналом, увы, вскоре разразилась катастрофа, в апреле 1863 года он был запрещен из-за статьи Н.Н. Страхова «Роковой вопрос (заметка по поводу польского вопроса)»; в статье проводилась мысль о противостоянии русской православной духовной культуры и умирающей католической цивилизации; однако объяснялась и как бы оправдывалась решительная, смертельная борьба поляков за свою культуру — это и послужило причиной цензурного правительственного гнева. Однако с 1864 года братья Достоевские начали издавать журнал «Эпоха», который даже заглавием прозрачно намекал на преемственность от «Времени». Григорьев активно сотрудничал и в «Эпохе» до самой своей кончины.

Комплект его статей во «Времени» и «Эпохе» — вершина его литературно-критического творчества. Здесь еще сильнее, чем

раньше, усиливаются мятежные, бунтарские начала мировоззрения (конечно, с романтической подкладкой, а не с желанием совершать социально-политическую революцию). В русском национальном характере Григорьев теперь постоянно отмечает две «силы» — «стремительную» и «осаживающую». Пушкинский «смирный» Белкин воплощает последнее начало, а к «стремительным» относятся активные, творческие, даже иногда и «хищные» персонажи, словом, те, которые выражают «протест» против застоя, против сложившихся форм жизни. У Пушкина это герои «Кавказского пленника», «Цыган», «Евгения Онегина», «Полтавы», «Каменного гостя», «Дубровского». Много лет роман А.И. Герцена «Кто виноват?» был для Григорьева символом «фатализма» «натуральной школы», а теперь он отмечает в нем «глубину мысли и энергию протеста». Очень ценна в этом отношении рецензия нашего критика на новое издание грибоедовской драмы «Горе от ума», где Чацкий назван «сыном и наследником Новиковых и Радищевых» и прозрачно намекается на его связи с декабристами; вся рецензия — горячая защита «героической натуры» Чацкого.

А в цикле статей о Лермонтове тоже господствуют подобные мотивы. Григорьев склонен теперь видеть героическое начало и в Печорине, который «не только *был* героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического»; он «способен был бы умирать с холодным спокойствием Стеньки Разина в ужаснейших муках». С мятежным вождем крестьянского движения сравнивает критик и романтических героев Лермонтова: «Ведь приглядитесь к ним поближе, к этим туманным, но могучим образам: за Ларою и Корсаром (персонажи поэм Байрона. — *Б.Е.*) проглянет в них, может быть, Стенька Разин».

Очень сложным было отношение Григорьева к Некрасову. Критик понимал его великую художественную силу, множество стихотворений поэта одобрял беспрекословно, ему нравилась некрасовская сатира (но только не по отношению к народу!), и именно в некрасовской статье Григорьев сформулировал свой принципиальный лозунг «где поэзия, там и протест». Иногда критик упрекает поэта даже за недостаточно сильный протест, например, за недооценку мятежных волжских песен; анализируя стихотворение «На Волге», он созерцательному страданию и состраданию героя противопоставляет энергичную действенность исторического Минина: «Вы знаете, что Кузьму Захарьича не к одним только стонам и печали привела эта песня».

В то же время односторонность протеста тоже осуждалась Григорьевым, для него важен противовес — народная жизнь, по отношению к которой не могло быть протеста. Истинно народным Некрасов оказывается лишь тогда, когда он поэтически

возвышен, когда он лирически изображает крестьянскую жизнь. Если еще это сочетается со смирением, как в стихотворении «Тишина», то это особенно близко критику, недаром он последнее стихотворение цитирует чуть ли не полностью.

По-иному расставлены акценты в статье Григорьева «Граф Л. Толстой и его сочинения». Творчество Некрасова было как бы переполнено напряженностью, страданиями, — Толстому, наоборот, недостает этих качеств. Одобряя поэтому толстовское разоблачение ложной значительности и мишуры «светского» общества, критик настороженно относится к положительным идеалам художника, сводившимся в основном к изображению простого и «смирного» типа (тем более настороженно — к возвеличиванию природы над человеком!). Здесь-то и вспоминает Григорьев Островского, Кольцова, Некрасова, Ф. Достоевского, которые в самой народной жизни стремились найти «широкое» активное начало. Скрупулезно вспоминая всех энергичных, действенных героев Толстого, связанных с народом (особенно интересно противопоставление героя «Юности» группе демократической молодежи), Григорьев ждет от писателя большего внимания к «силе и страстности» народной стихии — недаром опять вспоминается Стенька Разин как герой фольклорных песен. Критик сочувственно относится к толстовскому анализу, но еще больше он жаждет «синтетичности» всестороннего охвата действительности, раскрытия глубинных возможностей народной жизни. Сам того не осознавая, он как бы предсказывает поворот Толстого к «Войне и миру».

Толстой, ценя в общем талант Григорьева, не принимал его деления характеров на «смирные» и «хищные», так как понятием, противоположным «смирному», считал «бунтующий» или «горящий», а не «хищный». Толстой не знал, что «хищный» — лишь один из вариантов григорьевской антиномии «смирному»; «бунтующий» и «горящий» тоже входили в круг его «антисмирных» представлений, куда включались еще и другие качества (например, Евгений Онегин — тоже противоположный смирному — гордый, ищущий, лишний...).

А пожелания Григорьева относительно всесторонности и глубины охвата русской жизни были — может быть, и бессознательно — воплощены Толстым в великой эпопее. Один из признаков значительности литературного критика — предвидение дальнейшего пути творчества того или другого писателя. Белинский предсказал Гончарову его роман «Обломов», Григорьев наметил те серьезнейшие ценности, которые потом были воплощены Толстым в «Войне и мире».

Вершиной художественного творчества Григорьева стали его воспоминания «Мои литературные и нравственные скитальче-

ства», печатавшиеся во «Времени» и «Эпохе» с 1862 по 1864 год и как бы на полуслове оборванные в связи с кончиной автора. Показательно, что время было не очень-то «мемуарное»: как правило, всеобщий интерес к созданию и чтению воспоминаний, документов, собраний писем возникает по завершении какой-то эпохи, в относительно стабильной обстановке. В России такой период был чуть раньше, на закате николаевского режима и в первые годы после смерти Николая I, то есть в середине 50-х годов: литература дала тогда читателям основные части «Былого и дум» Герцена и «Семейную хронику» С.Т. Аксакова, а также обилие автобиографических повестей о детстве и юности. Но 1862—1864 годы, когда создавались мемуары Григорьева, были совсем не подходящими для подведения итогов и спокойного анализа: это годы ломки крепостничества, репрессивного подавления революционной ситуации в стране, польского восстания и его разгрома, интенсивнейшей журнальной борьбы в социально-политической сфере, экономической, философской, литературной... Было явно не до воспоминаний, когда каждый день сулил порясающие неожиданности.

Но помимо общественных причин существуют еще и личные. Правда, повод как будто бы оказался внешним — писать мемуары Григорьева подбивал М.М. Достоевский (ему и посвящены «Скитальчества»), но автор работал упоенно, со страстью... Если бы не было внутренних поводов, вряд ли произведение было бы создано. Существует мнение, что мемуары — удел старости. Но наш автор начал трудиться над воспоминаниями еще относительно молодым, сорокалетним. Правда, по меркам XIX века сорокалетние считались чуть ли не стариками: вспомним, например, «старческий» облик сорокалетнего Николая Петровича Кирсанова, отца Аркадия, в тургеневских «Отцах и детях». Но все-таки сорок лет — еще не возраст мемуариста, даже по нормам XIX века (если не считать исключительных обстоятельств, общественных и личных, которые могли, например, заставить Герцена в таком именно возрасте обратиться к воспоминаниям). Три товарища Григорьева студенческих лет, оставившие потомству свои воспоминания, — С.М. Соловьев, А.А. Фет, Я.П. Полонский, — писали их в значительно более «старческом» возрасте — с середины 70-х до конца 90-х годов прошлого века.

Что же подвигнуло Григорьева на интенсивную работу? Остается лишь гадать. Можно привлечь «физиологический» домысел. Биологи обратили внимание на интересную закономерность: организмы многих видов существ перед началом полового созревания оказываются ослабленными и максимально подверженными разным заболеваниям, то есть возникновение способности продолжать свой род можно истолковать как реакцию особи и всего

вида на опасность смерти. Было бы заманчиво предположить, что желание оставить после себя духовное «потомство», воспоминания, связано с предчувствием конца. По крайней мере, сам Григорьев ощущал себя «кончающимся»: последний романтик, *лишний* человек, ненужный человек (под псевдонимом «Ненужный человек» он написал несколько статей в журнале «Якорь»).

«Последний романтик» — это еще полбеды. Конечно, «последний» — значит, подведение черты, стояние у черты перед концом большого периода. Но слово «романтик» означало возвышенное, идеальное, творческое, интенсивное. Почти все произведения Григорьева после «Москвитянина» овеяны ощущениями «последнего романтика». А вершинные творения, вехи на пути автора включены им в своеобразную тетралогию. В 1862 году он мимолетно, «разово» вернулся в «Русский мир» и опубликовал там поэму «Вверх по Волге» с любопытным подзаголовком «Дневник» без начала и без конца. (Из «Одиссеи» о последнем романтике.)». А внизу было примечание, где сообщалось, что автор напечатал три предшествующие части этой «Одиссеи» раньше: цикл «Борьба», рассказ в прозе «Великий трагик» и поэма «Venezia la bella».

Вероятно, Григорьев предполагал создать и другие части «Одиссеи». П.В. Быков, познакомившийся с нашим поэтом в начале 1860-х годов, видел у него листок с поэмой «Искушение последнего романтика» и запомнил первые строки:

Надорванный и непостижный век,
Безгранным хаосом рожденный,
Тобой несчастный создан человек,
В своем величьи убежденный...

Потом, якобы по нечаянности, листки с поэмой попали в горящую печку. Такое для Григорьева вполне допустимо. Но главное — в последние годы жизни он постоянно думал о продолжении «Одиссеи о последнем романтике». А ощущение «последнего», конечно, тесно сопрягалось с понятиями «лишний человек» и «ненужный человек». Как писал он Страхову 23 сентября 1861 года: «...струя моего веяния отшедшая, отзвучавшая — и проклятие лежит на всем, что я ни делал».

И вот это понимание отрешенности, ненужности, чувство «конца» и стало одним из стимулов к созданию мемуаров. Григорьев, конечно, сознательно оглядывался на своих знаменитых предшественников — больше всего — на Гейне («Путевые картины») и, особенно, на Герцена с его монументальной серией «Былое и думы». В последнем случае было даже и подспудное отталкивание: Герцен показывал становление радикала, фактически — революционера, а Григорьев — романтика. Но еще больше было следования. Наш мыслитель все больше увлекал-

ся Герценом в послемосквитянинский период, и не только относительно переоценки романа «Кто виноват?». Страстные статьи Герцена против крепостного рабства, против бюрократической правящей верхушки России, против любого мракобесия, а с другой стороны, восторженное отношение к декабристам, симпатия к мученикам николаевского режима, преклонение перед русским народом, не говоря уже о блистательном художественном таланте, захватывали Григорьева, и это нашло отражение в его прямых высказываниях. Он писал к И.С. Тургеневу 11 мая 1858 года: «Скажите Александру Ивановичу (Герцену. — *Б.Е.*), что сколько ни противны моей душе его цинические отношения к вере и бессмертию души, но что я перед ним как перед гражданином благоговею, что у меня образовалась к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, святая книга «14 декабря»!.. Как тут все право, *честно*, достойно, взято в меру». Подобные отзывы о Герцене содержатся и в тексте «Скитальчеств»: «Один великий писатель в своих воспоминаниях сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая свой детский возраст».

Есть сведения, что Григорьев приобретал продукцию лондонской типографии Герцена, не только пребывая за рубежом, но и в России: агент III отделения доносил начальству 30 января 1861 года, что критик «иногда дает читать знакомым запрещенные книги, печатаемые за границею». Курьезно, что царская охранка получила анонимный донос на Григорьева — якобы он организует политический заговор! Поэтому за ним и была установлена тайная слежка. Такие нелепости были типичны. Граф Закревский даже славянофилов, даже Погодина и Шевырева подозревал в связях с революционерами. Лишь после того, как несколько агентов в течение месяца следили за каждым шагом и словом Григорьева и убедились в абсурдности доноса (самая большая вина подозреваемого выражалась в чтении нелегальных книг — но тогда все их читали!), надзор был снят.

Сплав субъективно-личностного и «внешнего», характерный для воспоминаний нашего автора, очень похож на метод «Былого и дум». Лиричен, субъективен Григорьев и сам по себе, здесь ему не нужно заимствований, а вот историзма ему раньше не хватало, здесь Герцен мог повлиять. Но и вообще эпоха шестидесятых годов влияла: и усилением научного историзма, и, еще более, духом раскованности, свободных исканий истины, политического задора.

Объективные или относительно объективные воспоминания Григорьева в разных пропорциях и в разных ракурсах сливаются с лично-интимными. Начинает он с тесного сплава личных

впечатлений и объективного духа исторических событий: «...я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый литературный интерес». Чуть дальше историческое даже как бы приподымается над личным: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху».

И затем в самом деле относительно объективно, хотя и с отдельными краткими разливами субъективного чувства, Григорьев описывает свое детство в Москве, в Замоскворечье 20—30-х годов. Так повествование довольно спокойно движется, пока не происходит взрыв: очевидно, сказалось и умственно-моральное перенапряжение из-за мировоззренческих кризисов и житейских неурядиц, и некоторое неудобство от добровольно надетых на себя объективно-исторических «пут». Григорьев пишет главу «Нечто весьма скандальное о веяниях вообще», резко личностную, субъективную, полемически заостренную против «прозаического» духа 60-х годов: автор даже считал эту главу «скандальной и неприличной, эксцентрической», хотя ничего подобного в ней нет, если не считать умеренно бранных выражений... Но, вылив на страницы воспоминаний свои романтические страсти, Григорьев как бы успокоился, и следующие до конца главы наиболее объективны, они почти лишены описания событий личной жизни, а повествуют главным образом о литературных произведениях 30-х годов, которые оказали наиболее сильное идеологическое и эстетическое воздействие на подрастающее поколение. В этой объективированности, при всех романтических ореолах, тоже чувствуется влияние и эпохи вообще и «Былого и дум» в частности.

А в описаниях эпизодов личной жизни Григорьев мало похож на Герцена, у него больше бесстрашия и откровенности при изображении детства: он не стесняется показывать не только пошловатость отца и деспотизм матери, но и свои недостатки. Вообще, в его воспоминаниях скорее в духе современной реалистической литературы, чем в духе романтической традиции, очень много будничного, бытового, случайного, хотя и овеянного духовными стремлениями, наполненного широкими обобщениями. Герцен создавал «Былое и думы», замышляя показать связь с историей человека, *случайно* оказавшегося на ее дороге; но фактически в книге не так много случайного: Герцен сознательно типизировал, отбрасывал ненужные детали, некоторые неприятные черты и события; автор как бы шел от слу-

чайного к типическому. Григорьев, наоборот, в начале своей книги декларирует объективность и исторически-эпохальную типизацию, но затем довольно часто уклоняется в сторону личного, случайного, нетипического. И если Герцен сознательно создавал «Былое и думы» как произведение о становлении положительного героя современности, то Григорьев так же сознательно дегероизировал свое «я» — в этом существенное различие двух мемуарных книг.

Воспоминания Григорьева не только вершина его художественного творчества, но это и одно из самых замечательных мемуарных произведений русской литературы, и очень жаль, что оно ныне полузабыто, оно не заняло еще своего достойного места в истории отечественной культуры.

Ужасно обидно, конечно, что воспоминания из-за неожиданной смерти автора оборвались чуть ли не на полуслове, оборвались на подробном повествовании о детстве. А ведь замыслил Григорьев описать всю свою жизнь. Зубоскалы юмористического журнала «Искра» в первом, новогоднем номере за 1863 год дали подборку «оглавлений» январских книжек основных петербургских журналов, то есть не реальных содержаний, ибо журналы еще не успели выйти, а собственной выдумки, насмешливых. И номер «Времени» открывался якобы воспоминаниями нашего автора: «1) «Мои литературные и нравственные скитальчества». Часть вторая. I. Московские просвирни (намек на известную мысль Пушкина, что русскому языку нужно учиться у московских просвирен. — *Б.Е.*). II. Два часа размышлений на колокольне Ивана Великого (намек на описание Григорьевым Замоскворечья с высоты кремлевского холма в начале «Скитальчеств». — *Б.Е.*). III. «Москвитянин» и ужин у Погодина (намек на всем известную скупость Погодина. — *Б.Е.*). IV. Я открываю в себе решительное призвание критика. V. Ночь в цыганском таборе *Аполлона Григорьева*».

Затронутый насмешкой автор оценил юмор и в одной из последующих статей в «Якоре» (1863, № 41) — «Две сцены» — серьезно пообещал развить содержание юмористических рубрик, уклонившись, правда, от «двух» часов и от «ужина у Погодина»: «...пустили в «Искре» программу одного из будущих, чисто московских отделов этих «Воспоминаний». Да утешатся они! Именно по этой очень остроумной их программе напишется отдел в награду за остроумие, как вещь у них чрезвычайно редкую; все будет со временем, все, — и «час размышлений на колокольне Ивана Великого», и «вечер на Девичьем поле», и «ночь в цыганском таборе» (даже — полдня у кочевых цыган, за Серпуховскою заставою), все будет, без малейшей утайки и без малейшей прикрасы». Увы, этих разделов мы уже никогда не прочтем...

«ЯКОРЬ». ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК ЖИЗНИ

Григорьев сотрудничал во «Времени» и «Эпохе» как в очень близких по духу журналах. И все-таки в связи со всеми — пусть и не всегда принципиальными — разногласиями с братьями Достоевскими он, все более болезненно воспринимавший даже малейшее покусительство на свободу (в данном случае на свободу суждений), опять стал искать возможность получить в руки абсолютно *свой* журнал. Давно уже, вернувшись из Италии, он продолжал одолевать Погодина предложениями возобновить «Москвитянин». Погодин снова тянул, обдумывал, потом, наконец, и готов был согласиться — но, как говорится, поезд ушел! Ведь перед отъездом к Трубецким Григорьев получил разрешение на редактирование «Москвитянина», которое потом, в связи с длительной отлучкой просителя, наверное, было аннулировано, и в 1860 году он уже заново был утвержден редактором «Драматического сборника». А когда затем он пожелал восстановить «Москвитянин», то цензурный комитет не разрешил — по тогдашним правилам нельзя было редактировать одновременно два периодических издания.

Новая возможность появилась в начале 1863 года. Издатель «Драматического сборника» Стелловский, видя полную непопулярность издания, решил его прикрыть и организовать небольшой по объему (около 30 страниц), но большего формата, чем обычные толстые журналы, еженедельник, главным образом, посвященный театрам и музыке. Пригласил Григорьева возглавить этот новый журнал, тот с удовольствием согласился, цензурный комитет не возражал против ликвидации старого органа и создания нового под названием «Якорь». Наверное, это имя придумал Григорьев — сказались прежние консервативные вкусы, желалось в суетном, калейдоскопическом мире найти гавань и опустить там свой прочный якорь...

С 16 марта 1863 года журнал стал выходить — по субботам. Григорьев переехал из меблированных комнат в нормальную квартиру, ставшую одновременно и редакционным помещением, завел бланки «Якоря» с адресом: «На Вознесенском проспекте, близ Измайловского моста, в доме Соболевской № 49, квартира № 4». То есть на том же проспекте, где и жил, только южнее, почти у Фонтанки. По счастливой случайности, этот дом имеет тот же номер и ныне. Квартира, как и большинство предыдущих, снимавшихся Григорьевым, была почти пустой, без мебели — и денег не было, и равнодушен был хозяин к уюту. Именно в эту квартиру приходили полицейские в мае 1863 года описывать имущество за невозврат Оренбургскому кадетскому корпусу 810 рублей — и ушли не-

солоно хлебавши. А это жилище стало последним при жизни нашего литератора.

Григорьев со страстью и надеждой принялся за издание журнала. Редкий номер не содержал его статей, за 1863 год их набралось около шестидесяти. Первый номер открывался программной статьей «Вступительное слово о фальшивых нотах в печати и жизни», интересной не столько ворчанием о фальши, сколько переходом к светлым явлениям: в области науки и публицистики Григорьев отмечает «возвышенное учение отца Феодора» (Бухарева) и «смелость мысли Щапова», выдающегося историка, с симпатией писавшего о старообрядчестве и «земских» идеях антиимперского федерализма, что было очень близко нашему мыслителю. В области художественной литературы отмечен, в продолжение идей статьи во «Времени», «народный поэт Некрасов», а также «честный», хотя и горький смех Щедрина».

Литературная критика займет в «Якоре» не очень значительное место, самые заметные статьи Григорьева в этой сфере — о драме А.Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (конечно, весьма положительная) и об антинигилистическом романе А.Ф. Писемского «Взбаламученное море» (резко отрицательная; критик выдвинул неожиданный, но справедливый парадокс: писатель якобы борется с радикальными нигилистами, но так как он разоблачает вообще русскую интеллигенцию, в том числе и «Рудиных», и «Бельтовых», и цинически спокойно изображает «нравственных гадов» мещанского болота, то он фактически становится «органом мещанской реакции» и сходится с нигилистами; мещане, как и нигилисты, — противники человеческой личности и духовной жизни).

Основное же место в журнале занимали театральная и музыкальная хроники и соответствующие рецензии. «Якорь» ведь был как бы продолжением «Драматического сборника», в свою очередь продолжавшего «Театральный и музыкальный вестник». И издателю Стелловскому, содержателю музыкального магазина, это было важно, и Григорьеву с его интересами.

Театральные рецензии и обзоры Григорьева составляют почти половину его статей в «Якоре». Это и обобщенное сравнение театров двух русских столиц — «Две сцены», и текущие отзывы о спектаклях Александринского театра, и статьи об отдельных выдающихся актерах (например, восторженнейшая статья о гастролях в Петербурге Прова Садовского), и специальные статьи о постановках на сцене Александринки пьес Островского «Доходное место» и «Воспитанница». Последние статьи выходят за рамки чисто театральных рецензий, они приобретают важное литературоведческое и даже широкое культурологическое значение, особенно статья о «Воспитаннице», где великолепно показано сходство и отличие в любовных историях героини этой пьесы Нади и Катерины из «Грозы» (отличие в том, что судьба Катерины как бы предопределена ее характером, «натурою» и развитием, а у Нади на первый план выступает игра случайностей, роль произвола в дворянском быту).

Особое место в данном ряду занимают статьи Григорьева об опере, а среди них в центре находится рецензия на постановку оперы А.Н. Серова «Юдифь». Александр Николаевич Серов (1820—1871) — выдающийся русский композитор и музыкальный критик, к сожалению, ныне мало известный (кажется, только часто повторяемая в исполнении Шаляпина ария о широкой Масленице из оперы «Вражья сила» выводит его имя из забвения). Он стал в последние годы жизни Григорьева одним из самых близких его друзей. К сожалению, самую значительную и, увы, не законченную свою оперу «Вражья сила» он тогда еще только задумывал. Григорьев знал лишь первую его оперу «Юдифь» (1862) на известный библейский сюжет и дал ей очень высокую оценку; он также считал Серова самым крупным русским музыкальным критиком, как Белинского — литературным (хорошо бы добавить, что сам Аполлон Александрович был тогда крупнейшим театральным критиком).

Серов, бывший большим поклонником и пропагандистом тогда еще мало известного в России Вагнера, познакомил с его творчеством и Григорьева, и тот стал «вагнеристом», рассматривая Вагнера как продолжателя любимого Бетховена. Не в «якорной», а в «эпохальной» статье «Русский театр» («Эпоха», 1864) наш критик подробно раскрыл смысл своего увлечения Вагнером. Считая, что театр — и драматический, и музыкальный — должен подчиняться литературному тексту, Григорьев особенно оценил громадную роль напряженно-конфликтного либретто в операх германского композитора: Вагнер — «творец музыкальной драмы в ее высшем значении, самый чистый из ее современных представителей, притом творец драмы трагической».

А этот драматизм, считает критик, делает оперы Вагнера доступными и популярными для широкого круга зрителей и слушателей: «Как демократ я, разумеется, вагнерист, ибо принцип, что опера есть драма — (...) принцип вполне демократический, устраняющий наслаждения дилетантские и дающий наслаждения массам». Правда, Григорьев не одобрял «крайностей» Вагнера (смешение всех родов драматического искусства в один, в оперу), но считал его крупнейшим тогда западноевропейским композитором.

В «якорной» же рецензии на постановку «Юдифи» Серова Григорьев своеобразно истолковывает «вагнеризм» своего дру-

га: «Всего менее на свете похожее на создание Вагнера, — близкое уже скорее, если нужны непременно сближения, к Мейерберу, чем к Вагнеру, — создание нашего маэстро тем не менее победа вагнеризма, торжество новой (...) идеи истинного реализма». Развивая идеи более ранней статьи «Реализм и идеализм в нашей литературе», Григорьев и здесь под «истинным реализмом» подразумевает сочетание «полнейшей жизненности» и «натурализма формы» с идеалом, а современными истинными реалистами он называет Вагнера, Серова, Гюго («Отверженные»), Островского. В статьях «Якоря» и «Эпохи» он лишь начинал углубляться в сферу театрально-музыкальной критики, но его кончина прервала путь нашего мыслителя к пониманию новых открытий в оперном творчестве второй половины XIX века.

Довольно значительное место среди статей Григорьева в «Якоре» стала занимать злободневная публицистика, ранее почти не привлекавшая его внимания. Но слишком бурные и тревожные события протекали в стране, чтобы от них можно было укрыться в мир искусства: запутанные последствия крестьянской реформы, молодежные радикальные метания, польское восстание 1863 года... И Григорьев откликался. Особенно ценна его статья «Вопрос о национальностях», где автор с прежней страстью ратует, вопреки космополитическим прогнозам «теоретиков» (то есть западников), за свободное развитие национальностей, за право Малороссии, то есть Украины, на свой язык и на свою литературу (и выделяется «великий Тарас Шевченко»); каждая национальность, подчеркивает Григорьев, имеет право «на самобытность существования», но никак не за счет другой нации, а лишь «в пределах ее языка, верований и племени». Эти строки, опубликованные в разгар польского восстания, можно трактовать как отрицание и притязаний России на польские земли, и мечтаний Польского революционного комитета о присоединении Западной Украины и Белоруссии.

В статьях послемосквитянинского периода, в связи с идеей о двух сторонах русского характера, Григорьев впервые заговорил о мещанской «тине», болоте. Теперь же, под влиянием социальных перемен после 1861 года, «болотистое» мещанство зашевелилось, озлобилось, стало агрессивным, и это в свою очередь усилило ненависть нашего публициста ко всем реакционным кругам России, противящимся реформам. Григорьев в статье «Якоря» «Ветер переменился» посмел сравнить русских реакционеров с французским монархическим террором и прямо написал, что пришел в «неописуемый ужас от многообразных проявлений «белого» террора, обнаруживавшегося преимущественно в бюрократических и мещанских слоях общественной

жизни». Эта реакция, добавляет автор статьи, нисколько не лучше «красного» террора.

Непосредственно же сатира и обличение никогда не были удачными жанрами для Григорьева, он впадал при полемике с идеологическими противниками в прямую грубость, часто превосходящую грубые же наскоки враждебных журналистов; например, ненавидя радикальных деятелей «Современника», он мог бранить Чернышевского и Добролюбова за превращение «фешенебельного журнала» в «социальную конюшню».

В качестве сатирического приложения к «Якорю» выходил тоже еженедельный журнал «Оса», и его редактором был также Григорьев. Он помещал там ругательные пассажи в стихах и прозе, мало остроумные, повторяющие его нападки в «Якоре», нападки на два фронта сразу: против радикальных журналов «Современник», «Русское слово», «Искра» — и против «белого» террора, особенно против «Домашней беседы» полубезумного реакционера В.И. Аскоченского. Григорьев часто противопоставлял сатиру и «положительные» описания, считал, что именно последние народны; он ведь и Некрасова упрекал, что выдающийся народный поэт опускается до сатиры, но и сам не выдерживал и «опускался», нанося удары и «левым», и «правым».

Стремление стать над схваткой в напряженные моменты национальной истории никогда не приводило к успеху: широкие массы читателей склонялись к какой-либо одной позиции. Или — или. Поэтому новое издание, затеянное Стелловским и Григорьевым, было обречено на неуспех. Этому помогала еще и пессимистическая тональность статей редактора. Мелькали подписи, подчеркивавшие «маргинальность» авторов: «Ненужный человек», «Гамлет Щигровского уезда» (название повести И.С. Тургенева о «лишнем человеке»). Да и внутри статей звучали «похоронные» ноты. С самого начала издания «Якоря». Вот программный первый номер. Вторая статья, после «Вступительного слова...», называлась «Безвыходное положение. Из записок ненужного человека». А в ней — «Дело наше покончено», нам нет места в практической жизни и т. д., и т. п. Читатель мог спросить: если ваше дело покончено и вы никому не нужны, зачем же вы затеваете журнал?! Недруги Григорьева, и слева, и справа, без всяких колебаний уверяли читателей, что именно они знают истину и именно они поведут страну к счастливому будущему, именно они умны, благородны и талантливы. Конечно же, такая уверенность была куда более привлекательна для массового читателя, чем унылые рассуждения о сложности жизни. Единственное, что из «Якоря» широко читалось и ценилось, особенно в актерских кругах, — это театральные рецензии.

Жизненные неудачи очень изменили облик Григорьева. Куда девалась его живость, его лихорадочная возбужденность — когда при его стремительном входе в собрание хотелось спросить: «где пожар?»! К.Н. Леонтьев, познакомившийся с ним уже в шестидесятых годах, так его описывает: «Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой, когда он пил чай и, кивая головою, слушал, что ему говорили, — он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского...» Любопытно, что страстность, хоть и подспудная, была заметна!

Видя полный неуспех своего журнала, Григорьев в начале 1864 года покинул «Якорь» и «Осу», хотя официально он числился редактором до сентября того года. Он вернулся к Достоевским, в их новый журнал «Эпоха». Здесь он продолжил публикацию воспоминаний и театральных обзоров, а из нового дал две статьи «Парадоксы органической критики» с подзаголовком «Письма к Ф.М. Достоевскому». Это итоговая теоретическая статья нашего критика. Начинается она с иронического эпиграфа из «Горя от ума»: «О чем бишь нечто? Обо всем! *Репетилов*». Да, как часто у Григорьева, статья обо всем, но главным образом — об органичности, цельности, естественности, духовности, поэтическом пророчестве, о дорогих именах: восторженно оценивается книга В. Гюго о Шекспире, похожая по строению на труды самого Григорьева («Книга сама по себе — гениальное уродство, в котором о самом Шекспире едва ли найдется листа два печатных»), вспоминается «светозарное отражение лучей Шеллингова гения на англосаксонской почве, называемое Карлейлем», из русских упомянуты Пушкин, Белинский, Мочалов, Островский, инок Парфений, «Хомяков и его школа» и «несколько стихийный А. Бухарев» (Григорьев, конечно, знал, что архимандрит Феодор снял с себя монашеский сан и вернул свое мирское имя).

После двух больших частей (писем), которые автор назвал лишь «присказкой» с обещанием дать «сказку» «впереди», должна была появиться часть третья. Кажется, она даже была написана, но вихрь событий не сохранил ее, «Парадоксы...» оборвались на «присказке». В июле 1864 года скончался М.М. Достоевский; это, конечно, мучительно потрясло любившего его брата; Федор Михайлович взял весь журнальный технический груз на себя. А Григорьев в июне опять сел в «яму», в долговую тюрьму. Этому предшествовало скрещение самых разных душевных кризисов. Мало ему было переживаний от провала «Якоря» и разных домашних дрязг с Марией Федоров-

ной, с которой он то сходился, то расходился. Восстановились, к сожалению, разногласия с Достоевским. В «Парадоксах...» Григорьев открыто перечисляет упреки, которые ему делал Федор Михайлович: чрезмерная теоретичность статей, незнание современной текущей литературы, недостаток уважения к Гоголю... Как и раньше, по принципу «корзиночки» комплекс неудач приводил к творческой апатии, к загулам, к залезанию в немыслимые долговые обязательства... И вот — опять в «яме».

Сколько времени Григорьев просидел в тюрьме — неясно. 26 июля он еще не вышел из «Тарасовки». В конце августа он опять был в заключении. Но была ли это повторная история, то есть освобождался ли он в начале августа или так и сидел с начала июля до середины сентября, понять из его редких писем трудно.

У Достоевского, мы знаем, было и денег мало, и совсем не было надежды, что, выйдя из тюрьмы, Григорьев снова не наделает долгов. А в «Тарасовке» он хотя бы понемногу трудился для «Эпохи». Но жизнь там была теперь, после ухода (смерти?) любезного старичка-смотрителя, ой как тяжела. В письме к Н.Н. Страхову от 3 сентября 1864 года Григорьев сетует, что не получает от редакции «Эпохи» обещанные 5 рублей в неделю и потому не может работать: «...не говорю уже о непереносной пище и недостатках в табаке и чае — задолжавши кругом тут же людям, беспрестанно вертящимся на глазах, — протухши от пота, ибо белье не отдает прачка, — не имея какого-либо костюма, можно ли что-либо думать?» Это — последнее — письмо к Страхову кончается потрясающим стоном: «...хоть за прежние-то заслуги и за «записки» (воспоминания. — *Б.Е.*) — не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе».

Что мы точно знаем, около 21 сентября его выкупила из «Тарасовки» второстепенная писательница А.И. Бибикова (кажется, он обещал стилистически выправить какие-то ее произведения). Но на свободе он прожил всего несколько дней. 25 сентября 1864 года он неожиданно скончался от апоплексического удара, как тогда называли инсульт. 28 сентября друзья хоронили его на Митрофаньевском кладбище, за Варшавским вокзалом. Ныне кладбище не существует; оно располагалось рядом с сохранившимся старообрядческим кладбищем, теперь называемым «Громовское»; их разделяла бывшая Старообрядческая, ныне Ташкентская улица, идущая от Дома культуры им. Капранова через подъездные пути Варшавского вокзала к Митрофаньевскому шоссе; Громовское кладбище находится у южной стороны Ташкентской улицы, а Митрофаньевское простиралось севернее.

Писатель П.Д. Боборыкин вспоминал: «Проводить Григорьева собралось немного народу: редакция журнала «Эпоха», не-

сколько человек из «Библиотеки для чтения», два-три актера, в том числе П.В. Васильев, и какие-то личности в странных одеждах, как оказалось, пансионеры дома Тарасова, сидевшие с Григорьевым в одной комнате. В церкви все заметили бывшую актрису г-жу Владимирову. Она приехала проводить в могилу того театрального критика, который относился к ней всегда более чем снисходительно, находил даже в ней задатки большого дарования. И оказалось, что г-жа Владимирова никогда даже не видала в лицо покойного, почему и попросила одного из распорядителей похорон приподнять крышку гроба: гроб стоял в церкви закрытым».

В начале 1930-х годов, когда разрушали Митрофаньевское кладбище, профессор В.С. Спиридонов, всю жизнь занимавшийся творчеством Григорьева, настоял, чтобы его прах был перенесен на Волково кладбище. Поставили новое надгробие. Теперь останки Григорьева покоятся рядом с могилами его великого предшественника Белинского и великих недругов Добролюбова и Писарева, хотя, честно сказать, последние к Григорьеву, да и он к ним, относились все-таки с подлинным уважением — настоящие таланты, даже споря, признают значение друг друга.

А ЧТО ПОТОМ?

А потом было грустно. М.Ф. Дубровская узнала о смерти Аполлона Александровича лишь 4 октября 1864 года, то есть на 10-й день после кончины. Плакала, обижалась на Страхова, что он ей не сообщил. Жила она тогда в ужасных условиях, без средств, снимая у кого-то угол на кухне. А.И. Бибикову восприняла как соперницу и разлучницу. Позднее Мария Федоровна выпрашивала у Достоевского и особенно у Страхова кое-какие деньги. Цитировала заключительные строки из поэмы «Вверх по Волге» — конечно же, к ней относящиеся. Григорьев там просит друзей:

> ... помяните
> Меня одним... Коль вам ее
> Придется встретить падшей, бедной,
> Худой, больной, разбитой, бледной,
> Во имя грешное мое
> Подайте ей хоть грош вы медный...

Во времена романтической юности наш литератор питал пристрастие к бледным и якобы «больным» героиням, а на предсмертном витке жизни он уже без всяких романтических ореолов думал о реальной спутнице, о реальных ее бедах.

Грустна была судьба детей Григорьева. Петр гимназии не кончил, зарабатывал на жизнь случайными литературными должностями, главным образом, корректорской. Рано пристрастился к алкоголю (наследственная беда? среда заела?) и бесславно скончался где-то в середине 1890-х годов. Несколько успешнее оказалась жизненная карьера Александра. Он экстерном сдал экзамены за гимназический курс, затем учился в военно-юридическом училище, где преподавал муж его тетки К.Д. Кавелин; по окончании он по протекции этого родственника устроился в Министерство финансов, а попутно всю жизнь занимался по стопам отца и литературной деятельностью. Чего он только не писал! Повести, очерки, рецензии, литературные и театральные, литературоведческие статьи, фельетоны — в общем почти весь отцовский репертуар, разве что стихов не сочинял. Но уровень был третьестепенный, что понимал и сам автор; слава Богу, он отличался скромностью и деликатностью, никогда не думал примазаться к славе отца, даже долго вынашиваемые воспоминания об отце так и не написал — стеснялся, слишком благоговея перед родителем. Не преуспел Александр Аполлонович и на министерской ниве, впрочем, дослужился до начальника отделения. Мучителен был его конец: он сошел с ума и скончался в больнице в 1898 году. То есть, как и старший брат, не дожил до пятидесятилетия.

Но если, как говорят, природа отдыхает на детях выдающихся людей, то на внуках она может возродить свою деятельность. Александр, женатый на Лидии Алексеевне Соловьевой, успел оставить потомство. Его сын Владимир Александрович, родившийся в 1877 году и скончавшийся от голода в ленинградскую блокадную зиму 1941/42 года, был известным юристом, ему принадлежит ценное биографическое и правоведческое исследование о семье «Потревоженные тени». А дочь Надежда Александровна (1875—1929) была замужем за известным петербургским архитектором Александром Федоровичем Красовским и в свою очередь родила двух дочек — Ольгу (1900—1990) и Надежду (1903—1951). Ольга Александровна — специалист по греческому и латинскому языкам, преподаватель Ленинградского университета, живая, яркая, она учила мое поколение, да и много других довоенных и послевоенных, судьба ей отпустила долгожительство. Ольга Александровна была замужем за Сергеем Рудольфовичем Гутаном (1892—1959) и носила его фамилию. Ее муж происходил из потомственной семьи петербургских моряков, но сам стал архитектором и историком архитектуры, как бы пошел по стопам тестя. И писал хорошие стихи. А их сын Александр Сергеевич Гутан (родился в 1938 году), ин-

женер-строитель, еще более склонен к литературной работе, он — поэт и прозаик, автор самобытных рассказов и очерков. Так праправнук на закате XX века продолжает творческую линию прапрадеда. Дай Бог, чтобы она не оборвалась!

* * *

Грустно видеть, как слабо закреплялась посмертная память об Ап. Григорьеве в XIX веке. Количество опубликованных воспоминаний совершенно не соответствует его роли в истории русской литературы. Из друзей только Страхов написал краткие очерки, да это, скорее, комментарии к публикуемым письмам друга, чем целостные воспоминания. Ни один из членов «молодой редакции» «Москвитянина» не оставил мемуаров. Особенно досадно, что ничего не написал Островский. Он лишь сетовал в частной беседе (запись М.И. Семевского 17 ноября 1879 года), что так мало освещен в печати облик его товарища: «Что у нас путного сказано об Аполлоне Григорьеве? А этот человек был весьма замечательный. Если кто знал его превосходно и мог бы о нем сказать вполне верное слово, то это именно я. Прочтите, например, Страхова. Ну что он написал об Аполлоне Григорьеве? Ни малейшего понимания чутья этого человека». Если именно ты хранишь «верное слово», так почему же не закрепишь это на бумаге?! Увы!

Пусть Страхов знал Григорьева не так глубоко, как Островский, но он, хвала ему, все-таки публиковал письма друга, оставил воспоминания, а главное, — приступил к изданию 4-томного собрания сочинений. Но личных средств ему хватило лишь на издание первого тома (С.-Пб., 1876). Страхов надеялся, что выручка от продажи этого тома позволит продолжить печатание, но время было беспамятное, тревожное: разгулялся народовольческий террор, приведший потом к убийству Александра II, шла Русско-турецкая война, в литературе и публицистике господствовали радикальные идеи, было не до Аполлона Григорьева! Страхову пришлось расстаться с надеждой завершить четырехтомник; впоследствии он отдал все свои материалы какому-то крупному издателю (А.С. Суворину?), который потом якобы потерял их, а внуку В.А. Григорьеву, пожелавшему продолжить издание, заявил, что вообще никаких материалов не получал. Возможно, он лукавил, надеясь, попридержав подготовленные тома, издать их после 1914 года (по тогдашним правилам наследники имели право 50 посмертных лет получать гонорары за издание трудов своего покойного родственника, а потом лишались этого права).

XX век, несмотря на все свои трагические фундаменты и ореолы (а может быть, именно благодаря им), возродил имя Григорьева. 50-летие со дня его кончины было отмечено обилием статей о нем, биографических и литературоведческих, а потом целым косяком пошли григорьевские тексты. В 1915—1916 годах В.Ф. Саводник издал 14 книг «Собрания сочинений Аполлона Григорьева» (но это не толстые книги, а фактически брошюры, в каждой — по одной статье или циклу статей). Редакция «Универсальной библиотеки» массовым тиражом издавала повести и воспоминания (тоже в 1915—1916 годах). Александр Блок, много лет занимавшийся творчеством Григорьева не только как любящий его поэт, но и как первоклассный литературовед, издал в 1916 году том «Стихотворений», почти полное их собрание.

И даже в революционный 1917 год В.Н. Княжнин выпустил замечательную книгу «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии», где впервые опубликовал — по тогдашним возможностям — все известные составителю письма писателя. А В.С. Спиридонов начал тогда подготовку фундаментального «Собрания сочинений и писем» Ап. Григорьева в 12 томах. Но, как и Страхову, ему удалось издать в 1918 году лишь первый том, а далее условия гражданской войны и последующей разрухи никак не способствовали продолжению, укрепившаяся же советская власть тоже не жаловала идеалиста и консерватора. Каким-то чудом эсер и культуролог Р.В. Иванов-Разумник, в небольшом интервале между арестами, подготовил и издал в 1930 году том «Воспоминаний» — самого Ап. Григорьева и о нем.

При дальнейшей цензурной вакханалии можно было еще думать об издании стихотворений. В Малой серии «Библиотеки поэта» дважды, в 1937-м и 1966 году, были изданы избранные поэтические произведения Григорьева; первый раз — «Стихотворения», подготовленные Н.Л. Степановым, второй — «Стихотворения и поэмы» (составил Б.О. Костелянец). А в хрущевскую оттепель П.П. Громов и Б.О. Костелянец издали «Избранные произведения» в Большой серии (1959), это почти полное собрание стихотворных текстов нашего поэта. Значительно труднее обстояло дело с прозой и критикой. Автору этих строк потребовалось около 10 лет мучительного «пробивания» в издательстве «Художественная литература» тома «Литературная критика», который все-таки вышел в 1967 году. Лиха беда начало. Потом стало немного легче: удалось мне и коллегам издать «Воспоминания» в академической серии «Литературные памятники» (1980), сборник «Эстетика и критика» в серии «История эстетики в памятниках и документах» (1980), «Театральную критику» (1985), стали переиздаваться стихотворения и поэмы.

Наконец, в разгар «перестройки», в 1990 году издательство «Художественная литература» выпустило григорьевские «Сочинения в двух томах», избранные стихи, прозу, критику и даже немного писем. Обрадованное успехом этого двухтомника (тираж был 100 тысяч экземпляров!) издательство заказало мне проспект шеститомного собрания сочинений, я быстро его составил — но, увы, начался развал книжного дела — не везет Григорьеву, замыслы собраний его сочинений возникают, как нарочно, при начале кризисных потрясений Отечества. Будем надеяться на будущее.

Параллельно с послевоенными публикациями начались исследования творчества Григорьева. Вначале — статьи и тезисы докладов, потом — диссертации, потом — монографии. И не только у нас, но и за рубежом — во Франции, в США, Польше, Италии, Германии, Англии, Норвегии. Поехало, слава Богу! Теперь уже невозможно говорить о нашем литераторе, что он забытый, как иногда писали в начале XX века. Впрочем, нужны еще фундаментальные работы о его жизни и деятельности, нужны многотомные собрания сочинений и писем, чтобы широкие круги российской и заграничной интеллигенции осознали истинное место Григорьева в истории отечественной культуры, осознали его новаторство.

Конечно, чрезвычайно велико его историко-литературное значение, важны его стихи, критические статьи, воспоминания. Но, может быть, еще существеннее его пример, *образец* для современной гуманитарной сферы. Как он мужественно и бескомпромиссно плыл «против течения», утверждая дорогие ему идеи! Как он смело развивал новаторские принципы в художественном методе и в литературно-критических анализах — и так же смело боролся за верность традиционализму! Как не боялся быть трагически одиноким в своем новаторстве и в своем консерватизме (трагедия любого консерватизма, впрочем, имеет утешительную отдушину: он, борясь с какими-либо современными радикальными призывами и результатами, вскрывает в них опасные тенденции, к чему надо обязательно прислушиваться!). Нынешним не очень образованным литературным критикам полезно поучиться у Григорьева, воспринимая как идеал его энциклопедические познания в области отечественной словесности и западноевропейских философии и литературы, познания, которые он блистательно применял в своих статьях.

А для культурологов, изучающих национальное своеобразие, он представляет уникальный образец, вместивший в себя чуть ли не все черты русского национального характера, и дурные, и хорошие, и мелкие, и крупномасштабные, пошловатые и даровитые. Как и в других областях, где Григорьев был талантлив, он был *талантливо русским*. Может быть, потому он и привлекает сейчас такое внимание зарубежных ученых. Характерно также оживление интереса к нему в России: участились диссертации о нем, было несколько радио- и телепередач, группа московских критиков учредила недавно литературную премию имени Аполлона Григорьева.

И так как видно, что и издания его трудов, и исследования о нем становятся все более частыми и основательными, что интерес к нему расширяется «раструбом воронки», можно твердо сказать, что за ним *будущее*. У каждого из нас, конечно, складывается свой образ будущего, да и самого Григорьева. Александр Блок, автор замечательной статьи «Судьба Аполлона Григорьева» (1915) заканчивает ее такими строками: «Я приложил бы к описанию этой жизни картинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю; на смятом жнивье — худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до слез: это — наше, русское».

Нет, нет! Блок совершенно необоснованно перенес свои тогдашние представления о России на натуру Григорьева. Но Россия многолика, и наш литератор никак не согласуется с сумеречным деревенским пейзажем. Никогда Григорьев не был связан с деревней. Он — городской человек, и его лучше вообразить в цветастом одеянии и с гитарой на московской улице или в белую ночь на брегах Невы, в сыром Полюстрове. Выдающийся театрал, поэт города, знаток московских храмов — какое уж тут жнивье, прясло... И, разумеется, никакой унылости: живой при любых несчастьях, страстный, говорливый, романтически возвышенный... Духовное светило русской культуры, классик русской словесности.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ап. ГРИГОРЬЕВА

1822, 16 (по новому стилю 28) *июля* — в Москве близ Страстного монастыря у мещанки Татьяны Андреевны (девичья фамилия неизвестна) родился сын Аполлон; она официально вышла замуж за отца Аполлона дворянина Александра Ивановича Григорьева через полгода после рождения сына.

1831 или *1832* — отец купил дом в Замоскворечье, на Малой Полянке.

1838 — 1842 — обучение Аполлона на юридическом факультете Московского университета.

1842 — 1844 — служба в университете библиотекарем, затем секретарем Совета.

1843 — напечатаны первые стихотворения в журнале «Москвитянин».

1844 — начало 1847 — жизнь в Петербурге (чиновничья служба, редактирование журнала «Репертуар и пантеон», статьи в нем).

1846 — выход в свет книги «Стихотворения Аполлона Григорьева».

1847 — возвращение в Москву; активное участие (проза, критические статьи, очерки) в газете «Московский городской листок»; знакомство с А.Н. Островским; женитьба на Лидии Федоровне Корш.

1848 — учитель законоведения в Александринском сиротском институте; при его реорганизации в 1850 году переведен учителем в Московский Воспитательный дом, где преподавал до 1853 года.

1849 — участие в качестве литературного и театрального критика в журнале «Отечественные записки».

1850 — вхождение в кружок А.Н. Островского при «Москвитянине» («молодая редакция»: Е.Н. Эдельсон, Т.И. Филиппов, Б.Н. Алмазов и др.).

1851 — 1856 — глава «молодой редакции»; публикация в «Москвитянине» литературно-критических статей, обзоров, художественных произведений, переводов.

1851 — 1857 — старший учитель законоведения в Первой московской мужской гимназии.

1857, июль — отъезд в Италию (через Петербург, Германию, Австрию) в качестве воспитателя юного князя И.Ю. Трубецкого.

1857, ноябрь-декабрь — публикация в журнале «Сын отечества» цикла стихотворений «Борьба», куда входит «Цыганская венгерка».

1857 — 1858, май — жизнь во Флоренции; поездки в Рим и Сиенну.

1858 — четыре месяца с Трубецкими в Париже; возвращение в Россию в октябре (через Германию).

1859 — активное участие в петербургском журнале графа Г.А. Кушелева-Безбородко «Русское слово» в качестве помощника главного редактора и ведущего критика; сближение с М.Ф. Дубровской, ставшей его гражданской женой.

1860 — после разрыва с «Русским словом» сотрудничество в журналах «Сын отечества», «Отечественные записки» и других; утвержден редактором журнала «Драматический сборник».

1861 — 1863 — сотрудничество в журнале братьев Достоевских «Время» в качестве ведущего литературного критика.

1861, январь-февраль — сидел в долговой тюрьме в Петербурге.

1861 — 1862 — преподаватель Оренбургского кадетского корпуса.

1862, май — возвращение в Петербург.

1863 — 1864 — редактирование еженедельного журнала «Якорь» с сатирическим приложением «Оса».

1864 — участие в журнале братьев Достоевских «Эпоха» в качестве литературного и театрального критика и автора воспоминаний.

1864, 25 сентября (7 октября по новому стилю) — умер от апоплексического удара (инсульта).
28 сентября — похоронен на Митрофаньевском кладбище в Петербурге (в начале 1930-х годов в связи с ликвидацией кладбища прах Григорьева перенесен на Волково кладбище).

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений Ап. Григорьева

Стихотворения. — С.-Пб., 1846.
Сочинения. Т. 1. — С.-Пб., 1876.
Стихотворения. — М., 1916. (С составленной А.А. Блоком библиографией художественной прозы и переводов Григорьева.)
Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. — Пг., 1917. (Воспоминания Григорьева и 135 его писем.)
Полное собрание сочинений и писем. Т. 1. — Пг., 1918.
Воспоминания. — М.; Л., 1930. (Автобиографическая проза Григорьева и воспоминания о нем.)
Избранные произведения. — Л., 1959. (Большая серия «Библиотеки поэта».)
Литературная критика. — М., 1967.
Воспоминания. — Л., 1980. (Серия «Литературные памятники».)
Эстетика и критика. — М., 1980.
Театральная критика. — Л., 1985.
Сочинения. Т. 1—2. — М., 1990.
Полное собрание писем. — М., 1999. (Серия «Литературные памятники».)

Аполлон Григорьев. Биография и путеводитель по выставке в залах Пушкинского Дома. Составили М.Д. Беляев и В.С. Спиридонов. — Пг., 1922.
Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев — критик. Статьи 1—2. — Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 98, 104. — Тарту, 1960, 1961. (В вып. 98 — библиография критики, художественной прозы, писем Григорьева.)
Раков В. Аполлон Григорьев — литературный критик. — Иваново, 1980.
Носов С. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. — М., 1990.
Глебов В.Д. Аполлон Григорьев. — М., 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 6

Предки 8
Детство 17
Университет 23
После университета 36
В Петербурге 50
Развязка драматической любви к Антонине Корш 57
От Наполеона до «лишнего человека» 68
Возвращение в Москву 79
Создание «молодой редакции» «Москвитянина» 90
«Молодая редакция»: вместе и врозь 100
Леонида Яковлевна Визард. Цикл стихотворений «Борьба» 120
В Италии 137
В Россию! 156
«Русское слово» и уход из него 164
В поисках своего журнала 173
Преподаватель Оренбургского кадетского корпуса 181
Журналы братьев Достоевских. «Почвенничество» 192
«Якорь». Последний отрезок жизни 203
А что потом? 210

Основные даты жизни и творчества Ап. Григорьева 216

Краткая библиография 218

Егоров Б.Ф.

Е 30 Аполлон Григорьев. — М.: Мол. гвардия, 2000. — 219[5] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей; Сер. биогр.; Вып. 770).

ISBN 5-235-02323-4

В книге известного литературоведа и историка Б Ф Егорова впервые для широкого читателя подробно и популярно раскрывается жизненный путь одного из сложнейших деятелей русской культуры Аполлона Александровича Григорьева (1822—1864), замечательного поэта, прозаика, литературного и театрального критика, публициста Широко известный лишь своими «цыганскими» песнями («О, говори хоть ты со мной » и «Две гитары, зазвенев »), он был еще выдающимся критиком середины XIX века (Тургенев сравнивал его с Белинским), автором интереснейших воспоминаний, талантливым очеркистом Человек неуемных страстей, он не знал меры в любви, в дружбе, в алкоголе, часто впадал в идеологические крайности (был масоном, революционером, консерватором, славянофилом, «почвенником»), честно потом отказывался от «экстремизма» По противоречиям жизни и творчества Григорьев может сравниться с Н С Лесковым и В В Розановым

УДК 882(092)
ББК 83.3(2Рос-Рус)1

Егоров Борис Федорович
АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

Главный редактор издательства **А.В. Петров**
Редактор **О.И. Ярикова**
Художественныи редактор **А.Б. Романова**
Технический редактор **В.В. Пилкова**
Корректоры **Т.И. Маляренко, Г.В. Платова, Т.В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02 06 97 г

Сдано в набор 28 05 98 Подписано в печать 10 05 2000 Формат 84x108 1/32 Печать офсетная Бумага офсетная № 1 Гарнитура «Таймс» Усл печ л 11,76+1,68 вкл Тираж 5000 экз Заказ 87251

Издательство АО «Молодая гвардия» Адрес издательства «Молодая гвардия» 103030, Москва, Сущевская ул , 21

Типография АО «Молодая гвардия» Адрес типографии «Молодая гвардия» 103030, Москва, Сущевская ул , 21

ISBN 5-235-02323-4